



СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ОПОЗНАЙ ЖИВОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА





БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

СЕРГЕЙ АБРАМОВ



ОПОЗНАЙ ЖИВОГО

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ

МОСКВА ~ 1976

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Оформление В. Юдина

О П О З Н А Й Ж И В О Г О

Приключенческая повесть



Одесса

Я И ГАЛКА

Я выхожу из ванной двухместного номера приморской гостиницы и почему-то взглядываю на потолок. Он так высок, что цепочку люстры с молочно-матовыми фонариками следовало бы удлинить по меньшей мере на метр. Такие величественные готические палаты я видел до этого только в застенчивых парижских переулочках в патриархальных отелях для богатых негоциантов.

Я надеваю у зеркала белую водолазку с красной каемкой у шеи и серый твидовый пиджак, купленный в одном из зарубежных вояжей.

— Старейший ловелас с Больших бульваров,— критически замечает Галка.

— Не язви. Принимай душ и пойдем.

— Душ меня не устраивает. Нужна ванна. Иди один.

— Жаль. А может, без ванны?

— Иди, иди. Я уже была в Одессе в пятьдесят первом и шестьдесят восьмом. Все то же, только пообтерлось и постарело.

— А я не был здесь с сорок пятого, когда Седой вызвал меня в Москву.

— Значит, начнется паломничество по святым местам?

— Это как смотреть, Галочка. Для меня они действительно святые.

— Знаю даже, с чего начнешь.

Я молчу.

Абрамов С. А.

Л16 Опознай живого. Приключенческие и фантастические повести. Оформление В. Юдина. М., «Дет. лит.», 1976.

368 с. с ил. (Б-ка приключений и научной фантастики).

Сборник приключенческих и фантастических повестей.

А 70803—198
М101(03)76 470—76

P2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.

— Конечно, с трехэтажного дома на углу Свердлова и Вебеля! — смеется Галка. — Так он даже не постарел — одряхлел. Черная дыра вместо подъезда. Двери почему-то сняты, а перила на лестнице еле держатся. Я и на дворе была. Он кажется совсем крохотным. Знаешь, как уменьшается пространство детства, когда вырастешь? И старого каштана посреди уже нет, и дворовая наша Швамбрия вспоминается с жалостью. Лучше не ходи, кавалер Бален-де-Балю.

Так меня окрестили в звонких ребяческих играх, по имени владелицы частной женской гимназии, в которой после революции обосновалась наша советская трудовая школа. Мне очень нравилось это роскошной звучности имя, особенно после того, как я прочел Ростана в переводе Щепкиной-Куперник. Кавалер Бален-де-Балю! «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!»

— Для полковника госбезопасности это, пожалуй, чуть-чуть сентиментально, — иронически добавляет Галка, — особенно когда ему уже за пятьдесят. Не по возрасту.

Но я вспоминал не детство и не юность, а ночь под первое мая 1943 года, когда впервые осознал себя взрослым. Мне было тогда двадцать два года.

Мы собрались на чердаке над Галкиной комнатой, куда можно было проникнуть сквозь дыру в потолке из бокового чуланчика. Нас было пятеро, сгрудившихся вокруг старенького, починенного мною радиоприемника, хрипловатым шепотом передававшего согревающие сердце слова: «От Советского Информбюро...» Пятеро выросших на одной улице, в одном дворе и в одной школе: я, недоучившийся юрист-первокурсник, работавший наборщиком в типографии «Одесской газеты», школьница Галка, дотянувшая до десятого класса и вместо вуза поступившая официанткой в немецкий ресторан на углу Преображенской и Греческой, Володя Свентицкий, первокурсник по боксу в полусреднем весе, укрывшийся от румынской мобилизации в артели грузчиков на станции Одесса-товарная, и его брат Гога, бывший пионер, ныне чистильщик сапог на Приморском бульваре. А чуть в стороне примостилась Вера, когда-то библиотекарь городской библиотеки имени Ивана Франко, превращенной в общежитие для гарнизонных солдат из охраны губерна-

тора Александру, — книги сожгли, персонал разогнали, книжные стенды перешли под солдатские койки. Веру тогда стараниями Галки удалось устроить кастеляншей в соседний с рестораном отель «Пассаж» на той же Преображенской. Она распределяла и сдавала в прачечную постельное белье для гостиничных постояльцев — офицеров немецких резервных частей, задерживающихся в Одессе перед отправкой на фронт.

— Единственная из нас, кому не удалось дожить до Победы, — говорит Галка.

За четверть века супружеской жизни мы уже привыкли к семейной телепатии, и я, не удивляясь, понимающе подхватываю:

— Почему единственная?

— Я имела в виду нашу инициативную пятерку. Все выжили, только жизнь разбросала.

Галка уже не думает о ванне. Запахнув халатик, она тянется к лежащей рядом на тумбочке моей сигаретной пачке. Между прочим, она не курит.

— Оставь, — говорю я.

Не слушая меня, она берет сигарету, неумело мнет ее пальцами и долго глядит на кончики своих тапочек.

— Самой большой загадкой для меня был ее провал. Я даже не прислушивалась к разговорам за столиками. Все думала: кто? Кто предал? Ведь она была связана только с Седым, информацию передавала, как говорится, из рук в руки. А провалилась явка не Седого, а дяди Васи.

Я смотрю в зеркало на Галку. Смешинки в глазах ее погасли, да и сами глаза как будто ввалились. Или мне это показалось в тусклом зеркальном стекле?

— А помнишь клятву, с которой мы начали тогда после первомайской сводки по радио? — вдруг спрашивает она.

Не напрягая памяти, я отчеканиваю слово за словом:

— Не щадя крови и жизни своей, за пытки, за издевательства и насилия над моим народом клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь! Смерть за смерть!

— Да... все так...

— А ты говоришь — паломничество, — возвращаю я Галку в семидесятые годы.

Она не слышит.

Она все еще там, в глубине времени, вскрытой световой скоростью мысли.

— Наивные мы были. О чем думали? — медленно, без интонации говорит она, и слова ее оттого звучат, может быть, чуть книжно, но я знаю — они от сердца. — О романтике подвига, а не о его стратегии. О празднике подвига, а не о его буднях. Застрелить гитлеровца на улице или повесить предателя, взорвать вагон с боеприпасами или поджечь цистерну с нефтью, прижав к зажигалке бикфордов шнур. А вот о том, сколько мужества и терпения, сколько мучительных часов ожидания потребует эта вспышка зажигалки, не думали. Мы еще долго учились терпеть и ждать...

Она права: долго. Почти год. Гога чистил запыленные солдатские сапоги, подслушивал разговоры их обладателей — солдат и ефрейторов, пригнанных в Одессу, Галка запоминала болтовню пьяных гестаповцев и психующих фронтовиков за ресторанными столиками. Дядя Вася, штуковавший и гладивший офицерские бриджи на портняжном катке, терпеливо допытывался у денщиков обо всем, что требовалось Седому. Володька Свентицкий сыпал песок в буксы товарных вагонов, я урывками по ночам откладывал из наборных касс шрифты в кулечки, которые под утро незаметно выносила из типографии уборщица тетя Франя. Добыча переправлялась портному в подвал, где при свете коптилки мы и набирали оперативные сводки Москвы, подслушанные по радио, и оттискивали их на обрывках типографской бумаги украденным в той же типографии валиком. Их наклеивали на заборы и стены, подбрасывали на рынке или вкладывали между листами липкой бумаги от мух, пачки которой продавали девчонки-школьницы Леся и Муля. «А вот цепкая, липкая бумага! Смерть мухам единым духом!» — выкрикивали они в рыночной толчее. И ни один купивший листы с начинкой не выдал девочек, а ведь только за одну единственную обнаруженную в пачке листовку их могли бы пристрелить тут же на рынке. Одного застреленного мальчонку я сам видел на Привозе, не доходя до вокзала; возле него стоял, равнодушно попыхивая скрученной из газеты сигаркой, небритый немецкий солдат. Прохожие шли мимо и крестились не оборачиваясь: «Страшны дела

твои, господи...» Улица Адольфа Гитлера. Улица Антонеску. Король Михай. Сигуранца. Гестапо.

Наша самостийная пятерка уже входила в это время в довольно большую агентурную группу, подчинявшуюся одному из подпольных райкомов Одессы. Руководил нами Седой, старый подпольщик, умело распределявший звенья, задания и роли. Работал он приемщиком в прачечной, в штате той же гостиницы, что и Вера. И связь поддерживал с ней и дядей Васей, у которого и была главная наша явка. Типографщики, правда, общались через меня или уборщицу тетю Франю, а мы, «изначальники», впятером иногда собирались у Галки за чаем-малинкой и лепешками из вареной моркови. «Пир во время чумы. Званный вечер в Транснистрии», — острили мы.

Я не замечаю, как произношу это вслух. Галка смеется.

— Почему не сказать — в Заднестровье?

— Потому что королю Михая больше нравилась Транснистрия.

— И король Михай уже забыт. Стоит ли вспоминать?

— Иногда стоит.

Порыв ветра распахивает балконную дверь. Звон стекла возвращает меня в наши дни. Я выхожу на балкон и вижу зеленый откос берега, черные холмы угольной гавани и стрелы порталных кранов, похожих на марсианские боевые машины с рисунков Робида к уэллсовской «Борьбе миров».

— Иногда стоит, — повторяю я и выхожу на улицу.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Галка не ошиблась. Впечатления детства исказились и поблекли. Я не узнал ни двора, ни дома на бывшей Канатной. Все сплющилось до игрушечной уменьшенности. Даже хлам на дворе был не тот, не той давности. А на чердак, где мы давали партизанскую клятву, я не полез. Может быть, там сейчас, как и прежде, развешивают белье, — еще за вора примут.

Я прохожу по улице Бебеля до пересечения ее с улицей Ленина и сворачиваю вниз, к Оперному театру.

Маршрут мой тот же, что и в сентябре сорок третьего года. Память, как кинооператор, творит чудо. Одессу моего детства наплывом сменяет Одесса времен короля Михая, тускло просвечивающая сквозь нынешний, неузнаваемо помолодевший город. Он приобрел как бы прозрачность, возможную только в кино. Из-за ярко-зеленой ленточки аккуратно подстриженного газона память высвечивает выщербленный асфальт, разбитый подковами немецких солдатских сапог. Узорчатую игру шелка на витрине магазина тканей призрачно заслоняют пивные бочки румынской «бодеги». Веселые окна булочной вдруг закрываются грязным ковром универсальной комиссионки. Хороших ковров тогда в магазинах не было — их отобрали и вывезли специальные команды для переброски всего ценного в королевскую Румынию и германский райх. Нам в это время уже было поручено всячески препятствовать вывозу художественных ценностей из Одессы, и партию ковров, в частности, удалось спасти: их перегрузила в другой вагон бригада Свентицкого, а железнодорожники укрыли его в одном из тупичков Одессы-товарной.

На углу улицы Ленина я уже не вижу нынешнего нарядного города — обратный ход времени безотказно сработал, воскресив в памяти и пустынную тогдашней Ришельевской, и притаившуюся за окнами непокоренную тишину. Она вдруг раскололась где-то впереди грохотом взрыва, взвизгнула короткой очередью автоматов. Но я даже не вслушивался — кто обращал внимание на уличную музыку того времени? К тому же я спешил, не задумываясь над тем, что навстречу мне так же торопились редкие прохожие с серыми от испуга лицами: мало ли чего пугались тогда в Одессе. А у меня было неотложное дело: всего полквартиры впереди за углом меня ждал серый обшарпанный домик, на двери которого была прибитая фанерная доска-вывеска. Хозяин, обмакнув палец в чернила, витиевато вывел на ней: «Чсловичий кравец» и ниже по-русски: «Пошив, лицовка, штуковка, глажка». На крайнем правом окне первого этажа, куда легко заглянуть с улицы, должен был стоять фикус, что означало: входи смело, коли нет хвоста. А если фикуса не было — проходи мимо, не задерживаясь и не озираясь.

Метрах в пятидесяти от памятного мне домика я оста-

навливаюсь, как и тогда. Ведь наверняка знаю, что и дом не тот, и фикуса нет, и все же замираю на месте. Повторяю: как и тогда. Но в тот день меня остановила Галка, выскочившая из соседних ворот, простоволосая, без косянки, которую судорожно комкала в руках.

— Повернись сейчас же и ступай не спеша, — скомандовала она свистящим шепотом. — Ничего не спрашивай. Как будто что-то забыл.

Я повиновался, не глядя на Галку, хотя и видел краем глаза, как она идет рядом, чуть-чуть позади.

— В чем дело? — спросил я сквозь зубы, когда дошли до угла.

— Явка провалена. За дверь охранники с автоматами.

— А фикус?

— Какой еще фикус! Там весь угол разворочен гранатой.

Я должен был встретиться с Галкой у дяди Васи, но опаздывал, что меня и спасло. А Галка?

— Не дошла. Как увидела взрыв — весь угол разнесло — хлоп на землю тут же в воротах и затаилась... А полиция с улицы полоснула по окнам из автоматов — и за дверь! До сих пор не выходят. Ждут.

— Кто же выдал?

— Спроси что-нибудь полегче.

Каждый из нас задавал себе этот вопрос. Провал явки и героическая смерть дяди Васи потрясли всех. Впоследствии мы узнали, что он бросил гранату не в охранников сигуранцы, ворвавшихся в мастерскую, а в угол окна, где стоял фикус. Он не успевал снять его и тем самым предупредить товарищей о провале. И граната уничтожила фикус, часть стены и его самого, что было, пожалуй, единственным для него выходом: в сигуранце бы его замучили.

Меня же случившееся совсем подкосило. В мастерской дяди Васи я не только набирал и печатал листовки, но и ночевал, потому что другого местожительства у меня не было. Тетка, заменившая мне мать, умерла в первые же дни оккупации, а комната наша пригласилась какому-то гауптману. Снять жилье где-нибудь или поселиться у товарищей не рекомендовалось законами конспирации: появление нового человека всегда вызывало подозрение

у опекавших дом полицаев. Седой возражал даже против ночевки у дяди Васи, рекомендуя вместо этого фиктивный брак с Верой или Галкой. Но даже для фиктивного брака с Верой я был слишком уж молод, а вариант с Галкой решительно отверг сам. Хотя она, всегда готовая к жертвам, и согласилась немедленно, но я, впервые взглянув на нее глазами пусть фиктивного, но все-таки мужа, сразу понял, что подобное псевдосупружество оказалось бы для меня слишком мучительным: Галка была чертовски хороша в свои девятнадцать лет.

Так мы и шли тогда бок о бок, растерянные, как дети, заблудившиеся в лесу, не знали, что сказать друг другу, о чем спросить, на что решиться.

— Куда же ты пойдешь теперь? — вырвалось наконец у Галки.

— Не знаю.

— К Седому?

— К Седому нельзя.

— Может, к Володьке Свентицкому?

— Мы даже здороваться на улице не должны.

— Тогда ко мне. Повесим простыню между койками — и ночуй. А брак оформим в управе.

— Я не хочу фикции, Галка.

Черные глаза ее бесстрашно встретили мой взгляд.

— Сейчас не время для любви, Саша.

— Так не будем подменять ее суррогатом.

Молча дошли до Преображенской. Осмотрелись: спокойно, «хвостов» нет. Но дальше идти вместе было нельзя.

— Как же связаться с Седым?

— Попробую через Веру. В конце концов, мы работаем в одной богадельне.

Но мы еще не знали, что Веры в гостинице нет. Ее взяли одновременно с налетом на нашу явку. Это удивляло и настораживало: Вера редко общалась с людьми из нашей группы. И обязанностью ее были агентурные сведения, а не распространение листовок. Только один раз она встретилась со мной у дяди Васи, да и то в виде исключения, когда Седого внезапно вызвали на разговор с подпольным райкомом. Сигуранца подбиралась к Седому, потому что сразу взяли обоих его связных. Но если дядю Васю мог предать любой из нашей группы, то Веру, кроме меня, никто — так прочно и строго она была

укрыта. В конце концов я все-таки нашел предателя, но это случилось много дней спустя, когда я заменил дядю Васю на связи с Седым.

В тот день я шел как с мутной пеленой на глазах, не зная куда и зачем. Свернул на Дерibasовскую, выпил кружку пива у Думитрака, постоял у захламленной витрины комиссионки, и вдруг чья-то рука легла мне на плечо и я услышал знакомый интеллигентный, негромкий голос:

— Что вы здесь делаете, Саша?

Я сразу узнал Марию Сергеевну Волошину, мать моего одноклассника Павлика. Я дружил с ним, бывал у них дома, хотя и несколько стеснялся церемонной строгости их европеизированного домашнего уюта. Что-то мне не нравилось и в Павлике, хотя по мальчишеской своей неопытности я не мог в точности определить что, но, в общем-то, и не слишком огорчился, когда он, не кончив школы, уехал в Берлин к отцу, работнику советского торгпредства в Германии. С тех пор о Павлике мы и не слышали. Говорили, что отец его бросил мать, женился на немке и уже не вернулся на родину. Так Павлик и семья его выпали из круга моего детства.

Мария Сергеевна почти не изменилась, хотя с тех пор прошло не менее семи лет. Ей было, наверное, уже за сорок, но выглядела она по-прежнему подтянутой, моложавой, ухоженной и нарядной.

— Как вы возмужали, Саша. Совсем взрослый. Только в лице еще что-то прежнее. И чубчик. Потому и узнала.

Я галантно поцеловал ей руку.

— Почему не заходите? Я там же, на Энгельса. Простите, на Маразлиевской... А что вы ищете здесь, в пустыне?

— Комнату ищу, Мария Сергеевна.

— Какие же комнаты на Дерibasовской? А ваша собственная?

— Увы, в ней разместился немецкий гость.

Она поняла.

— Да-да, все это очень грустно. Много грустно, Саша.

Безумная идея вдруг пришла мне в голову.

— Может быть, у вас есть свободная комната? Вы меня бы выручили. Я ведь жилец аккуратный и тихий.

Мне показалось, что она смутилась. Потом задумалась. Потом вдруг улыбнулась одним уголком губ.

— Пожалуй, я могла бы помочь. Есть комната. Бывшая комната Павлика. Ее не тронули — очень мала.

Я внутренне возликовал, вспомнив светелку Павлика.

— Можно, я сейчас же и перееду, Мария Сергеевна?

Она опять задумалась, мельком оглядела меня, оценив что-то по-своему, и добавила вежливо, но строго:

— Только одно условие, Саша. Чтоб ничего такого... Время, сами понимаете. Не подведите.

Так я и переехал в дом, едва не ставший моей могилой...

Сейчас, спустя тридцать лет, я снова прошел по улице Энгельса. Дом не очень изменился, лишь чуть-чуть постарел. Тот же мрачный, серый, под гранит, фасад, уставившийся на парк имени Шевченко, тот же набор готических окон на втором этаже, те же резные филенки подъезда.

Но в дом я не вошел. Встреча с прошлым не вызывала умиления.

Я И ТИМЧУК

От паломничества моего я уже еле волочу ноги, а до обеда в гостинице, когда я обещал Галке вернуться, остается еще час с лишним. Надо его убить.

Захожу в пивной бар в переулочке на Дерибасовской, который одесситы зовут «Гамбринус», должно быть в память воспетого Куприным тезки. После белой от солнца улицы в подвальчике полутьма, длинные столы, за которыми впитык жмутся любители бочкового «Жигулевского», огромные пивные бочки, обращенные в столики, снующие мимо них официантки с подносами, вмещающими добрый десяток кружек, несчастливцы, которым так и не удастся найти свободное место. Жарко. Влажная духота, как в батумском приморском парке. Только пахнет не магнолией, а пивом, потом и какой-то соленой рыбой.

Мне везет. Освобождается место возле бочки, где уже восседает седоватый толстяк с пышными запорожскими

усами. Он пристально вглядывается в меня, щурится, даже приподымается, чтоб лучше рассмотреть, и робко спрашивает:

— Олесь?

Так меня называл тридцать и сорок лет назад единственный в Одессе человек — Тимчук. Звали мы его не по имени, которое, кстати говоря, я и не помню, а просто Тимчук, Тим, Тимка. Наши квартиры были рядом, да и учились мы в одном классе, только Тим ушел из школы после седьмого класса к отцу, не то метрдотелю, не то шеф-повару в бывшем «Бристоле», учиться «на официанта» или «на кельнера», как тогда говорили. Мы просто жили рядом; не дружили и не враждовали, а драться с ним было опасно: он еще мальчишкой играл пудовой гирей и вырастал из рубашек, лопавшихся у него на бцепсах.

Сейчас он сияет: тридцать лет не виделись!

— А тоби и не узнаешь. Який фронт!

— А тебя? Усы как у Пилсудского.

— Ни. Як у Бульбы.

Он говорит, как и раньше, мешая русские слова с украинскими.

— Ждали — не гадали, а побачились. Давно тут?

— Утром прилетел. А вечером отплываю на «Котляревском».

— Ну, а в обед ко мне на вареники. Есть и домашняя горилка з перцим. Погрустим за Одессу-маму.

— Я с Галкой приехал, Тим.

Жар в глазах Тимчука остывает.

— С Галиной Юрьевной? Так. Привет передай ей, наикращайшей, хоть и не жаловала меня. Строгая дивчина была, недоверчивая.

— Все забылось, Тим. Просто время у нас ограничено.

— Ни.— Он сжимает толстые пальцы в пудовый кулак и легонько ударяет им по залитой пивом бочке. Бочка глухо гудит.— Ничего не забыто, Олесь.

Он прав, конечно. Ничего не забыто. И Галка действительно его недолюбливала. А в сорок первом мы все даже возненавидели его, когда он пришел из городской управы с повязкой полицаи и автоматом через плечо. «Меня из ресторана силком взяли, как отец ни просил,— оправды-

вался он, — только я своих трогать не буду». Но мы были неумолимы. «Свои у вас в сигуранце, домнуле жандарм, а здесь, извините, своих у вас нету». Надо честно сказать, никого из нас Тимчук не выдал, а впоследствии и работу свою в полиции подчинил задачам нашей подпольной группы, и даже мне с Галкой жизнь спас, все же его добровольное «полицайство» в сорок первом году Галка ему не простила. И Тимчук это знал.

Сейчас он гладит пышные свои усы — кончики намокли в добром одесском пиве — и, подмигнув, предлагает:

— Повторим?

— Повторим.

— А помнишь, как ты мене завербовав?

— Еще бы. На углу Новорыбной?

— Ни. За мостом, где трамвайные рельсы из мостовой выковыривали...

Мы действительно столкнулись тогда с Тимчуком. Я хотел было мимо пройти, да что-то в лице его поразило меня — глухая, невысказанная, подспудная ярость. Он не видел меня, смотрел сквозь меня, как грузили вырванные из гнезд рельсы на желто-зеленый немецкий грузовик.

— Интересуешься, как дружки твои хозяйствуют? — спросил я. — Стараются во славу родной Транснистрии.

— Бачу, — сказал он. — Грабят як бандюги.

— Так они и есть бандюги. Не знал разве?

— Узнал.

Я тут же подумал, что полицей с таким настроением мог быть полезен подпольщикам.

— Так хоть ты по крайней мере не имеешь отношения к этому грабежу, — начал я осторожно.

— Имею, — вздохнул он. — Получен приказ самого одесского головы Пынти. Все, что есть ценного в комиссионках, тут же забирать — и на склад городской управы. Картинки, подсвечники, лампы настольные либо из бронзы, либо из серебра, мебелишку какую-нибудь редкую. Есть еще что-то в городе, что вора пока не досталось. — От волнения он говорил по-русски чисто, не переходя на украинский.

— А хочешь помочь, чтоб не досталось?

— Как?

— Надо узнать номера грузовых отправок, место

назначения и вид отправки: багажом или почтой. Сможешь?

— Смогу.

— Заметано. Ты когда днем свободен?

— Лучше к часу. У нас съеста, как говорит домнуле голова.

— Встретимся на кладбище. Третий проход слева. У памятника купеческой вдовы Охрименко. Во вторник. Не опоздай — ждать не буду. А выдашь — тебе же хуже. Поедешь напрямиком не в райх, а в рай.

— Спасибо за веру, Олесь. Не обману.

Седой не одобрил моей инициативы. Добровольно пошедший в полицию не заслуживает доверия. Но что сделано, то сделано. Встречу мне разрешили при условии, что контролировать ее будут трое подпольщиков. При малейшей опасности мне дадут возможность уйти.

Но опасности не было. Тимчук точно выполнил задание и столь же точно выполнял другие. Сведения, добываемые им, были верны и своевременны, а его связи с сигуранцей и гестапо позволили спасти не одного человека, которому угрожал арест или отправка на принудительные работы в Германию. Седой все еще осторожничал и не расширял его связи с подпольем. Но кое с кем он его все-таки связал. С Гогой Свентицким, например. С дядей Васей. С Галкой, наконец, которой труднее всего было отлучаться из ресторана, а с Тимчуком она всегда могла перемолвиться у себя на дворе или в подъезде, хотя Галка была единственной из нас, которая ему все-таки до конца не доверяла.

— Порядочный человек никогда бы не стал полицаем.

— Он давно раскаялся, Галка.

— Такие не раскаиваются. Такие мухлюют. Почуял, что крысы с тонущего корабля побежали...

Гибель дяди Васи и Веры (во внутренней тюрьме гестапо от нее не добились никаких показаний) не привела к провалу нашей организации. Вынужденная пауза не обнаружила ни слежки, ни провокаций. Но провокатор все-таки был. Тот, кто знал связных и явку, знал и затаился. Почему? Знал мало, хотел знать больше? Охотился за Седым, оставляя нас на закуску? Забравшись на чердак, мы с Галкой часами перебирали всю нашу группу, пробуя втиснуть каждого в незаполненную строчку кроссворда.

Только я и Галка знали обоих помощников Седого, но никто из нашей группы не имел связи с Верой, а связанные с нею не знали нас. Арест Веры еще мог быть случайным — какая-нибудь неосторожность, обмолвка, оброненная записка, — но одновременный провал обоих был явно обдуманным тактическим ходом врага. Кто же сделал этот ход? Мысли путались, кроссворд не решался.

— Так можно всех подозревать, даже Седого, — злился я.

— А Тимчук? — спрашивала Галка.

— Тимчук не знал Веры.

— Мог узнать.

— Каким образом?

— Кто-нибудь проболтался.

— Кто? Вера была табу для всех.

— Для нас. А ты знал связи Веры? Нет. А связи Тимчука? Тоже нет.

Именно это упоминание о связях Тимчука и вывело меня на след предателя. Тимчук давно уже предлагал мне привлечь к работе одного «подходящего парня», который, мол, и в полицаи не пошел и на немцев не работает. Речь шла о Федьке-лимоннике, торговавшем с лотка мелкими грушами-лимонками, леденцами, похожими на подслащенное сахарином стекло, и папиросной бумагой, которую он вырывал из альбомных изданий Брокгауза и Ефрона, где листы ее вклеивались прокладкой между гравюрами. Книгами тогда в Одессе топили печки-«буржуйки», и добыча доставалась Федьке легко, обеспечивая заработок и дружеские связи с шатавшейся по рынкам румынской и немецкой солдатней.

Он мог быть кое в чем полезен для нас, но мог стать и опасным, потому что разгадал истинное лицо Тимчука. Тот как-то проговорился о листовках, а Федька загорелся, попросил привлечь к этой работе: «листовку со слезами целовал». Седой, которого я поставил в известность об этом, допускал возможность провокации, но все же предложил проверить Федьку, ограничив его деятельность распространением листовок, а его связи с подпольем — взаимоотношениями с Тимчуком. Где и кем печатались листовки и как они попадали к Тимчуку, Федор не знал и не интересовался, выполняя задания, как солдат приказы непосредственного начальника.

Именно это нас и успокоило, хотя должно было насторожить: молодой честный парень, допущенный к делам, требующим отваги и мужества, естественно претендовал бы и на больший риск и на большее к нему доверие. Но у Федьки была другая цель. Не завербованный пока ни гестапо, ни сигуранцей, он решил на свой риск и страх проследить связи Тимчука с одесским подпольем и найти головы покрупнее и подороже тимчуковской. Запыленный, серый и юркий, в собственноручно сшитых тапочках из сыромятной кожи, он неслышно и незаметно день за днем терпеливо выслеживал Тимчука, пока не засек его встречу со мной.

Теперь «охотник» пошел по другому следу и легко обнаружил мою квартиру: в те дни я болел и выходил только на встречу с Тимчуком да проводить в первый и единственный раз посетившую нас Веру. И надо же было так случиться, что именно в эти минуты и углядел нас Федька-лимонник. Я даже заметил его на улице, только не придавал значения: Федьку можно было встретить в любом конце города. Но часа своего он дождался и выследил Веру вплоть до гостиницы, а узнать, кем она там работает, было для него сущим пустяком. Две головы он продал и только в одном ошибся: пала не моя голова.

Но почему он не продал третью голову — Тимчука? Да просто потому, что тот мог утопить его на допросах, а сам по себе, как раскрытый подпольем предатель, он был не нужен гестапо. Пешка, фоска, битая карта в игре. И, понимая это, Федька берег Тимчука, как кончик ниточки, связывающей его с непокоренным городом. Но теперь уже Тимчук следил за ним и в конце концов поймал его в часовой мастерской, под прикрытием которой орудовала резидентура гестапо. Мы всё сопоставили, всё взвесили, прежде чем принять решение. Даже допрашивать предателя было уже не нужно...

— Еще по одной, — предлагает Тимчук, стуча кружкой.

Он долго молчит, разглядывая свою поросшую рыжим волосом руку, сжимая и разжимая пальцы.

— Ты где работаешь? — спрашиваю я, пытаюсь отвлечься от воспоминаний.

— Работаю? — удивляется он вопросу. — Портальный кран бачил? На пирсе. Крановщиком.

— Ну там твоя силушка не нужна.

— Так я ж не о том. Вспомнилось. На кладбище був?
— Зачем? Я и так все помню.
— Ты же рядом стоял. Другие отвернулись, а ты бачив.

Я действительно стоял рядом и не отвернулся. Нас было пятеро тогда на кладбище у памятника гостеприимно укрывшей нас одесской купчихе — Тимчук, я, Галка, Володя Свентицкий и Леся, заменившая Веру. Именно нам и поручил Седой привести приговор в исполнение. Фанерная дощечка с надписью «Провокатор гестапо. Казнен по приговору народных мстителей» была уже заготовлена, веревка тоже. Мы только забыли о табурете или ящике, который следовало выбить из-под ног повешенного. Федор стоял на коленях с кляпом во рту под узловатым отростком клена и даже не дергался. По-моему, он уже умер заживо.

Володька вынул веревку и глядел на дерево, не зная, что делать. Галка стояла позеленевшая, как от морской качки. Не двигались и мы с Лесей. Тогда Тимчук сказал: «А ну-ка отвернитесь, хлопчики. Не будем дерево трупом поганить. Я его породил, я же его и кончу...»

Вот тогда я и запомнил эти поросшие рыжим волосом могучие руки.

— Пора, Тим,— говорю я, вставая из-за бочки.— Пошли. Отплытие в шесть. Приходи к причалу.

— Приду. Не сердчай, что вспомнилось. Темное тоже не забывается.

— Темное ушло, Тим. Светлое осталось. Оно всегда светило нам, как солнце сквозь тучи.

Мы подымаемся из подвального на залитую солнцем улицу, а в ушах еще звенят серебряные трубы Довженко:

«Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою».

ОТПЛЫТИЕ

Черно-белый красавец «Иван Котляревский» стоит у причала морского вокзала. Причал тянется далеко-далеко, как взлетная полоса, по которой прямо к борту подъезжают автомашины из города. Длинные руки лебедек

играючи перебрасывают грузы в разверстые пасти трюма. Многоэтажный дворец над ним пока еще пуст — театральный зал перед премьерой, причем иллюзию дополняют контролеры у трапа в белоснежных куртках и фуражках с золотыми «крабами».

Где-то наверху, на пятом или шестом этаже, и наша каюта на открытой палубе, над которой вытянулись одна за другой серыми дельфиньими тушами покрытые натянутым брезентом шлюпки. Теплоход был копией «Александра Пушкина», на котором я ходил в круиз из Ленинграда в Гавр прошлой осенью,— тот же черный остов и белые палубные надстройки, та же радиомачта и косо срезанный конус трубы с франтоватой полоской сверху — этаким алым галстуком на белом моряцком мундире.

Мы только что отдали дань ресторации на вокзальной веранде и, разомлев, сидим у чемоданов на причале на приятном морском сквознячке. До отплытия еще больше часа. Я молчу.

— Ты что раскис? — спрашивает Галка.

— Жарко.— Мне не хочется объяснять.

— Здесь совсем не жарко. Не финти. Грустно, что уезжаем, да?

— Грустно, конечно.

— Встречи с прошлым не всегда радуют.

— Галя! — зовет кто-то рядом.

Я оборачиваюсь и вижу, как немолодая, хорошо скроенная блондинка, в небесно-голубых брюках и желтой кофточке, бросается к Галке. Ей бы еще три короны на грудь и можно записывать в «Тре крунур» по любому виду спорта.

— Ты провожаешь или едешь?

— Еду, конечно.

— Мы тоже. Шлюпочная палуба. Полулюкс. Сто двадцать четвертая.

У нас тоже шлюпочная палуба и такая же каюта-полулюкс. Но Галка не хвалится.

— Ты с кем? — атакует блондинка.

— С мужем. Знакомься.

Я встаю.

— Гриднев,— говорю как можно суше: блондинка мне явно не нравится.

— Сахарова Тамара,— отвечает она и, подумав, до-

бавляет: — Георгиевна... А у тебя интересный мужик, Га-лина,— она оглядывает меня с головы до ног,— и одет...

— Старый пижон,— смеется Галка.

— Из какой сферы? Наука, искусство, спорт, торговля?

— Пожалуй, наука,— говорю я неохотно.

— Доктор или кандидат?

Кто-то спасает меня от допроса. С криком «Миша!» блондинка ныряет в сутолоку у трапа.

— Что это за фея?

— Моя косметичка.

— Зачем тебе косметичка?

— Работа в институте судебных экспертиз еще не избавляет меня от необходимости следить за своей внешностью.

— А это ее муж, наверно?

— Вероятно. Я с ним не знакома.

Мужчина, с иссиня-черной бородой с проседью, примерно моего роста и моего возраста, даже не посмотрел в мою сторону.

— Чем он занимается?

-- Оценщик в комиссионном магазине на Арбате.

-- Интеллектуальная профессия.

— Зато выгодная. Может поставить твой пиджак за полсотни, положить под прилавок и позвонить своему знакомому, падкому на импортные шмотки. А тот еще подкинет ему четвертной.

— В криминалистике это имеет определенное название.

— Имеет.

— Что-то меня не тянет к такому знакомству.

— Для твоей профессии полезны любые знакомства.

Я ставлю чемоданы на освободившуюся скамейку и не собираюсь вставать.

— Пусть все пройдут. Да и Тимчука пока нет.

— А я тут,— возвещает обладатель запорожских усов в украинской расшитой рубашке. В руках у него бутылка пива и два бумажных стаканчика. Третий с мороженым.

— Этот, должно быть, для меня,— смеется Галка и целует Тима в его пушистые усы.— Какой богатырь! Прямо из Гоголя. Был Остап, стал Тарас. Ты что вчера про меня Сашке наговорил?

Я объясняю:

— Это она о нашей прогулке в прошлое. О пиршестве воспоминаний.

— Пиршество воспоминаний,— назидательно говорит Галка,— хорошо в трех случаях: для мемуариста, для юбиляра и в праздник, когда встречаются ветераны войны.

— Для мене вчера и був праздник,— подтверждает Тимчук.

— А для меня праздник сейчас — это отдых, Тим. От московской сутолоки, от воспоминаний и телевизора.

Несколько минут мы оживленно болтаем. О том о сем — ни о чем. Галка вдруг смотрит на часы и перебивает:

— У нас еще сорок минут. Успею послать телеграмму маме. Пусть не тревожится.

— С теплохода пошлешь.

— Не знаю. Там все по часам расписано. А здесь ходу всего четыре минуты.

Она убегает, оставляя нас одних, и мы вдруг убеждаемся, что говорить не о чем. Все переговорено. Но и в молчании обоим тепло и радостно.

Мимо нас к табачному киоску торопливо проходит человек с иссиня-черной бородой и военной выправкой. Что-то неуловимо знакомое вдруг настораживает меня в этом облике.

— На бороду дивисься? — спрашивает Тим.

— Борода как раз ни к чему. Ее не помню.

— А кто это?

— Муж одной Галкиной знакомой. Некто Сахаров. А может, и не Сахаров, это она Сахарова. Что-то цепляет глаз в нем, а что — не знаю.

Мы смотрим ему вслед. Он покупает пачку сигарет, возвращается и, не обращая на нас никакого внимания, закуривает в двух шагах от нашей скамейки. Теперь он отчетливо виден — так сказать, крупным планом.

— Узнал? — спрашивает Тимчук. Когда он встревожен, то говорит, не балуясь украинизмами.

— Боюсь утверждать.

— А я узнал.

— Сходство часто обманывает. Слишком уж давно это было.

— Тогда я разговаривал с ним, как с тобой — лицом к лицу.

— А шрам на подбородке? Его даже борода не скрывает.

— Шрама не было. Может, потом?

— Когда потом? Забыл?

Тимчук молчит, потом произносит с твердой уверенностью:

— Он.

Я уже ни в чем не уверен. Мало ли какие бывают совпадения.

— Глупости, Тим. Показалось.

— У меня глаз крановщика. Наметанный. Не придется тебе отдыхать, полковник.

— Чудишь. Такие вещи проверять да проверять.

— Вот и проверишь. Кончился твой отпуск, друже полковнику.

Я смотрю вслед уже шагающему по трапу бородачу. В чем же сходство? Не знаю. Но оно есть. Не подслушал же мои мысли Тимчук — узнал.

— Если понадобится — телеграфь. Прилечу для опознания, — говорит он.

— О чем вы? — подбегает Галка.

— Да ни о чем. Чудит Тимчук.

Мы обнимаемся на прощание. Он настороженно, даже встревоженно серьезен.

— Так если что, телеграфь. А может, и до Одессы доедешь.

— О чем он? — повторяет Галка.

— Чушь зеленая, — говорю я и, подхватив чемоданы, иду к трапу.

Ялта

ЗНАКОМСТВО

Мы с Галкой только что выкупались в бассейне и сидим в шезлонгах на открытой солнцу кормовой палубе — я под тентом, Галка на солнцепеке, даже жмурясь от наслаждения: вероятно, рассчитывает вернуться из рейса мулаткой.

Рядом с ней на туристском надувном матрасе Тамара — лениво ведут свой женский загадочный разговор. Именно загадочный: мужчинам не дано понимать всеобъемлющей женской интимности. Бородатый муж Тамары играет тут же у натянутой на палубе сетки в волейбол не то со студентами, не то с юными кандидатами наук. Играет отлично, почти профессионально, вызывая завистливые реплики зрителей: «Посмотри на бороду. А подачка? Во дает!» Он подвижен, ловок и вынослив, как тот старый конь, который, как известно, борозды не испортит. Впрочем, слово «старый» к нему не приклеишь, даже «пожилой» не подходит. Куда мне...

Я искоса внимательно наблюдаю за ним, силясь уловить что-то знакомое. Иногда улавливаю, чаще нет. Мелькает нечто мучительно памятное и тает на солнце. А он даже не смотрит на меня, не видит и не интересуется — играет беззаботно и с удовольствием. Нет, мы с Тимчуком определенно ошиблись. Тут даже не сходство, а так, что-то вроде как на дрянных фотокарточках, какие наклеивают на сезонные пригородные билеты в железнодорожных кассах.

Воспользовавшись тем, что Тамара снова отправилась в бассейн, я подвигаюсь к Галке.

— У нас два свободных места за столиком в ресторане, — говорю я с наигранным равнодушием. — Пригласи своих знакомых. Пусть пересядут.

— Тебе же не понравилась эта пара.

— Все лучше, чем одним сидеть. Новые люди. Да и веселее.

— Тебя Тамара заинтересовала?

— Скорее, ее муж.

У Галки хитро прищурены глаза.

— Любопытно, почему?

— Красивый мужчина.

— Так это я должна интересоваться, а не ты.

— Вот ты и заинтересуйся.

— Зачем?

— Хорошо в волейбол играет.

— Финтишь, Сашка. Тут что-то не то.

— Может быть. А ты все-таки их пригласи.

Тамара возвращается из бассейна, и Галка, лукаво взглянув на меня, берет, что называется, быка за рога.

— Тамара, у вас интересные соседи за столиком?
Тамара морщится:

— Два желторотых юнца. Вон они играют в волейбол с Мишей.

— Пересаживайтесь к нам. У нас как раз два свободных стула и столик не у прохода.

— Если ваш муж, конечно, не возражает,— вставляю я.

— Муж мне никогда не возражает, а потом, с вами же интереснее.

Посмотрим. Первый крючок я забросил.

— Кстати, обед сегодня на час раньше. На подходе к Ялте,— добавляет Тамара.— Уже одеваться пора. А потом на экскурсию в Алупку. Идет?

— Я поеду,— говорит Галка.

Я молчу. Поедет ли он?

К обеду являемся в полном параде. Женщины раскручивают разговор сразу, как магнитофонную ленту. Мужчины сдержанны и церемонны. Две высокие договаривающиеся стороны.

— По сто для аппетита перед обедом? — предлагаю я.

— Давайте.

— У вас «Столичные»?

— Нет, «Филипп Моррис». Покупаю блоками на новом Арбате.

Закуриваем.

— Оригинальная специальность у вашей жены. Эксперт-криминалист.

— О криминалистике я уже забыла,— роняет Галка: по-видимому, ей не хочется раскрывать перед посторонними секреты профессии.— Сажу на экспертизе старых документов. Недавно определяла подлинность пометок Чайковского на где-то найденных нотах.

Галка невольно подыгрывает мне. Не нужно, чтобы он знал или догадывался о моей работе.

— А вы? — тут же спрашивает он.

Галкина рука лежит на столе. Я многозначительно сжимаю ей пальцы.

— Я юрист,— говорю.— К сожалению, не Кони и не Плевако. Рядовой член коллегии защитников.

— Уголовный кодекс?

— Нет. Разводы, наследства, дележ имущества.

Галка не проявляет ни малейшего удивления: поняла, что я начал пока еще не известную ей игру.

— Н-да,— лениво бросает он.— Невесело у вас получается.

— У вас веселее?

— Пожалуй, нет. Я уже после войны Плехановский кончил. Директора универмага из меня не вышло. Главбуха тоже. Верчусь мало-помалу в комиссионке.

— Золотое дело эта комиссионка,— хвастливо провозглашает Тамара.

— Не преувеличивай,— кривится он.— Работа как работа. Не лучше твоей.

Что-то в его интонации тотчас же останавливает его рубенсовскую красавицу. Теперь она внимает только позвякиванию ножа и вилки. А он? Неудачник или играет в неудачника? Но ведь эти игры — дешевка. При его спортивной ухоженной внешности и умных, очень умных глазах. Я внимательно ищу в них давно знакомое. И нахожу. Неужели мы с Тимчуком не ошиблись?

А он только вежливо слушает или спрашивает, глядит на меня, как на чистый лист бумаги, на котором сам же напишет: «Сосед по столику, спутник по рейсу. Не очень интересен. Общих тем нет. Скучно». Это, если мы с Тимчуком ошиблись. А если нет? Я изменился, конечно, за тридцать лет. Галка тоже, но узнать нас можно. Особенно ему, если это он. Тогда где же встревоженные искорки в глазах, растерянный жест, невольно сжатые губы, дрогнувшие пальцы, пусть чуть дрогнувшие, но я бы заметил. Глаз наметанный — профессия. А тут — ничего. Съел суп, оставил макароны — не любит. Сосет фруктовый компот. И слова бросает равнодушно, как окурки тушит.

Разговор поддерживает главным образом Галка:

— Вы почти профессионально играете в волейбол. Любите спорт?

— Больше по телевизору.

— Бросьте. Сразу виден тренинг.

— У нас дома и боксерские перчатки, и груша,— опять-таки не без хвастовства вставляет Тамара.

И опять он кривится. Откровенность Тамары ему явно не нравится.

— Я и стреляю неплохо,— цедит он.— В роте был снайпером.

Мне хочется спросить, где он воевал, но понимаю, что он назовет именно те места, где воевал Сахаров. А потом, это можно сделать и позже. Разговор о военном времени не должен быть преднамеренным.

И тут я опять настораживаюсь, видя, как он закури-вает. Берет сигарету двумя пальцами, отставив мизинец, чиркает зажигалкой, затягивается и тут же, вынув сигарету изо рта, глядит на тлеющий ее огонек. Тот самый жест, который и насторожил нас с Тимчуком на причале. Жест, который я помню все тридцать лет, как неотпла-ченную пощечину.

Теплоход гудит, подъезжая к ялтинскому причалу. Официантки разносят билеты на экскурсию в Воронцов-ский дворец в Алушке. Там, кажется, жил Черчилль в дни Ялтинской конференции, и, честно говоря, меня это мало интересует.

— Я не поеду, — говорит Сахаров, если он действи-тельно Сахаров.

— Я тоже, — немедленно присоединяюсь я. — Дамы поедут вдвоем, а господа по-мужски посидят чуток в баре. Не возражаете, Михаил Данилович?

Он молча кивает. Глаза вежливы, но равнодушны. Ни любопытства, ни тревоги.

— Только я не очень разговорчивый собеседник, — ле-ниво бросает он, — извините.

— Я тоже не из болтливых, — поддакиваю я.

А дальше происходит все как по писаному. Мы про-вожаем жен до автобуса и уже готовы повернуть к трапу, как он предлагает:

— Может, пройдемся по набережной? Выпьем по ста-кану каберне в забегаловке.

Из полутемного массандровского магазина мы выхо-дим разморозенные вином и прогулкой по размягченному солнцем асфальту. Диалог невнимательно-безразличный, как у соседей в троллейбусе.

— Не люблю Ялты. Одна набережная и узкие, пыль-ные улочки, ползущие в гору.

— А санатории?

— Лучшие санатории за Ялтой — в Ливадии и Мис-хоре. А здесь один пляж. Кстати, он под нами. Выкупа-емся?

— В бассейне чище.

— Бассейн — это коробочка. А я плавать люблю. Не хотите — подождите на берегу. Минут двадцать, не больше.

Он выбрал клочок гальки почище, прошел, ковыляя по камням в воде, и вдруг, нырнув, быстро уплыл вперед, почти невидный в прибое. Я тотчас же засек воспомина-ние. В шестнадцать лет я так же поджидал его на пляже в Лузановке, а он — если то был он — мелькал движу-щейся точкой вдали. Он и в детстве резвился дельфином, не обращая внимания на оградительные буйки.

Опасно поддаваться навязчивой идее и подгонять под нее все, что просится подогнать. Начнем с исходного пункта: Сахаров есть Сахаров. Преуспевающий оценщик комиссионного магазина. Муж влюбленной в него пышно-телой блондинки. Не глуп, но практичен. Нравится жен-щинам, но не кокетничает. Так не ищите знакомого в не-знакомом, полковник, не будите давно уснувших воспоми-наний. Подозрительность — плохой исследователь человеческих душ.

На теплоход мы возвращаемся прямо в бар у бассей-на. Мальчишка в белой курточке переставляет на стойке бутылки с иностранными этикетками.

— Попробуем «Мартини», Михаил Данилович, — пред-лагаю я тоном знатока-дегустатора.

Сахаров улыбается:

— Это вам не загранийс. В лучшем случае подадут фирменный или дамский. Правда, бой?

Я настораживаюсь. Реплика режет ухо. Мальчишке тоже.

— Я не бой. Если говорите по-русски, обращайтесь как полагается.

Молодец бармен, хотя тебе и семнадцать лет. Срезал-таки оценщика. А может быть, тот сказал это нарочно, с целью подразнить меня: вот тебе, мол, и промах развед-чика, лови, мил друг, если сумеешь. Как говорится, «по-купка» вполне в духе Павлика Волошина. А может быть, просто обмолвка человека, побывавшего за границей по туристским путевкам?

Сахаров, игнорируя реплику бармена, не очень заин-тересованно спрашивает.

— А что же есть в репертуаре?

— Могу предложить «Черноморский».

Это обыкновенная смесь ликера, водки и коньяка. Гусарский «ерш».

— Как на войне,— смеется Сахаров.— Мы так же мешали трофейный ликер, чтобы отбить сладость.

— Где воевали? — мимоходом спрашиваю я как можно равнодушнее.

— Где только не воевал! И под Вязьмой, и на северо-западе...

Продолжать ему явно не хочется, и я не настаиваю. Отставляю с отвращением «ерш» и потягиваюсь:

— Ну что теперь делать будем? Шляфен или шпацирен геен?

— По-немецки вы говорите, как наш старшина из Рязани.

— А вы?

Он пожимает плечами.

— Научился немного в лагере.

— В каком? — невольно встряхиваюсь я.

— В плену. На Западе.

— По вашей комплекции не видно. Разве шрам только.

— Американцы, захватив лагерь, откармливали нас, как индеек. А шрам — это с детства. Нырнул неудачно, рассек о камень.

Занавес упал. Спектакль окончен. Сахаров есть Сахаров, энный человек со случайным сходством с кем-то, тебе очень знакомым. Настолько знакомым, что у тебя даже при мысли о нем холодеет сердце. Но пусть оно не холодеет, тем более, как нам тогда сообщили — потом, позже,— нет в живых этого человека. Обычной гранатой-лимонкой разнесло его в куски на бывшей Соборной площади. А бросил гранату даже не наш парень, то есть не из нашей группы: Седой знал его, а мы нет. Я, признаюсь, очень огорчился, что это была не моя граната.

Ну что ж, полковник Гриднев может теперь бездумно продолжать свой круиз по Черному морю.

Но...

Сахаров, прежде чем свернуть в коридорчик, где находится его полулюкс, снова закуривает. И снова знакомый жест. Два пальца, отставленный мизинец и пристальный задумчивый взгляд на тлеющий огонек сигареты. Такие привычки неискоренимы потому, что их не замеча-

ют и о них не помнят. И они индивидуальны, как отпечатки пальцев, двух одинаковых быть не может.

Нет, бездумный круиз не продолжается. Продолжается розыск.

Я И ПАУЛЬ ГЕТЦКЕ

Розыск продолжается в кресле каюты на шлюпочной палубе. Я подытоживаю воспоминания и впечатления дня.

Более тридцати лет назад, когда Павлик Волошин уезжал в Берлин к отцу, он уже курил присланные отцом английские сигареты «Голдфлейк». Курил щегольски, держа сигарету большим и указательным пальцем, отставив при этом мизинец, и вынимал ее изо рта, поглядывая на тлеющий огонек. Точно так же он закурил ее и в сорок третьем году, когда появился в Одессе у своей матери на улице Энгельса, вынужденно переименованной в дореволюционную Маразлиевскую. Был он в черном мундире СС, в звании гауптштурмфюрера и в должности начальника отделения гестапо, я не знал точно, какого именно отделения, но интересовался он, как и все в гестапо, главным образом одесским подпольем. Он вежливо и церемонно поцеловал руку Марии Сергеевны, театрально обнял меня, как старого школьного друга, и закурил. Тогда я и узнал, что зовут его уже не Павлик Волошин, а Пауль Гетцке, по имени мачехи, оставшейся в Мюнхене. Отец его к тому времени уже умер.

Навязанную мне роль старого друга я сыграл без преувеличенной радости, но и без растерянности и смущения. Встретились два бывших школьных товарища и поговорили по душам о прежней и новой жизни.

— Кавалер Бален-де-Балю. Помнишь, маркиз?

— Конечно, помню.— Я все еще был лаконичен.

— Кого из ребят встречаешь?

— Мало кого. Разбредлись люди. Тимчука видел.

— Тимчука и я видел. Он у румын в полиции. Думаю взять его к себе.

— Твое дело. Я с ним не дружу.

— А из девчонок кто где?

— Кто-то эвакуировался, кто-то остался.
— Галку встречаешь?
— Нет. Из дома меня выселили. В твоей светелке живу.

— Мать правильно поступила. Комната мне не нужна. А ты почему из города не удрал?

— В армию меня не взяли — плоскостопие. А эвакуироваться трудно было. Я не в партии, студент недоучившийся. Таких не брали.

— Ты ж комсомольцем был.

— Как и ты.

Волошин-Гетцке захохотал и потрепал меня по плечу.

— Грехи молодости. Гестапо тоже не обратит внимания на твое комсомольское прошлое. Хочешь, редактором сделаю?

— Поганая газетенка. Уж лучше наборщиком.

— Значит, душой с Советами?

— С Россией. Русский я, Павлик.

— Не Павлик, а Пауль. Я теперь немец по матери. По второй матери, баронессе фон Гетцке. Она усыновила меня и воспитала в духе новой Германии. Какой на мне мундир, видишь?

Я промолчал. Я видел и внешность и нутро гауптштурмфюрера, так радостно продавшего свою родину и народ. Даже сдержанная Мария Сергеевна после его ухода сказала мне с нескрываемой болью:

— Это уже не мой сын, Саша. Чужой. Совсем, совсем чужой...

Я попробовал сыграть:

— Что вы, Мария Сергеевна! Павлик как Павлик. Только зазнался.

— Нет, не зазнался, Саша. Онемечился.

— Грустно, — сказал я.

— Не только. Страшно.

Мне тоже было страшно. По краю пропасти идти не хотелось. Но Седой сделал неожиданный вывод:

— Перебрасывать тебя в катакомбы пока необходимости нет. Даже наоборот. Листовки, конечно, бросишь, а из школьной дружбы с гестаповским чином можно извлечь и пользу. Рискнешь?

Я думал.

— Если боишься, не неволю.

— Не боюсь. Трудно.

— А мне не трудно?

— Так ведь играть надо. А какой из меня актер!

— Сыграть нейтрала не так уж сложно. Немножко испуга, растерянности, сомнений. А вражды нет.

— Да мне каждое слово его ненавистно. В глаза плюнуть хочется.

— А ты гляди с завистью на правах старого друга, которого жизнь прибила.

— Сорвусь.

— Не исключено. А кто из нас не рискует?

И я рискнул. Пауль пришел через несколько дней в воскресенье. Пришел не столько к матери, которой он церемонно целовал руку, сколько ко мне. Влекли, должно быть, школьные воспоминания, возрастные ассоциации, возможность пооткровенничать с человеком, который для гестаповца безопасен. А может, и пощеголять хотелось тем, как изувечили душу русского школьника гитлерюгенд и впрыскивания Розенберга и Геббельса.

Разговаривали мы свободно, не стесняясь, спорили и убеждали друг друга — я с позиции «прибитого жизнью» нейтрала, он с высоты счастливого, удачливого игрока, новоиспеченного хозяина жизни.

— Удивляюсь твоей ограниченности. Неужели тебя, будущего юриста, удовлетворяет деятельность типографского наборщика?

— А где университет, чтобы юрист будущий стал настоящим?

— После войны мы откроем университеты. Не очень верь демагогии Геббельса: она для быдла. Каждый здравомыслящий немец понимает, что управлять Украиной без украинцев, а Россией без русских будет невозможно. Понадобятся специалисты во многих областях знания. Конечно, командовать будут победители, но и побежденным останется немалый кусок пирога.

— А кто жует этот кусок пирога? Жулье, подонки, прохвосты и уголовники.

— Издержки первых лет войны. Кого же выбирать из вас, если интеллигенция удирает при нашем приближении или отсиживается в наборщиках? Все вы поклонитесь после победы.

— Чьей победы?

— За такие вопросы даже школьных друзей отправляют в гестапо.

— Прости, Пауль, но я ведь не тупица и не баран, на которых рассчитана пропаганда «Одесской газеты». Я спрашиваю тебя именно как школьного друга: а сам ты веришь в победу?

Я не играл в искренность, я был искренним во всем, кроме обращения к гауптштурмфюреру Гетцке как к старому школьному другу.

Он верил.

— У нас, как тебе известно, вся Европа и большая половина Европейской России. Не так долго ждать.

— А Сталинград?

— Эпизод. На войне, как и в шахматах, бывают случайные просчеты. Но никогда слабейший игрок не выигрывает при этом начатой партии.

Он нажал двумя руками крышку стола, словно хотел его сдвинуть,— жест, который мне запомнился с первой встречи после его появления в Одессе и которым он словно хотел подчеркнуть свое желание переменить тему беседы,— и добавил:

— Кстати о шахматах. Не забыл? Может, сыграем партию?

Партию эту — я играл белыми с открытым центром — он выиграл легко и красиво. В середине игры создалось парадоксальное положение, когда белые одним ходом могли вырвать победу. И я сделал этот ход конем, обуславливающий, казалось бы, неотразимое поражение черных. Но у черных был единственный контршанс, парадоксальный, я повторяю, контршанс — его трудно было найти, и все же Пауль нашел этот опровергающий, достойный выдающегося мастера ход и выиграл позицию, а затем и партию.

— Вот тебе и ответ на твой миф о Сталинграде,— сказал он.

Я не спорил, хотя величины были несоизмеримы, а сравнение смехотворно, но партия сама по себе была очень эффектной, я хорошо запомнил ее, и, как оказалось, не зря.

Третий разговор в светелке Павлика носил уже официальный характер. Павлика не было, школьного приятеля не было, старого одессита не было. Был гауптштурм-

фюрер Гетцке, черномундирный эсэсовец и следователь одесского гестапо.

— В городе опять появились листовки, Гриднев.

Я неопределенно хмыкнул:

— Что значит опять? Они уже два года как появляются.

— Когда я приехал, они исчезли.

— Не считаешь ли ты, что подпольщики тебя испугались?

— Не знаю. Но после моего появления в Одессе листовок какое-то время не было.

— А чем я, собственно, обязан этой высокой консультации?

— Листовки набираются в типографии «Одесской газеты».

Я засмеялся:

— У нас на каждого линотиписта свой агент сигуранцы! Строки не наберешь без просмотра.

— Есть и ручной набор.

— Акцидентный. Несколько беспартийных стариков, которые даже на заем не подписывались. Набирают афиши, объявления управы и приказы комендатуры. Проследить за ними легче легкого.

— И все-таки листовки появляются в городе.

— Не проще ли предположить, что еще до эвакуации Одессы нужный шрифт был вывезен из типографии и где-нибудь в городе налажен набор листовок?

— Подпольную типографию разгромили два месяца назад. Я уже затребовал всю документацию из сигуранцы. Погляжу, куда она меня выведет.

Я знал, куда выведет. Федька-лимонник понятия не имел о подпольной типографии. Федька-лимонник охотился за мной, как за причастным к распространению листовок. Он не знал ни моего имени, ни моей клички, а сигуранца не знала моей новой квартиры. По одному несомненно поверхностному описанию найти меня не могли.

Но Пауль Гетцке умел думать и сопоставлять факты. Моя работа в типографии «Одесской газеты» — это он знал. Мое жительство у дяди Васи установлено добровольными или вынужденными показаниями соседей. Мое описание Федькой-лимонником кое в чем все-таки совпадало. А разгром явочной квартиры и мое появление у

Марии Сергеевны были еще легче доказуемым совпадением. Седого в Одессе не было, и никто, кроме него, не мог бы переправить меня в катакомбы. А улизнуть просто надежд никаких: я не мог подвести никого из товарищей.

Ночью во время комендантского часа, когда на улице не было ни души, двое молчаливых эсэсовцев отвезли меня в штабквартиру гестапо. Отвезли довольно вежливо, не надевая наручников и не толкая прикладами автоматов в спину.

Гетцке встретил меня в кабинете без дружеских излияний, молча указал на место возле стола и произнес с коварно любезной улыбкой:

— Ты, как я понимаю, не удивлен, Гриднев. Так поговорим по душам, без игры в нейтралов и школьных друзей.

Я молча подождал продолжения. Начинать разговор предполагалось не мне.

— Я изучил всю документацию по делу явки на Рижельевской, — продолжал Пауль. — Сообщение известного нам одессита, не очень уважаемого как личность, но вполне допустимого как свидетель, ничего не говорит о подпольной типографии, однако довольно точно описывает тебя как постоянного жильца этой квартиры. Описание подтвердили и соседи по дому. Но дело даже не в описании. Донос, мой друг, прямо обвиняет тебя в авторстве и распространении листовок со сводками Советского информбюро. Учитывая твою работу в типографии «Одесской газеты», я склонен думать, что обвинение звучит довольно правдоподобно. Подтверждается оно и другим обстоятельством: в день разгрома явки ты уцелел и, по счастливой случайности, встретил на Дерибасовской мою мать, которой и объявил о поисках новой квартиры. Мотивировал это выселением из дома на Канатной, хотя из того дома тебя выбросили еще в сорок первом году. Итак, все сходится, мой школьный друг. В твой нейтрализм, между прочим, я никогда не верил: такие, как ты, могут быть только врагами. Я сразу понял это после твоего отзыва об «Одесской газете» и прохвостах, на которых мы опираемся. Актер ты плохой, сыграл свою роль плохо, и спектакль, я думаю, уже окончен.

Я продолжал молчать. Все было ясно. Но оказалось, еще не все.

— Я мог бы тебя, конечно, подвергнуть обычной процедуре допроса, но ты слишком хлипкий и после обработки моими молодчиками из тебя уже ничего не выжмешь. Одним подпольщиком будет меньше — только и всего. Но мне нужен не один, а вся ваша группа. И я придумал, как до нее добраться. Тебя не будут ни бить, ни подвешивать, ни прижигать сигаретами, ни топтать сапогами. Ты уйдешь отсюда таким же чистеньким и свеженьким, как пришел. Никто, кроме матери, не знает, что ты был у нас, но на нее можно положиться, и никто не узнает, как бы ты ни просил. С этой же минуты, однако, каждый твой шаг будет под нашим наблюдением, и с кем бы ты ни встретился, кого бы ни посетил, даже просто перемолвился с кем-либо на улице, тот будет схвачен немедленно. Знаешь, как рыбу берут сетью? Мелкую вышвыривают, крупную на таган. Так мы и переловим всех твоих действующих и перспективных связных, а может быть, выйдем и на кого покрупнее. Игра стоит свеч, мой школьный товарищ, и мы в нее поиграем, чего бы нам это ни стоило. Что скажешь, наборщик Гриднев? Или у тебя язык отнялся от страха?

— А чего ты, собственно, ждешь: согласия или отказа?

Он хохотнул.

— Тебе нельзя отказать в присутствии духа. Так, значит, начнем игру.

Он позвонил. Вошел один из доставивших меня охранников.

— Отправьте этого господина домой, — сказал гауптштурмфюрер по-немецки. — Доставить вежливо и учтиво. Никакого насилия.

Меня увели. Мария Сергеевна встретила нас с каменным лицом, не говоря ни слова, и так же молча проводила меня в мою светелку. Один из гестаповцев остался на улице. Утром его, вероятно, должны были сменить.

До конца комендантского часа оставалось всего четверть суток. Тишина и темнота не только пугают, но и заставляют думать.

Не зажигая света, я думал.

Моя квартира считалась явочной. Не получая от меня сведений, Седой мог явиться сам или прислать связного. Из типографии меня, конечно, выкинут, сделав это в при-

сутствии тайных или явных гестаповцев, которые наверняка проследят любую мою попытку с кем-нибудь встретиться и что-то кому-нибудь передать. Даже Тимчука я не мог предупредить о вызове в гестапо: взяли бы и Тимчука.

Оставалась Галка или, вернее, ее чердак с дыркой в чулане. От дома на Маразлиевской до моего бывшего обиталища на Канатной можно было пройти за десять минут. В темноте и опасностях оккупационной ночи эти десять минут могли растянуться до часа.

У выхода на Маразлиевскую, вероятно, дежурил шпик.

Выхода на Канатную из дома не было. Но если спуститься из окна во двор, взобраться по крыше дворового погреба на двухметровую каменную стену, можно было перемахнуть во дворик другого дома, выходившего на Канатную. До цели оставалось еще четыре дома, шесть подъездов, двое ворот и кусок еще одной полуразрушенной стены — шагов семь-восемь. Можно было нарваться на патруль, а может быть, и нет: все-таки шесть подъездов и двое ворот.

Тишина и темнота не только угрожают, но и хранят.

Самое трудное было спуститься из окна второго этажа в чернильную муть двора. Водопроводная труба у окна была дряхлая и ржавая, но боялся я не упасть, а загреметь.

Тогда конец.

Я стоял у открытого окна и слушал тишину, как сладчайшую музыку. Что значили в сравнении с ней Бетховен или Моцарт! Она пела о риске, о свободе, об удаче гасконца Бален-де-Балю.

Я потянулся к трубе и, обняв ее коленками, повис. Она выдержала, даже не завизжала. Медленно, метр за метром я опустился на каменные плиты двора.

Никого.

Канатная встретила такой же чернильной тьмой. Ни одного освещенного окна, ни одного фонаря, ни одной звезды в небе.

И ни одного патрульного.

Четыре дома, шесть подъездов я прошел, прижимаясь к стене. У груды битых кирпичей на мостовой попластунски переполз на угол бывшей улицы Бебеля — румынское

название ее я забыл. Подъезд был открыт, обе двери в нем кто-то давно снял на растопку. Беззвучно, как кошка на охоте, я добрался до чердака. Он был заколочен, но я знал, что гвозди фальшивые — одни ржавые шляпки, и рванул дверь на себя. Она открылась со зловещим уханьем филина... Я так и замер в ожидании тревоги. Но тревоги не было; дырку чердака, засыпанную соломой, нашел без труда и нырнул в знакомый чуланчик, грохнувшись некстати подставленным стулом.

В дверь чуланчика тотчас же просунулась Галка в белой ночной рубашке — я только эту рубашку и видел, но Галка почему-то сразу разглядела меня.

— Ты?

— Я.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

— Погоди минутку, я оденусь.

Я постоял в двери, потом шагнул в комнату, освещенную огарком свечи.

Галка была уже в халатике и поправляла сбившиеся на лоб волосы.

— Провал, — сказал я и сел к столу.

Галка закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть.

— Седой?

— Пока только я.

И я рассказал Галке о разговоре в гестапо.

— Надо тебе бежать. И немедленно.

— Куда и как?

— У тебя же есть ночной типографский пропуск.

— Пропуск отобрали в гестапо.

— Попробуй тем же путем вернуться домой. Я предупрежу товарищей.

— О том, что я прокаженный? Не поможет. Пауль заберет всех моих школьных друзей. Для профилактики. Первой будешь ты.

— Я скроюсь. Других предупредим. Важно дожидаться возвращения Седого. Что-нибудь придумает.

— У нас нет времени.

— Что же ты предлагаешь?

— Уничтожить Павла. Пострадаю только я.

— Чему поможет это самопожертвование?

— Подполью.

Галка задумалась. В свете огарка ее лицо казалось серым, как асфальт.

— Есть выход. Я разбуджу Тимчука. Ты знаешь, ему нужно постучать в стенку с лестницы. Спит чутко.

Через десять минут явился Тимчук, заспанный, но одетый и с автоматом через плечо. Зевал он так, что трещали челюсти.

— Не рассказывай — знаю. У нас добрых три годыны. Выведу вас как арестованных без ночных пропусков, вроде бы в комендатуру, а на самом деле к Кривобалковским катакомбам. Вход знаю.

— А патруль?

— Прошмыгнем. Если не поверят, кончим. Больше двух человек не ходят. Ты одного, я другого. — Он протянул мне новенький «вальтер». — Стреляй в упор, прижав дуло к телу, — меньше шума.

Как мы дошли, вспоминать не хотелось. Длинно и мучительно. Но все-таки я доказал Паулю, что даже один просчет в партии может окончиться поражением сильнее-шего.

Потом нам сказали, что гауптштурмфюрер Гетцке брэнное свое существование закончил. Его умутили ручной гранатой на Соборной площади, когда он, выйдя из машины, зачем-то пошел к киоску напротив. Взрывом сорвало ему все лицо, так что узнали Гетцке только по документам. Повторяю, я долго жалел потом, что то была не моя граната.

Я НАЧИНАЮ РОЗЫСК

Лента воспоминаний раскручивается и гаснет. Я встаю с кресла и поднимаюсь на капитанскую палубу. Капитан встречает меня в точно сотканном из сахарной пудры мундире с пуговицами и нашивками, отливающими червонным золотом. Он высок, русоволос и красив, эталонный экраный вариант моряка. Создает же господь бог такую картинную человеческую породу.

К тому же он еще и умен.

Внимательно, очень внимательно рассмотрев мое служебное удостоверение, он приглашает меня в кабинет.

Хорошие копии Тернера и обрамленная тонким багетом гравюра легендарного парусника «Катти Сарк» украшают стены.

— Чем обязан? — спрашивает он.

— Есть подозрение, что один из пассажиров рейса выдает себя за другого. Пока только подозрение. Возможно, это честный советский гражданин, а возможно, государственный преступник. Хорошо замаскированный и очень опасный.

— Что требуется от меня?

— Обеспечить мне радиотелефонную связь с Одессой, а возможно, и с Москвой. Гарантировать полную секретность операции и молчание тех, кто будет в нее посвящен.

— А если он сойдет в первом порту? Скажем, здесь же в Ялте или в Сочи?

— Пока он ничего не подозревает. Да и невыгодно ему «раскрываться»: он уверен, что против него никаких доказательств.

— Я не должен знать, кого вы подозреваете?

— Почему? Фамилия его Сахаров. Сидит с женой за нашим столиком в ресторане. Никаких инцидентов в пути, полагаю, не будет.

В радиорубке я связываюсь по радиотелефону сначала с Одессой. Полковника Евсея Руженко знаю лично, представлений не требуется, и разговор начинается сразу же, без преамбулы.

— Звоню с теплохода «Иван Котляревский». Стоим в Ялте.

— В отпуск?

— Прервал отпуск. Срочное дело, Евсей.

— Излагай.

— Есть подозрительный человек среди пассажиров. Подозрение случайное и, может быть, не основательное. Но проверить надо. И немедленно. Узнай все, что известно из сохранившихся в Одессе немецких архивов времен оккупации о следователе гестапо гауптштурмфюрере Гетцке. Пауль Гетцке. Записал? Он же Павел Волошин, родившийся и учившийся в Одессе. Кстати, в одной школе со мной. Как он попал в Германию и превратился в Пауля Гетцке, рассказывать долго. Узнаешь у Тимчука — тоже соученика, а сейчас крановщика в одесском порту. Под именем Гетцке, точнее, фон Гетцке, Павел и вернулся

в Одессу в сорок втором году. А в конце сорок третьего его убили на площади Советской Армии, бывшей Соборной. Подробности найдешь в архивах. Лично я думаю, что это камуфляж: убит другой с документами Гетцке, с дальним расчетом, понимаешь? В общем, для опознания мне нужны, если сохранились, его фотокарточки и образцы почерка. Разыщи также оставшихся в живых свидетелей, которые могут вспомнить что-либо о его привычках, вкусах, манерах и особенностях поведения. Меня интересуют не допросы, а поведение вне службы. Может быть, уцелели его неотправленные письма на родину или, что более вероятно, какие-нибудь записки, пометки на документах, резолюции. Имеются ли сведения о его друзьях и родственниках в Германии? Словом, тебе ничего объяснять не надо, ты уже понял.

— Точно.

— Иконографический материал шли по фототелеграфу на адрес нашего ведомства в Сочи, а лично со мной связывайся в любое время на теплоходе.

— Бу...сде, как говорит Райкин. Удачи охотнику. Все?

— Пока все.

В Москве, тем же способом по радио, связываюсь со своим непосредственным помощником и заместителем майором Корецким. Кратко объяснив, откуда и зачем я звоню, тщательно перечисляю все, что необходимо сделать сегодня и завтра.

— Единственное неизвестное в уравнении — личность самого Сахарова. Подробности метаморфозы Волошин—Гетцке узнаешь от подполковника Руженко в Одессе. Свяжись немедленно. Кстати обсудишь и возможности дальнейшего превращения Гетцке в оценщика московской комиссионки Сахарова. Бесспорных доказательств этого превращения у меня нет — только личные впечатления и несколько схожих примет. Нужно что-то более веское. Вот и попробуем это веское отыскать. Возраст у Сахарова приблизительно мой: пятьдесят два — пятьдесят три. По его биографии — воевал, был в плену, освобожден американцами и возвращен (выясни: беспрепятственно или со скрипом) на родину, в Москву. Учти, что из биографии его для нас существенны главным образом довоенный и военный периоды, а также пребывание в плену вплоть до проверки его по возвращении в расположение

наших частей. Очень важны фотоснимки довоенного и военного периодов, письма, записки и вообще образцы его почерка того времени. Есть ли родные и знакомые, знавшие его до войны, во время войны и особенно в лагере военнопленных до освобождения его американским командованием. Интересно, встречались ли они с ним после его возвращения из плена и не нашли ли каких-либо странностей, не соответствовавших его прежним привычкам, манерам, облику и характеру.

— Месяцы работы, — слышу я в ответ.

— Месяцы сожми до недели. Сегодня вторник, а в субботу я должен знать, тот ли это Сахаров, за которого он себя выдает. Держи связь со мной через капитана «Котляревского», а образцы почерка и фотоснимки передавай по фототелеграфу в Сочи, Сухуми, Батуми и Новороссийск. Завтра мы будем в Сочи, послезавтра в Сухуми и так далее. Ночь плывем, день стоим. И еще: вся добыча должна извлекаться осторожно, так, чтобы у опрашиваемого не возникло никакого беспокойства и тревоги. Лучше всего действовать под видом фронтового друга, интересующегося судьбой своего соратника. Больше импровизации и обаяния, такта и находчивости. Подбери лучших, Виктора например.

— У Виктора срочное задание.

— Ну, Ермоленко. Остальных на твое усмотрение.

Возвращаюсь в каюту и нахожу Галку, аппетитно высасывающую сладкую мякоть груши.

— Как развиваются события? — спрашивает она, лукаво прищурив глаз.

— События? Какие события? — Делаю невинное лицо и получаю в ответ Галкино привычное:

— Не финти.

Удивление в квадрате. Не проходит: Галка безжалостно анатомирует:

— Тебя что-то заинтересовало в Тамаркином муже. Вы еще на причале с Тимчуком к нему присматривались. Думаешь, не заметила? Заметила. И за обедом ты явно играл. Во-первых, скрыл от него свою профессию...

— Почему? Я и в самом деле юрист.

— Но не член коллегии защитников. Во-вторых, твои актерские интонации — я-то их отлично знаю. Наигранное безразличие и чем-то обостренный интерес. Так ведь?

— Допустим.

— Может быть, это не государственная тайна и не закрытая для простого смертного?

— Для тебя — нет. Даже больше: твоя работа в институте криминалистики, близость к одному нашему общему делу в прошлом, твой здравый смысл и умение отличать в поведении человека ложь от правды и фальшь от искренности позволяют включить тебя в оперативную группу.

— Ничего не понимаю. Какая группа?

— Ты и я. Нас поддерживают одновременно Москва и Одесса. Финал — суббота, день возвращения из рейса. Словом, отпуск кончился, как верно отметил упомянутый тобой Тимчук.

— А нельзя без загадок?

— Загадка только одна. Кто такой Сахаров?

— Откуда этот внезапный и непонятный для меня интерес?

Пришлось раскрутить перед Галкой ту же ленту воспоминаний. Галка слушала серьезно и взволнованно, отражая на лице всю смену эмоций — от тревоги до недоверчивости. К концу моего рассказа последняя явно перевернула.

— Пауль Гетцке — Сахаров? Бред. Его же убили в конце сорок третьего.

— По лицу убитого узнать не могли: оно было снесено взрывом гранаты. Личность убитого установлена только по документам.

— Но задание ликвидировать Гетцке было же согласовано с Седым.

— Несомненно. Но в кого бросил гранату Терентий Саблин, боевик из второй группы Седого, мы так и не узнали. Терентий был убит осколком той же гранаты.

— Значит, предполагаешь камуфляж?

— Не я один. Предполагал и Седой. Только у нас не было доказательств.

— А какие были основания для такого предположения?

— Вторая граната. Один из наших пареньков, страховавший Терентия, слышал два взрыва, один за другим. У Терентия была всего одна граната. Кто же бросил вторую? И зачем? Тогда и возникло предположение, что о

подготовке покушения на Гетцке знали в гестапо и вместо Пауля подставили другого с его документами.

— Не могу понять,— вздыхает Галка.

— Чего?

— Смысл подстановки ясен. А вторая граната зачем?

— Чтобы нельзя было опознать убитого. Терентий бросал под ноги — удар мог пощадить лицо. Вторая граната не пощадил: бросили в голову.

— Не проще ли было Паулю тихо перевестись из Одессы, не прибегая к столь сложным и кровавым мистификациям?

Я уже не могу сидеть. Я хожу взад и вперед между койками каюты, размышляя вслух.

— Видишь ли, во-первых, Волошин-Гетцке игрок. В картах — блеф и риск, в шахматах — неожиданность и атака. Таков он и в жизни. «Проще» для него неинтересный тактический ход. Во-вторых, у берлинского начальства Пауля были, по-видимому, на него свои расчеты. Уже тогда гитлеровская разведка забрасывала к нам и в сопредельные славянские страны специально подобранных агентов для долговременной резидентуры. Посылали человека на случай, если понадобится в будущем. Жил бы законспирированный, незаметный до того, пока не потребует. Гетцке был для этого идеальным кандидатом. Родной для него русский язык, знание правовых норм и моральных устоев советского общества, его эстетических вкусов и бытовых черт плюс преуспевающая деятельность на гестаповском поприще и наиболее ценные качества империалистического разведчика — ум, хитрость, жестокость и неразборчивость в средствах. Все остальное уже было делом техники.

— А почему ты решил, что Сахаров — это Волошин?

— Узнал его. И не я один.

— Видела. На причале.— Тон Галки уже стал ироничным.— Интересно, по каким признакам вы его узнали? Я, например, и сейчас не узнаю.

— Ты знала его мальчиком. В эсэсовском мундире не видела. В «Пассаже» он не жил, по улицам разъезжал в машине, а в гестапо, к счастью, тебя не допрашивал.

— Пусть так. Но за три десятка лет человек иногда меняется до неузнаваемости.

— Например, отращивает бороду.

— Давай без сарказма,— уже сердится Галка.— Я не знаю, потому и спрашиваю.

— А я и объясняю. Ты знала Павлика Волошина, но не встречалась с Паулем Гетцке. А мы с Тимчуком встречались. И неоднократно. Лицом к лицу, как говорится.

— И что же в лице Сахарова оказалось волошинским?

— Во-первых, глаза. Или, точнее, что-то общее в них, собирательное: холодное недоверие к собеседнику, колючий огонек, умение скрывать что-то свое подспудное, другим неизвестное. Я не могу сформулировать точнее эту общность глаз, но, заглянув в глаза Сахарова, внутренне содрогнулся — столь знакомыми они мне показались.

— Это не для прокуратуры.

— Конечно. Впечатление — не доказательство: показалось, приснилось, привиделось. Есть, правда, и другая общность портрета. Похожи лоб, высокий взлет бровей, ноздри хищника, маленькие уши. Увы, все это не «особые приметы» — найдешь у множества лиц в толпе. Но есть какие-то штрихи индивидуальности, неповторимые оттенки личности, характерные, присущие только одному человеку привычки. Один пробует языком когда-то беспокоивший его зуб, отчего лицо чуть-чуть кривится и морщится. Другой в минуту задумчивости тербит мочку уха, третий предпочитает чесать затылок, четвертый полуприкрывает рукою рот, когда удивляется. По таким привычкам часто безошибочно угадываешь сходство.

Галка напряженно молчит, думает. Глаза по-прежнему недоверчивы.

— У Павлика была своя манера входить в воду с пляжа,— вспоминает она,— нырял под волну на мелководье и плыл под водой, пока позволяло дыхание, затем выскакивал на волну, как дельфин, и уплывал далеко в море, почти не видный с берега. Впрочем, это тоже не «особая примета». Так купаются многие.

— В том числе и Сахаров.

— Где это ты видел?

— На пляже в Ялте, когда вы уезжали на экскурсию.

— Смешно.

— Скорее, любопытно. Не «особая примета», согласен. Но есть и особая. У Павлика Волошина, когда он начал курить, появилась и своя манера закуривать: зата-

нуть, вынуть сигарету изо рта двумя пальцами, отставив мизинец — этакий одесский лихаческий шик — и посмотреть на тлеющий огонек папиросы. Точь-в-точь так же закуривает и Сахаров. Привычка настолько слилась с его личностью, что он забыл о ней как об «особой примете». Мелкий просчет, но просчет.

— А ты рискнешь утверждать, что такая же мальчишеская привычка не сохранилась с детских лет и у некоего Сахарова?

— Не рискну, конечно. Приметы не убеждают, а настораживают.

— А шрам? — вдруг вспоминает Галка.— У Павлика его не было.

— У Пауля тоже не было.

— Вот видишь.

— Ничего не вижу. Сахаров сказал, что шрам у него с детства. Если у реально существовавшего Сахарова шрам был действительно с детства и гестапо об этом знало, то Пауль Гетцке вместе с документами Сахарова получил от начальства не только бороду, но и шрам.

— Косметически нанесенный?

— Хирургически, с гримировкой под возраст.

Галка слушает наклонив голову. Все еще сомневается. Педантическая придирчивость эксперта-криминалиста.

— Не подгоняешь ли ты доказательства к версии? Бывают такие следователи.

— Знаю, что бывают. Повторяю, я еще ни в чем не убежден, только настораживаюсь все больше и больше. Тут уже не только мистика интуиции и случайность «особых примет», настораживают и шероховатости в биографии Сахарова.

— Успел узнать?

— Он сам рассказал. Кстати, с полнейшим безразличием к теме, с каким-то подчеркнутым равнодушием интонации. Как нечто само собою разумеющееся. Воевал, был в плену, сидел в лагере для военнопленных, освобожден американцами, и, по-видимому, без всяких сложностей.

— Н-да...— задумывается Галка.

Искорки недоверия в ее глазах гаснут. Глаза уже не щурятся, они широко открыты, сосредоточенны и серьезные.

— Обычный в те годы способ заброски агента,— говорит она.— Придется проверять по двум каналам.

— Уже начал. Пока ты любовалась алупкинскими красотоми, я уже говорил с Москвой и Одессой. Завтра получу первую информацию.

Разговор обрывается, мы приходим к одной мысли, которой будут теперь отданы все наши думы, дела и чувства. Если бы ситуация не столь настораживала, Галка обязательно бы съязвила: похоже, мол, на пасьянс. Снимаешь карту, открываешь другую и кладешь на третью. Может, сойдется, а может, и нет. Но Галка все понимает и молчит. Очень уж значительно это «сойдется».

— А все-таки жаль,— говорит она,— что отпуск кончился.

Сочи

Я РАЗГОВАРИВАЮ С ОДЕССОЙ

Завтракаем на подходе к Сочи. На палубе тридцать градусов в тени, а здесь, в ресторане, кондиционеры снижают жару до восемнадцати. Свежо и прохладно. Официантки в накрахмаленных фартучках разносят кофе по-варшавски с пастеризованным молоком.

Разговор не клеится. Сахаров, как и вчера, молчалив и сумрачен. Тамара злится — должно быть, поссорилась с мужем; вышла к завтраку с покрасневшими веками и разговаривает только с Галкой о предстоящей в Сочи автобусной экскурсии в Мацесту и Хосту.

Я молча дожевываю поджаренные сырники и вздыхаю:

— Предпочел бы хороший бифштекс по-деревенски.

Это намек. Когда-то у Волошиных их очень хорошо готовила домработница Васса. Я запомнил. Но помнит ли Пауль? Может быть, немецкое воспитание подавило и память детства или по роли Сахарова ему и не положено об этом помнить.

Я угадал: он спрашивает:

— Почему по-деревенски?

— С поджаренным луком,— поясняю я.— Так он когда-то именовался в ресторанных меню.

— Не знаю,— пожимает он плечами, подтверждая мою догадку,— до войны по ресторанам не хаживал. А сейчас они без названия. Просто бифштекс с луком. Лучше всего их готовят в Берлине.

— В Берлине? — недоумеваю я.

— Я имею в виду ресторан «Берлин»,— снисходительно поясняет он.

— В Одессе в «Лондонской» готовят не хуже,— обижается за Одессу Галка.

— Где это в «Лондонской»? — теперь уже недоумевает Сахаров.

Я вмешиваюсь:

— Так называлась раньше гостиница «Одесса» на Приморском бульваре. По привычке старые одесситы ее и сейчас называют «Лондонской».

— С раскрашенным Нептуном в садике? — улыбается Сахаров.— В воскресенье с Тамарой обедали. Неплохо. А вы, значит, тоже одессит?

Спрашивает он, как обычно, лениво, без особой заинтересованности. Именно так спросил бы Сахаров. Если же это Пауль, то не узнать меня он не мог и вопрос, конечно, наигран. К стати говоря, мастерски, по актерской терминологии — «в образе».

Ну, а мой «образ» позволяет не лгать.

— Конечно, одессит. Вместе с Галиной в одной школе учились.

— И воевали в Одессе?

— Оба. Вместе были в оккупации. В партизанском подполье.

— Страшно было?

— На войне везде страшно.

— Верно,— соглашается он.— В плену тоже было горше горького. А что сильнее — страх перед смертью в открытом бою или ежедневный поединок с гестапо?

Если Сахаров — это Пауль, то он допускает просчет. Подлинный сумрачный и неразговорчивый Сахаров не должен был интересоваться чужой и безразличной ему Одессой, да еще в далекие оккупационные годы. Тогда ему, Сахарову, как говорит он сейчас, самому было не сладко, и обмениваться воспоминаниями такой Сахаров едва ли бы стал. Тут Пауль из «образа» вышел.

И я с готовностью подымаю перчатку.

— Страх смерти на войне дело привычное. О нем забываешь, в подполье тем более. Нет ни бомбежек, ни артобстрела. Будни, работа. А провал твой зависит от тебя же, от твоей бдительности и осторожности. Поединок с гестапо, конечно, не игра в очко, но мы выигрывали и такие поединки. Да и не раз.

Я моргнул Галке — она порывалась что-то сказать: молчи, мол, хватит. И Сахаров перехватил этот взгляд. Он снова «в образе», задумчивый и незаинтересованный. Понял ли он свой актерский просчет, малюсенький, но все же просчет, или настолько убежден в своей неразоблаченности, что ничего и никого не боится? Это совсем в духе Пауля. Игрок всегда игрок — врожденное свойство характера не заслонишь никакой маской.

Похоже, что он играет наверняка. Узнал, но не боится, хорошо замаскирован и может поиграть со мной в кошки-мышки. Пока мои данные — воспоминания, ощущения, приметы, предположения — все это, как говорит Галка, не для прокуратуры. Акул не ловят на удочку — нужен гарпун.

— Может быть, мне даст его Одесса или Москва?

Долго ждать не приходится. К столу подходит официантка и, нагнувшись ко мне, тихо спрашивает:

— Вы товарищ Гриднев Александр Романович?

— Так точно, девушка.

— Капитан вас просит подняться к нему на мостик.

— Интересно, зачем это вы ему понадобились? — неожиданно любопытствует Сахаров.

Я мгновенно импровизирую:

— Так ведь это наш старый одесский знакомый. С его помощью мы и получили эту каюту. Ведь билеты на круиз давно распроданы.

— Я знаю, — тянет Сахаров. — А как зовут вашего капитана?

— Невельский Борис Арсентьевич. Старинная родовая фамилия русских мореплавателей и землепроходцев.

Хорошо, что я предусмотрительно узнал имя и отчество капитана. Но с какой стати Сахаров спросил меня об этом? Проверить? Поймать на сымпровизированной выдумке? Пожалуй, когда я уйду, он с пристрастием допросит Галку. Ничего, она вывернется.

Я подымаюсь на капитанскую палубу, припоминая все

сказанное за столом. Ничего утешительного. Мелочи, нюансы, психология. На весы моей убежденности в равенстве Гетцке — Сахаров он не положил ни одной гирьки. Демонстративное подчеркивание своего незнакомства с Одессой, может быть, только мне показалось демонстративным, а несвойственный заранее запрограммированному облику Сахарова его интерес к нашим переживаниям в одесском подполье, может быть, только мне показался несвойственным. Ладно, подождем.

Капитан выходит навстречу мне к верхнему трапу.

— Скорее в радиорубку, — торопит он. — Вас уже ждут.

Меня действительно ждет у радиотелефона в Одессе Евсей Руженко.

— Долго же ты добирался из ресторана. Минут десять жду, — ворчит он.

— Когда мне передали приглашение от капитана, я, сам понимаешь, не хотел показать Сахарову, что спешу к телефону. А он к тому же немедленно заинтересовался, почему и зачем, как зовут капитана и тому подобное.

— Кто это Сахаров?

— Личность, которая меня интересует.

— Воскресший Гетцке?

— Есть такая думка.

— Подтверждается думка. Донесением Тележникова секретарю подпольного райкома.

— Какого Тележникова?

— Ты же в его группе был. Седого не помнишь?

— Седого забыть нельзя. Забыл, что он Тележников. Старею. Так о чем донесение?

— О двух гранатах. Не наша граната срезала физиономию Гетцке.

— Я это знаю.

— Тележников уверен, что нам вместо Гетцке подсунули другого.

— Это я тоже знаю. Меня интересует его досье.

— Досье нет. Или его вообще не было, или его изъяли заранее, еще до отступления.

— Я так и предполагал. Что же удалось узнать?

— Мало. Нет ни его фото, ни образцов почерка. Ни одной его записки, ни одного документа, им подписанного. Со свидетелями его деятельности тоже не блеск.

Никто из попавших к нему в лапы не уцелел. Хозяйка квартиры, где он жил, бесследно исчезла во время отступления последних немецких частей из Одессы. Осталась в живых лишь ее дочь, находившаяся в то время у родственников в Лузановке. Ей было тогда десять лет, и многого она, естественно, не запомнила. Помнит красивого офицера, хорошо говорившего по-русски, нигде не сорившего и даже пепел от сигарет никогда не ронявшего на пол. Вот ее собственные слова: «Он курил только безмундштучные сигареты, курил медленно, любуясь столбиком пепла. Как-то позвал меня и сказал: «Смотри, девочка, как умирает сигарета. Словно человек. Остаются труп, прах, который рассыплется». Иногда он с мамой раскладывал пасьянсы и даже научил ее какому-то особенному, не помню названия. Кажется, по имени какого-то короля или Бисмарка».

— А еще? — нажимаю я.

— Еще Тимчук.

— Тимчука оставь. Я уже говорил с ним в Одессе.

— Он добавляет одну деталь, о которой тебе не рассказывал. В минуты раздражения или недовольства чем-либо Гетцке кусал ногти. Точнее, один только ноготь. На мизинце левой руки он всегда был обкусан.

— Это все?

— Скажешь, мало за одни сутки! Но мы еще кое-что выловили. Мать Гетцке, Мария Сергеевна Волошина, до сих пор живет в Одессе. Говорит следующее, слушай: «Павлик и в детстве кусал мизинец, я корила его, даже по рукам била — не отучила. Осталась эта привычка у него и когда он вернулся сюда уже в роли немецкого офицера. Я уже не делала ему замечаний: он был совсем, совсем чужой, даже не русский. Друзей у него не было, девушек его я не знаю. Хотя, правда, он рассказывал мне об одной, дочери какого-то виноторговца в Берлине. Имя ее Герта Циммер, я запомнила точно: очень уж смешная фамилия. Павлик говорил, что даже хотел жениться на ней, но немецкая мачеха его, баронесса, не дала согласия на брак, пригрозив, что лишит наследства». Пока все.

— Как ты сказал — Герта Циммер?

— Точно.

— Спасибо. Это уже улов. Продолжай в том же духе, если удастся. Очень уж крупная рыба — как бы не со-

рвалась. Документацию перешли мне в Москву, здесь в дороге не понадобится. А связь поддерживай с «Котляревским» с ведома и разрешения капитана.

— Хороший мужик. Знаю.

— Очень уж элегантен.

— В заграничных требуется. А в своем деле и в отношениях с людьми безупречен. Можешь полагаться на него в любой ситуации.

Капитан встречает меня у входа в свою суперкаюту.

— Заходите, Александр Романович. Очень хочется полюбопытствовать.

— Что ж, полюбопытствуйте.

— Угощу вас настоящим ямайским ромом — остался от марсельского рейса.

— В другой раз с удовольствием. А сейчас, сами понимаете: разговаривал с Одессой, надо кое-что осмыслить и взвесить.

— Значит, дело подвигается?

— Плохо. Слишком много надо слагаемых, чтобы получить требуемую сумму.

— А как ведет себя неизвестный в заданном уравнении?

— С отменным спокойствием.

— Не бежит?

— Не думаю. Очень в себе уверен. Кстати, он был за столом в ресторане, когда официантка передала мне ваше приглашение, и крайне заинтересовался. Ну, я и симпатизировал, сказав, что мы с вами знакомы еще по Одессе и даже каюту на теплоходе получили с вашей помощью. Не возражаете против версии? Тогда просьба: разрешите зайти к вам с женой, когда будете свободны. Версия закрепится, и я могу уже без подозрений навещать вас, когда это потребуется.

— Превосходно, — дружески улыбается капитан, — сегодня же вечером и приходите ужинать. Уверю вас, что ужин будет не хуже, чем в ресторане.

— И с ямайским ромом? — спросил я.

— И с ямайским ромом.

Галка ждет меня в каюте в другом платье и новых туфлях — видимо, собралась на прогулку в город.

— На экскурсию? — интересуюсь я.

— Нет, решили на городской пляж с Тамарой и Сахаровым.

— Он тоже едет?

— А ты разве нет?

— Не могу. Жду вызова из Москвы. Скажешь, что не хочу тащиться по жаре через весь город. Обойдусь душем. Если спросит, конечно.

— Спросит. Он явно обеспокоен твоим визитом к капитану. Я поддержала версию о знакомстве, не знаю, насколько убедительно, но поддержала.

— Сегодня вечером поддержим ее оба. Мы ужинаем не в ресторане, а у капитана. По его специальному приглашению. Обязательно похвастай этим перед Сахаровыми. Не специально, а к слову, без нажима. Капитан, между прочим, интересный мужик, красив как бог. Скажи, что млеешь. Ну, а в разговоре обрати внимание на левый мизинец Сахарова.

— Ноготь обкусан? — улыбается Галка. — Тоже мне сыщик. Я это давно заметила: он кусает его, когда задумается. Или просто проводит кончиком языка, когда кусать уже нечего. Скверная привычка, но едва ли веское доказательство.

— Даже не доказательство, а штришок. Еще один штришок к портрету Волошина-Гетцке. Ну, а на пляже ты уточни еще один. Когда он заплывет подальше от берега и вы останетесь с Тамарой вдвоем, заговори о картах. Найди повод. Скажем, преферанс, покер, смотря на что клонет. Но упомяни о пасьянсах. Обязательно о пасьянсах.

— Терпеть не могу пасьянсов. Что-то вроде козла, только без стука и в одиночку.

— Ну, а по роли пасьянсы — твое любимое развлечение. Узнай, любит ли она. Если клонет, обещай научить ее пасьянсу какого-то немецкого короля или Бисмарка. Старик пробавлялся ими в часы досуга.

Галка настораживается.

— Зачем тебе это?

— Проверить одесскую информацию.

— Есть что-нибудь интересное?

— Мало. Перерыли все архивы — и ничего. Ни досье, ни фото, ни приказов, ни докладов, даже подписи нет. А образец почерка — одна из вернейших «особых примет». Можно изменить биографию, даже внешность, только не почерк: специалисты-графологи всегда найдут общность, как его ни меняй. И если почерк настоящего Сахарова — это почерк бывшего Пауля Гетцке, значит, на руках у меня по меньшей мере козырной туз.

— Может быть, жива его мать?

— Жива и живет в том же доме. Но он никогда не писал ей. Ни одного письма, даже поздравительной открытки.

— А если потревожить его немецкую мачеху? Возможно, она тоже жива.

— Где? В Мюнхене? Попытаться, конечно, можно, но исход сомнителен. Есть другой вариант. По словам Волошиной, у Пауля в Берлине была невеста, некая Герта Циммер, замужем по вмешательству баронессы фон Гетцке. Немцам свойственна сентиментальность, и возможно, что Герта Циммер, если она жива и живет в Берлине — пусть в Западном, найдем, — все еще хранит заветное письмо или фотокарточку с трогательной надписью любимого, разлученного с нею навеки.

— Зыбко все это, — вздыхает Галка.

— Не мог он предусмотреть всего. Где-нибудь просчитался, какой-нибудь след да оставил. Хоть кончик ниточки. А мы ее вытянем.

С этой зыбкой надеждой я и остаюсь на опустевшем теплоходе. Захожу в бассейновый зал — никого. Бассейн спущен. Без воды он неприветлив и некрасив. Снова возвращаюсь в каюту в ожидании вызова из Москвы. Но Москва молчит. Неужели Корецкий ничего не выудил? Не может быть. Что-то уже наверняка есть — накапливает, скряга, информацию. Уже час прошел — Сахаровы вот-вот вернутся. И, вспомнив к случаю о Магомете и горе, решительно подымаюсь в радиорубку. Снова связываюсь по радиотелефону с Москвой.

— Почему не выходишь на связь? — говорю я недовольно замещающему меня Корецкому.

Корецкого я знал еще сиротой-мальчуганом, подоб-

ранным наступавшей воинской частью, с которой ушел и я после освобождения Одессы. Ныне он майор с высшим юридическим образованием, непосредственно мне подчиненный. И хотя я по старой привычке по-прежнему обращаюсь к нему на «ты», он по-прежнему сохраняет служебную и возрастную дистанцию.

Вот и сейчас он сдержан и чуть-чуть суховат.

— Торопитесь, товарищ полковник.

— Меня, между прочим, зовут Александр Романович. А тороплюсь не я — время торопит. Есть что-нибудь?

— Кое-что есть, но...

— Давай кое-что.

— Сахаров живет в Москве с сорок шестого. Окончил Плехановский в пятидесятом. Работал экономистом в разных торгах, сейчас в комиссионке на Арбате, соблазнился, должно быть, частными доходами, которые учсть трудно. Женат с пятьдесят девятого, до этого жил холостяком, обедал по ресторанам, вечеринки, гости, девушки, но сохранил, в общем, репутацию солидного, сдержанного, не очень коммуникабельного и не склонного к дружеским связям человека. Жена — косметичка по специальности, практикует дома. Детей нет.

— Все это преамбула, мне знакомая. Дальше.

— Не судился и под следствием не был. Служебные характеристики безупречны. Образ жизни замкнутый, хотя профессия его и жены предполагает обширный круг знакомых. Но ни с одним из них Сахаровы не поддерживают близких отношений. Это точно. Даже телефон у них звонит крайне редко.

— Откуда это известно?

— От соседей. Телефон у Сахаровых в передней. Стенка тонкая. Каждый звонок слышен.

— Беллетристика. Давай факты.

— Есть одна странность. У американцев он побывал в двух лагерях для перемещенных. Мотивировка правдоподобная. Один разукрупнился, в другой перевели. Перевоспитали партию, не подбирая близких ему дружков. В результате в группе одновременно с ним проходивших проверку не оказалось ни одного, кто бы хорошо знал его: пробыли вместе не более месяца. Но гитлеровский концлагерь, где он отбывал заключение, Сахаров назвал точно, перечислил все лагерное начальство и даже часть

заключенных, находившихся вместе в одном бараке. Проверили — все совпало, только товарищей по заключению не нашли, да и найти было нелегко: американцы в то время многое скрывали и путали. Назвал Сахаров и часть, где воевал, имена и фамилии командира и политрука, точно описал места, где попали в окружение, и даже упомянул солдат, вместе с ним отстреливавшихся до последнего патрона. И еще странность: в списках части, вернее, остатков ее, вышедших из окружения, нашли его имя, и документы нашли, и фотокарточка подтвердила сходство, а вот свидетелей, лично знавших его, не обнаружилось: кто убит, кто в плену, кто без вести пропал, не оставив следа на земле. Много таких было, как Сахаров, вот и ограничились тем, что нашли и узнали. Ну, проштемпелевали и отпустили домой в Апрелевку, в сорока километрах от Москвы.

— Ты говоришь, фотокарточка. Где она, эта карточка?

— В протоколах упоминается, а в деле нет.

— А что есть?

— Фотоснимки Сахарова и образцы его почерка в анкетах и служебных документах только послевоенные. Ни одного довоенного документа мы не нашли.

— А у родственников? Есть у него какие-нибудь родственники? — спрашиваю я уже без всякой надежды.

И получаю в ответ настолько неожиданное, что каменею, едва не уронив трубку.

— Представьте себе, есть, полковник. Мать.

— Жива? — Голос у меня срывается на шепот.

— Живет в Апрелевке под Москвой, — отчеканивает Корецкий с многозначительной, слишком многозначительной интонацией.

Я молчу. Молча ждет и Корецкий.

Живая мать, признавшая сына после возвращения его из армии. Это, как говорят на ринге, — нокаут. Все здание моих предположений, догадок и примет рассыпается, как детский домик из кубиков. А может быть, она слепа, близорука, психически ненормальна?

Слабая надежда...

— Говорили с ней?

— Говорили.

— Кто?

— Лейтенант Ермоленко. Он и сейчас в Апрелевке. Получил полную, хотя и неутешительную, информацию.

— Подробнее.

— Мать Сахарова зовут как в пьесах Островского — Анфиса Егоровна. Год рождения тысяча девятисотый. По словам Ермоленко, крепкая и легкая на подъем старуха. Муж умер в тридцатых годах от заражения крови. И до войны и в войну работала учительницей младших классов в апрелевской средней школе, в пятьдесят шестом ушла на пенсию, как она говорит, хозяйство восстановить — дом, огород, ягодник. Денег у нее много. Пенсия, клубничкой приторговывает, да сын помогает. Средства у него, мол, неограниченные.

Неограниченные. Раз. Есть зацепка. К вопросу о средствах еще вернемся.

— Легко ли узнала сына после его возвращения?

— Говорит, что сразу, несмотря на бороду. Тот же рост, тот же голос и шрамик, памятный с детства. Внимательный, говорит, сынок, памятный. Все, мол, вспомнил, даже ее материнские наставления и горести.

— Всегда был таким?

— Ермоленко ее подлинные слова записал. Неслух неслухом был, говорит, дитя малое, ребенок, но с годами к матери добрее стал. А в войну возмужал, горя да страха натерпелся, вот и понял, что ближе матери человека нет. Тут Ермоленко и спроси: в чем же эта близость выражается, часто ли они видятся, навещает ли он ее, один или с женой, а может, она сама к ним ездит? Старуха замялась. Ермоленко подчеркивает точно, что замялась, смутилась даже. Оказывается, они почти и не видятся. Наезжает, говорит, а как часто — мнется. Некогда, мол, ему, большой человек, занятой. А она сама в Москву не ездит — старость да хвори. Была один раз — заметьте, Александр Романович, всего один раз за годы его семейной жизни, — с женой познакомилась, а говорить о ней не хочет: подходящая, мол, жена, интеллигентная. И сразу разговор оборвала, словно спохватилась, что много сказала. Хороший, мол, сын, ласковый, хоть и не навещает, а письма и деньги шлет аккуратно. Вот вам и близость, которая зиждется только на взносах в материнскую кассу.

— А велики ли взносы?

— От прямого ответа уклонилась: не обижает, бабюшка, не жалуюсь. По мнению Ермоленко, старуха двулична, и я, пожалуй, с этим согласен. Язык нарочито простоватый — такая деревенская кумушка, — а ведь по профессии учительница с хорошим знанием русского языка. Не та речевая манера. А зачем? Чтобы вернее с толку сбить, увести со следа? Ну, сыновние взносы-то мы проверили. Раза четыре в год она получает почтовыми переводами по пятьсот — шестьсот рублей. А когда Сахаров сам приезжает — не часто, раз в два-три года, — материнская касса опять пополняется. Уже натурой. Вот показания соседки, портнихи из местного ателье. Зачитывать? Не загружаем коммуникации?

— Зачитывай. Пока не гонят.

— «Когда сын в гостях, двери всегда на запоре, даже окна зашторивают. Сын гостит недолго — час, а то и меньше — и тут же отбывает на машине, у него собственная, сам правит. А потом Анфиса хвастается обновами: то пальто демисезонное с норкой, то шуба меховая, то трикотаж импортный. Опять, говорит, прибарахлилась, спасибо сыночку — уважает». А не кажется ли вам, Александр Романович, что уважение это больше на подкуп смахивает?

— С каких пор он высылает ей деньги?

— С первых же дней, как обосновался в Москве.

— Даже в студенческие годы, когда жил на стипендию?

— Сахарова говорит, что он и тогда хорошо подрабатывал. Переводами с немецкого для научных журналов. Язык, мол, в плену выучил.

Выучил. Что может выучить узник гитлеровского концлагеря, кроме приказов и ругани охранников и капо?

— Мы проверяем бухгалтерские архивы соответствующих издательств, — говорит Корецкий. — Переводческих гонимых Сахарова пока не обнаружено.

Еще зацепка. Еще одна брешь в железобетонной легенде.

Я вспоминаю реплику Корецкого о том, что Сахаров иногда пишет матери.

— Она сама читает письма?

— Сама.

— И почерк не показался ей изменившимся?

— Он выстукивает письма на машинке, чтобы ей, старухе, мол, было легче читать.

Интересно, зачем оценщику комиссионного магазина пишущая машинка? Неужели только для того, чтобы облегчить чтение писем старушке-матери? Непохоже на Пауля, даже в его новой роли. Вероятнее другое: его корреспонденция шире и среди ее адресатов есть лица, кому не следует писать от руки.

— Ермоленко интересовался,— продолжает Корецкий,— не сохранились ли у нее ученические тетради сына, его довоенные письма, поздравительные открытки или документы, лично им написанные? Оказывается, все, что могло сохраниться, погребло в конце войны в их сгоревшем от пожара деревянном домике. Самому Сахарову едва удалось спастись, настолько внезапным и сильным был вспыхнувший в доме пожар.

— Причины пожара?

— Она не знает. Решили, что поджог спяну случайный прохожий, бросивший окурок на крыльцо, где стояла неубранная корзина с мусором — забора тогда у дома не было.

Я думаю. Могла ли гитлеровская разведка вовремя позаботиться об уничтожении всех следов, связывающих Сахарова с его прошлым? Могла, конечно. И старуху, возможно, ожидала та же участь, что и ученические тетради ее сына. И только безоговорочное признание его сыном, пожалуй, и сохранило ей жизнь, да еще и создало сверхнадежное прикрытие преступнику. А было ли оно честным, это признание, уже не установишь. Минимум сорок тысяч рублей в нынешнем исчислении, полученных за двадцать пять лет от ее «сына», плюс подарки, общая стоимость которых, вероятно, также исчисляется в тысячах, прочно и глубоко похоронили все сомнения, даже если они и были.

— А как отнеслась она к расспросам Ермоленко? Не перегнул ли парень? Насторожит старуху — насторожится и Сахаров. Что ей стоит предупредить его?

— Любую телеграмму можно прочитать на теплоходе. У вас же в радиорубке. А я думаю, что никакой телеграммы не будет. Схитрил Ермоленко. Представился ей как журналист, собирающий материал для очерков о мужестве советских военнопленных в годы Великой Отече-

ственной войны, в частности о тех, кто остался в живых после гитлеровской лагерной мясорубки. Старуха склонила наживку не задумываясь.

— Что же сейчас задерживает Ермоленко? — спрашиваю я.

— Надеется разыскать друзей детства Сахарова или тех, кто знал его до войны и, может быть, видел после возвращения.

— Когда же он прорежется?

— Видимо, завтра. Так условились.

— Ну, а теперь условимся мы. Нужны подробности первой встречи Сахарова с матерью. Может быть, есть свидетели, кто-либо присутствовал, заметил что-нибудь — ну, удивление или недоверие: с трудом узнала, скажем. Ее рассказ Ермоленко уже обусловлен сложившимися отношениями Сахаровой и ее псевдосына. Интересны же ее первые рассказы о встрече — наверное, говорила кому-нибудь: ведь в ее окружении это сенсация. И еще. Проведем другую касательную к биографии Сахарова. Свяжись с берлинской госбезопасностью и узнай, жива ли и где находится бывшая невеста гауптштурмфюрера Пауля Гетцке, некая Герта Циммер, дочь известного виноторговца, и в случае ее досягаемости пусть выяснят, не сохранились ли у нее какие-либо письма или фотокарточки с автографом Гетцке. Если да — пусть переснимут и вышлют тотчас же. В крайнем случае могут связаться с полицейскими властями Западной Германии, если эта Циммер была туда из ГДР. Ничего секретного мы не требуем.

— Попробую,— соглашается Корецкий.

— Действуй,— напутствую я его и выключаю связь.

Теплоход стоит у сочинского причала. В коридорах, салонах и барах ни души — все в городе. Только у бассейна на шлюпочной палубе молодежная суета: его снова наполнили, и девушки в купальниках, подсвеченные снизу, кажутся пестрыми экзотическими рыбами в зеленоватой цистерне аквариума. Здесь мне делать нечего — стар. Может быть, стар и для молчаливого поединка, который начал с надеждой выиграть без осечки. Смогу ли? Настораживает не только железобетон легенды, но и личность его прикрытого. Пауль Гетцке не просто военный преступник, скрывшийся в тихом омуте заурядной мо-

сковской комиссионки. Залег сом на дно под корягу и не подает признаков жизни. Нет! Не зря же его дублировали во встрече со смертью в оккупированной Одессе, и не зря он дублировал незаметно исчезнувшего в германском концлагере Сахарова. Как это было сделано, выяснится впоследствии, а зачем, ясно и сейчас.

Пока же сом лежит под корягой.

Я И ГАЛКА

С пляжа Галка возвращается одна — Сахаровы остались обедать в городе.

— А потом снова на пляж. Как психованные. У нее даже шкура задубела на солнце, а он из воды не вылезает. Мы с Тамарой три часа провалялись на пляже, пока он плавал.

— За буйки?

— Конечно. Марафонский заплыв на полдня. И знаешь что? Мне все кажется, что он не просто плавает, не из удовольствия...

Галка колеблется, не решаясь высказаться определеннее.

— Тренируется? — подсказываю я.

— Вот именно. Ты не боишься, что он сбежит, скажем, в Батуми? Граница рядом.

— Не сбежит. Во-первых, это не просто граница, это наша граница. Даже с аквалангом не проскользнешь. А во-вторых, он слишком уверен в своей безопасности, чтобы отважиться на такой побег. При желании он мог бы остаться за пределами нашей страны в одной из своих туристских поездок. Ведь у него наверняка были такие поездки?

— Тамара говорит, что были. Кажется, в Чехословакию ездили или в Швецию. Куда-то еще.

— В Чехословакию он ездил, возможно, только для встречи с кем-нибудь, кто одновременно туда приехал с Запада. А в Швеции вполне мог остаться. Но не остался, как видишь.

— Тогда не возникала опасность разоблачения.

Галка, наверно, права. Опасность разоблачения воз-

никла. Он безусловно узнал и меня и Галку, вероятно, еще на морском вокзале в Одессе, когда мы разглядывали его с Тимчуком. Поверил ли он в мой юридический камуфляж? Вероятно, нет. Члена коллегии защитников я сыграл наудачу с апломбом, но, как говорится, по касательной, неглубоко и неубедительно. Близость Галки к криминалистике, должно быть, насторожила.

Я пробую представить себя на его месте.

Первая реакция, понятно, настороженность. Гриднев и Галка, конечно, узнали его, но скрывают, делают вид, что поверили в гедониста из комиссионного магазина, любителя вкусно и сытно жить. А если игра, то зачем? Сомневаются, не убеждены, растеряны или же, замаскировавшись, решительно начали, как у них говорят, разоблачение военного преступника? Любительски неумело или опираясь на специальную выучку профессионалов? Вероятнее первое. Сначала присмотреться, прислушаться, разглядеть получше, проверить поточнее, а потом уже действовать, на ходу передоверяя розыск специалистам этого дела. А куда сунутся специалисты? В архивы, искать следы Пауля Гетцке и довоенного Сахарова. Но гестаповский палач Гетцке — будем считаться с их терминологией — казнен по приговору одесского подполья, а довоенный Сахаров почему-то не оставил следов. Ни школьных тетрадок, ни дневников, ни писем. Документация Нарофоминского райвоенкомата, где призывался Сахаров, утрачена в годы войны, архивы гитлеровских концлагерей уничтожены в панике германского отступления, документированная биография Сахарова начинается с возвращения из плена. Чистенькая биография, без пятнышка, подкрепленная неопровержимым свидетельством матери, радостно встретившей своего без вести пропавшего сына. И уймутся легавые, как бы ни божился Гриднев, что я — Гетцке, а не Сахаров.

Так предположительно может рассуждать Сахаров, судя по его поведению на борту «Котляревского». А заплывы? Почему же не поплавать, если умеешь. Просто Галка сверхподозрительна.

Она тут же подтверждает это.

— Между прочим, все сходится, даже пасьянсы. Только не Тамара — он сам их раскладывает. Страстишка. О пасьянсе Бисмарка поэтому пришлось умолчать. Неза-

чем подбрасывать прикормку возле наживки — рыба может насторожиться.

Тон у Галки бодрый, с этакой самоуверенностью удачливого рыбака, твердо рассчитывающего на то, что рыба от него не уйдет.

Охладим.

— Пасьянсы, Галочка, на весах Феиды как доказательство идентичности Сахаров — Гетцке весят не больше, чем его манера закуривать, купаться и грызть ногти. А на его чаше весов — гиря. Весомая. Короче говоря, в Апрелевке под Москвой живет родная мать Сахарова.

Галка недоумевает.

— Почему в Апрелевке? Ты же сказал — в Одессе.

— В Одессе живет Волошина, а в Апрелевке — Сахарова.

Галка пугается.

— Мать настоящего?

— Мать настоящего.

— Неужели же она поверила и признала этого?

— Увы.

— Значит, мы ошиблись.

У Галки бледность сквозь загар — матово-серая. Холмс никогда не добивал Ватсона, и я рассказываю Галке о послевоенной биографии Сахарова, не скрывая своих сомнений. Ошиблись? Не убежден. Конечно, признание матери — беспроигрышный вариант, но...

— Что меня смущает, Галчонок? Личность матери. Какая мать — не пенсионерка, не инвалид, а работающая, с вполне приличным заработком, согласится получить от сына-студента, не имеющего ни специальности, ни штатной работы, нынешних двести, а тогда две тысячи рублей ежемесячно? Говорит, что сын хорошо подрабатывал переводами с немецкого языка. Оставим «язык» и вникнем в «переводы». Можно ли было зарабатывать в конце сороковых — в начале пятидесятых годов, не будучи специалистом-переводчиком, случайными переводами не менее трех тысяч в месяц? Две ведь он посылал матери, а самому что-то нужно было: квартира, питание, транспорт, кино, девушки — не монахом жил. И посуды, какая мать, даже простая полуграмотная женщина, не заподозрила бы чего-то нечистого в происхождении таких денег у рядового студента? А эта — учительница, интел-

лигентка — даже не задумалась и, хотя учителей в подмосковных школах совсем не избыток, тотчас же ушла на пенсию, как только закон позволил. Чтобы ничто не мешало клубничку возделывать да на рынок сплавлять. И как легко она, без огорчения, без обиды, отказалась от личных встреч, согласилась на подмену их реденькой даже не перепиской, а просто отпиской на пишущей машинке — и всё за те же двести рублей плюс вещички из комиссионного, на которые Сахаров не скупился. Мы-то понимаем почему. А она? Не задумывалась от жадности или не поняла, но не допытывалась из алчного безразличия к происхождению неожиданного золотого дождя, или поняла, но бездумно пошла на сделку и соучастие в преступлении, а может быть, и была принуждена к этому соучастию.

Галка безжалостно подытоживает мои экскурсы в психику Сахарова:

— Гадания на кофейной гуще. Мотивы существенны для судебного приговора, тебе же нужны доказательства соучастия в преступлении. А как ты его докажешь? — Она задумывается и молчит.

Я не прерываю, жду.

— Может быть, вызвать Волошину из Одессы? — вдруг спрашивает она. — Настоящая мать против псевдоматери.

— Волошиной сейчас дороже всего собственное спокойствие. Сына она фактически потеряла еще до войны, во время войны не вернула его, мысленно похоронила после взрыва партизанской гранаты и воскрешать сейчас едва ли захочет. Тем более для скамьи подсудимых. Вероятнее всего, повторит мать из притчи о суде Соломоновом.

— Откажется от признания?

— Убежден.

— А Сахарова так просто не откажется.

— Просто — да. А если усложнить? Если доказать опасность избранной ею позиции, убедить, что Сахаров-Гетцке все равно будет разоблачен и тогда она разделит с ним скамью подсудимых за укрывательство.

В ответе я не нуждался: на лице Галки было написано все, что она думает. Фактор времени! Разоблачить Волошину-Гетцке необходимо до его возвращения в Мо-

скву — иначе он оборвет все связи и затаится. Еще раньше поэтому должен состояться решающий разговор с матерью Сахарова — ведь Гетцке может предупредить ее письменно или по телеграфу. До нынешнего дня он этого не сделал: из Одессы не мог, в Ялте я не отходил от него ни на шаг, а телеграфировать с теплохода не отважится, понимая, что это будет прямой уликой. Значит, телеграмму он мог послать только из Сочи сегодня, после того как избавился от наблюдения Галки, вернувшейся на теплоход. Личного телефона у матери Сахарова в Апрелевке нет, поэтому междугородная телефонная связь исключается, но Гетцке мог позвонить и кому-либо из своих агентов, поручив ему предупредить или обезвредить Сахарову.

— Обедай одна, Галина. Я иду в город, — говорю я.

Галка ни о чем не спрашивает: все поняла. Только подсказывает:

— Смотри не столкнись. Сегодня они обедают, наверное, где-нибудь поблизости от пляжа. Я думаю — успеешь.

И я успел. К сожалению, старого друга моего, Николая Петровича, в управлении не оказалось: отдыхал где-то у себя на Полтавщине. Но заместитель его, вежливый и решительный майор, обещал сделать все, что требовалось: получить разрешение прокурора на арест местной корреспонденции Сахарова, задержать письма и телеграммы, отправленные им в подмосковный поселок Апрелевку, а также проследить все его телеграфные и телефонные переговоры с Москвой, имеющие хотя бы косвенное отношение к интересующей нас ситуации. Всю информацию я должен был получить завтра утром на теплоходе после его прибытия в Сухуми.

Тут же я связался с Москвой и Сухуми. В Сухуми потребовал задержать до проверки всю телеграфную корреспонденцию, адресованную Сахарову до востребования, а в Москве снова вызвал Корецкого.

— Что случилось? — удивился тот.

— Кое-что. Должно быть, Сахарову постараются предупредить или даже устранить — не исключена и такая возможность. Не прозевайте. Проконтролируй всю ее переписку, в особенности телеграммы на ее имя, которые могут прийти в эти дни. Вообще с ней требуется разговор по душам, откровенный и бесхитростный, — не

сомневаюсь, что поймет. Только с таким разговором придется подождать — нет еще у нас данных для этого разговора.

— Между прочим, звонил Ермоленко.

— Есть новости?

— Нашел кончик ниточки к однополчанину Сахарова. Подробности завтра к вечеру.

— Только учти: у нас в запасе четыре дня. А точнее — даже три. В воскресенье с трапа «Котляревского» на одесский причал должен сойти уже Пауль Гетцке, а не Михаил Сахаров. И сойти с полагающимся эскортом. Вот так.

На теплоход возвращаюсь раньше Сахаровых. Отлично. Не придется подыскивать объяснения своей внеплановой экскурсии в город.

Сухуми

«ПОШЕЛ КУПАТЬСЯ ВЕВЕРЛЕЙ»

Я просыпаюсь рано, часов в шесть или в семь, не знаю точно, — наручные часы на столе, и очень уж не хочется к ним тянуться. Сквозь зашторенные окна просвечивает мутное, дождливое небо с сизым оттенком воедино смешавшихся моря и туч. Галка спит, уткнувшись носом в подушку, должно быть, еще видит сон — их под утро всегда очень много, сплошная сонная толчея, и так трудно от нее оторваться, да и никак не способствует этому сумрачно-дождливая явь.

Подымаюсь, стараясь двигаться как можно тише, и босой протискиваюсь к окну. У нас в каюте не иллюминаторы, а окна, и море просматривается из них во всю доступную глазу ширь. Но дождливая сетка заштриховывает все, лишь на горизонте растушевка — смутный абрис города, его портовых сооружений, кранов, цистерн, причалов. Я только догадываюсь о них — не вижу: сплошная серая муть, как визитная карточка уже достигаемого, но еще не достигнутого Сухуми.

До завтрака у меня добрых два с половиной часа, можно часок полежать, подумать. Есть о чем думать?

Слава богу, мыслей не соберешь, словно броуновское движение молекул. Вот только дельных нет: длинный вчерашний вечер, а информации — кот наплакал. Сахаровых до ужина мы не видели; что они делали в городе, не знали, а у капитана, естественно, ничего обсуждать не могли. Ужин, правда, у него был банкетный, вспомнить о нем — дело зряшное: только слюнки потекут, а разговор за столом обычный: о том о сем — ни о чем, светский разговор достаточно образованных, присматривающихся друг к другу людей. Говорил больше капитан — умница, человек интересный, много на свете повидавший и умеющий рассказать о виденном, да и рассказать так, что заслушаешься. О том, что нас с ним связало, конечно, ни слова, будто и не было на свете никакого Сахарова и никаких переговоров моих в радиорубке не было, и словно знакомы мы с капитаном были не два дня, а лет двадцать. И только тогда уже, когда все было съедено и выпито и закурили мы с капитаном по настоящей гаванской сигаре, он как бы мимоходом напомнил мне о том, что на время ужина спряталось у меня в подсознании.

— А я вашего бородача знаю, — сказал он, подмигнув.

— Вы его за нашим столиком видели?

— Нет, с мостика. На шлюпочной палубе. Вы рядом стояли.

— А откуда же вы его знаете?

— Прошлой зимой в Ленинграде был. Обедал в «Астории», дня три-четыре подряд. Так он в компании немцев тоже обедал. Столы рядом, он ко мне боком сидел. Я его и запомнил — очень уж колоритная внешность.

— Вы сказали: в компании немцев. Каких немцев?

— Туристов из ФРГ. Он сидел между ними как свой. И говорил как немец. Даже с баварским акцентом. Я немецкий знаю, точно.

— Вы не ошиблись? Может быть, случайное сходство?

— Нет, не ошибся. На зрительную память не жалуюсь.

«Выяснить, был ли Сахаров прошлой зимой в Ленинграде», — мысленно отметил я и тут же подумал: а что, если он не подтвердит этого? Тратить время на запросы и розыск? И что это даст? Могла быть, конечно, запланированная встреча, а могла быть и просто встреча слу-

чайная. Познакомились в гостинице, и захотелось поболтать на языке, который он считал родным в годы своего гестаповского бытия. Ничем он при этом не рисковал и ничего не боялся: мало ли о чем можно разговаривать за ресторанным обедом. Кстати, я тут же поинтересовался, не слышал ли капитан, о чем они разговаривали.

— По-моему, они интересовались антиквариатом, не то фарфором, не то иконами.

Что ж, это вполне согласуется с новой ролью Пауля Гетцке, в которой он, по-видимому, весьма преуспел. Я сказал об этом Галке, когда мы возвращались от капитана, и она со мной согласилась. Встречи Сахарова, если они и планировались, происходили едва ли в столь многочисленной и шумной компании. Но одно было для меня несомненно: подлинный Сахаров, вырвавшийся живым из концлагеря, едва стал бы искать встречи с боннскими немцами, чтобы поговорить на их родном языке.

И мне ужасно захотелось сказать ему, не подлинному, конечно, а его двойнику, о том, что капитан запомнил и узнал его. Интересно, подумал я, сумеет ли он не вздрогнуть, не смутиться, сохранить свое каменное спокойствие и, должно быть, многократно отрепетированную, равнодушную усмешечку. Случай тотчас же представился. У лифта мы лицом к лицу столкнулись с Сахаровыми, подымавшимися с палубы салонов из кинозала. Я мгновенно сыграл слегка захмелевшего человека, шумно обрадовался и обнял обоих вместе, как старый друг. Сахаров осторожно отстранился, а Тамара спросила:

— Роскошный был ужин?

— Мировой. А какой ром! Блеск. Жидкое золото!

— Красиво изъясняетесь, — поморщился Сахаров. — Предпочитаю всяким ромам хороший армянский коньяк.

— Коньяк тоже был, — продолжал я, умышленно не замечая его насмешливой снисходительности, — а капитан вас знает, между прочим.

Сахаров не вздрогнул, даже не моргнул, только чуть-чуть насторожился.

— Странно, — сказал он, — я даже его в лицо не знаю. Никогда не встречались.

— Встречались. Вместе обедали зимой в ленинградской «Астории».

— Я не обедал зимой в ленинградской «Астории», — отрезал Сахаров. — Капитан ошибся. Мало ли бородатых людей на свете. Со мной часто кланяются незнакомые люди. Я отвечаю — из вежливости.

Тема ленинградского обеда была исчерпана, развивать ее не имело смысла, и мы, недовольные, разошлись по каютам. Он — недовольный тем, что, вероятно, действительно обедал в «Астории» с немцами и об этом стало известно, а я — тем, что мой выстрел прозвучал не громче хлопушки. Но он все-таки попал в цель: Сахаров уклонился от объяснений, предпочел умолчать о пустяковом, но, видимо, существенном для него событии.

— Не спишь? — спрашивает Галка, подымая с подушки голову.

— Не сплю.

— В Сухуми не выйдешь. Дрянная погода.

— Дрянная.

— Ты что так односложен? Все о вчерашнем думаешь?

— Думаю.

— И зря. Ерунда все это.

— То, что он скрыл свои контакты с западными немцами?

— А что подтверждает эти контакты? Свидетельство капитана? Но он действительно мог ошибиться: бородатых людей на свете вполне достаточно для такой ошибки. И вообще, ты только на меня не сердись, Сашка, но дело, как говорится, швах.

— Чье дело?

— Твое. Наше с тобой. Никаких фактических доказательств того, что он Гетцке, а не Сахаров, у тебя нет. На психологических штришках обвинения не выстроишь. Тем более, когда у него непробиваемый щит.

— Мать?

— Да. Я не верю в ее признания, Гриднев. Она не расколется.

— Мы постараемся доказать ей опасность такой позиции.

— На все твои доказательства она будет твердить одно: я мать. Кто лучше матери знает своего сына? Это мой сын — и все. Попробуй опровергни.

— А если доказательства будут неопровержимы?

— А у тебя есть эти доказательства?

— Пока нет.

— Вот я и говорю, что швах дело.

— Я не столь пессимистичен. К тому же у нас в запасе еще три дня. Кое-что выяснится сегодня в Сухуми.

— Пойдешь в город?

— Конечно.

— В такой ливень?

— Подумаешь, ливень. У меня плащ есть.

— А как ты объяснишь Сахаровым свое путешествие? Никто же не сойдет с теплохода.

— Никак не объясню. Дела. И пора уже открывать карты. Пусть настораживается...

В ресторане за утранным завтраком разговор только о дожде. Животрепещущая тема. Подошли к сухумскому причалу сквозь толщу низвергающейся с неба воды. В город входить нельзя.

Сахаровым я ничего не объясняю — объяснит Галка, когда я уже буду на берегу. А пока лениво тянем жвачку разговора, никого и ни к чему не обязывающего, как вдруг Сахаров проявляет неожиданный интерес к профессии Галки. Она охотно посвящает его в детали своих криминалистических экспертиз.

— Интересная у вас профессия, — говорит он, — не то что у вашего мужа.

— Почему? — сопротивляется Галка. — У Сашки тоже интересные дела попадают.

— У адвокатов по нынешним временам не может быть особенно интересных дел. Интересные дела только у следователей с Дзержинской или Петровки, 38.

Я бы не спрашивал Гетцке о том, что он считает особенно интересным делом, но мне любопытно, что скажет он об этом в роли работника торговой сети.

Он отвечает охотно:

— Крупное преступление на любой полочке жизни. Загадочное или явное, с одним или многими неизвестными, но обязательно крупное по масштабам, по мотивам, по реакции общества, по нравственному уровню наконец, считая, понятно, его снижающуюся шкалу. Я где-то читал, что не может быть создано ни детективного романа, ни детективного фильма, скажем, о краже зонтика. Преступление должно быть масштабным, чтобы

заинтересовать публику. И заметьте, что именно наиболее крупные преступления по большей части остаются нераскрытыми, а наиболее крупные участники их доживают свой век безнаказанно. И не только за границей, а, вероятно, и под социалистическим небом. Вам, как адвокату, знать лучше...

Неужели Пауль открывает карты, неужели это откровенный намек на то, что он сам и все им содеянное останется безнаказанным? Неужели это прямой вызов мне в схватке подлости и возмездия, беззакония и закона, преступления и правосудия? Трудно принять сейчас этот вызов. Лучше выждать.

— Мне, как адвокату, известны только дела о разводах и разделе имущества. Крупными их, пожалуй, не назовешь, но интересные были.

— Расскажите,— просит Тамара.

— Как-нибудь в другой раз,— вежливо улыбаюсь я и встаю.— В город не собираетесь? Не надумали?

— С ума сошли! Он же на весь день — типичный сухумский ливень. А мы думали в обезьяньем питомнике побывать — так разве тронешься? Хоть к причалу автобусы подавай — никто не поедет.— Тамара явно расстроена.— Даже в бассейн идти не хочется — солнца нет. Буду вязать что-нибудь, как примерная домохозяйка, или пасьянсы с Мишей раскладывать.

— А вы, оказывается, любитель пасьянсов?— стараюсь не быть ироничным, говорю Сахарову. Вот и подошел мой ход с пасьянсом Бисмарка, но Сахаров предупреждает его:

— В шахматы играете? Хотите партию?

Я с сожалением отказываюсь:

— Не сейчас. Может быть, после обеда или вечером в курительной. Я тут кое-какой материал из Москвы захватил — просмотреть надо. У меня ведь и сухумские клиенты есть,— загадочно говорю я и, не давая возможности Сахарову сделать ответный выпад, ретируюсь в свой коридор полулюксов.

В каюте мы с Галкой устраиваемся на диванчике у окна и молчим. В дождливом мареве сухумский порт выглядит прибалтийским, утратив все обаяние кавказской Ниццы. И пальмы, и портовые краны одинаково серы. Людей не видно. Лишь кое-где пробегают по

асфальтовым пирсам портовики в длинных дождевиках с капюшонами.

— Сейчас пойдешь или подождешь, когда дождь кончится?— спрашивает Галка.

Дождя я не боюсь, а подождать подожду. Может, Одесса или Москва вызовут в рубку. Да и Корецкому надо еще подытожить собранные вчера материалы. Часок посижу, подумаю.

— Думай не думай, а его не поймешь,— вздыхает Галка.— Ну с какой стати он о преступлениях заговорил? Зачем? «Крупные преступления по большей части остаются безнаказанными». Что это — блеф или глупость?

— Игра, Галинка, игра. Павлик Волошин всегда любил играть крупно.

— В любой игре нужен расчет. Безрасчетно играют только глупцы. А какой у него расчет?

— Один расчет — выиграть. Но при этом азарт допускает риск. Подразнить противника, ошеломить его неожиданным ходом, смутить, спутать карты. Блеф — тоже прием в игре и порой действует безотказно. Только мы называем все это по-разному: он — игрой, мы — борьбой. Он то осторожничают, то рискует, мы хладнокровно и расчетливо накапливаем шансы. Я почти догадываюсь, зачем он пригласил меня играть в шахматы.

— Зачем?

— Скажу после партии. Хочу проверить свою версию.

— О чем?

— О терпении. Сколько можно безмолвно ждать и тасовать карты... Можно блефовать и сдаваться с закрытыми картами, но игра на выигрыш требует их открыть.

— Темно что-то.

— Подожди вечера — осветлю.

Час проходит, а дождь не кончается и Москва молчит. Вздохнув, преображаюсь в морского волка во время шторма — только капюшон от дождя заменен выдавшей виды кепкой — и резюмирую:

— «Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея». Придумай какое-либо объяснение, Доротея, если спросят о моем внезапном исчезновении. Не зря же я намекнул о мифических сухумских клиентах.

И я окунаюсь в дождь.

В нашем сухумском отделении меня уже поджидали. Абхазские товарищи оказались радушными и общительными хозяевами.

Черноусый майор Алания действовал с неколебимой решительностью.

— Во-первых, садись, товарищ полковник, и обсохни. Небеса разверзлись — ничего не поделаешь. Насквозь промок, вижу: даже с пиджака капает. Ну, а во-вторых, поделись с нами своими заботами. С закрытыми глазами, понимаешь, говорить трудно, а вот ты и приоткрой их, насколько нужным считаешь. Самую суть, конечно.

Я изложил «самую суть» и добавил, что прежде всего хочу познакомиться с сообщением из Сочи, а затем поговорить с Москвой о дальнейшем расследовании. Алания молча выслушал и сказал:

— Извини, товарищ полковник. Есть другое мнение. Сочи и Москва пять — десять минут подождут. А прежде всего надо, я думаю, связаться с Батуми и предупредить пограничников: вдруг сбежит? Они, конечно, и так не пропустят, но три глаза лучше, чем два. У тебя его фотокарточка есть?

Мысленно соглашаясь с майором, извлекаю из бумажника моментальный снимок Сахарова, сделанный во время его игры в волейбол на открытой палубе. Сахаров — гол, бородат и мускулист — снят в прыжке за летящим навстречу мячом.

— Бороду он может сбрить, — говорит Алания, задумчиво рассматривая снимок, — а вот фигуру ни в одном костюме не спрячешь. Снимок тебе не нужен, нет? Отлично. Подожди две минуты.

Он берет телефонную трубку, говорит несколько слов на родном языке, из которых мне знакомо только одно — Батуми, ждет, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, затем оживает и произносит целую тираду, в которой я уже ни слова не понимаю. Положив трубку, спрашивает:

— Перевести? Перевожу. Со всеми тонкостями художественного перевода. Сигнал ваш принят, товарищ полковник. Пограничники будут предупреждены. Батумские товарищи обо всем позаботятся. Снимок я перешлю

им сегодня же по фототелеграфу. Они его размножат, разошлют кому надо, встретят вашего бородача на причале, проводят по городу, засекут все адреса и встречи и доложат вам по прибытии.

— Оперативно работаешь, — говорю я.

Он удовлетворенно улыбается и достает мне из папки на столе телефонограмму из Сочи. Она адресована майору Алании для передачи прибывающему на теплоходе «Иван Котляревский» полковнику Гридневу, то есть мне.

«На морском вокзале Сахаровым сдана телеграмма Сахаровой в Апрелевку. Приводим текст: «Если обо мне будут спрашивать зпт говори как условились тчк. В долгу не останусь». Телеграмма скопирована и отправлена. Корреспонденции до востребования на имя Сахарова в почтовых отделениях Сочи не обнаружено».

Итак, первый документ, свидетельствующий о сомнениях Гетцке в железобетоне своей легенды. Стоического спокойствия уже нет, он встревожен, даже вынужден приоткрыть сущность своих взаимоотношений с матерью Сахарова. Конечно, телеграмма еще не доказательство камуфляжа, но уже повод к законным вопросам ее автору. О чем тревожится сын, упрашивая мать говорить «как условились»? А это заключительное «в долгу не останусь»? Разве оно не говорит о некоей меркантильности отношений сына и матери?

Интересно теперь, что приготовила мне Москва. Вызываю Корецкого. Отвечает без обычной своей суровости, даже с каким-то оттенком радости.

— Наконец-то, Александр Романович! Я уже звонил вам на теплоход. Есть новости.

— Докладывай.

— Сахарову вторично не беспокоили. Но вчера вечером она получила телеграмму.

— Знаю. И текст знаю. Пока ни о чем ее больше не спрашивайте. Еще не время.

— О ниточке Ермоленко. Живет в Апрелевке некий Хлебников Виктор Васильевич, отставной гвардии майор, сейчас на пенсии. Набрел на него Ермоленко в поисках довоенных дружков Сахарова. Но оказалось, что Хлебников даже не был знаком с Сахаровым, хотя и призывался почти в одно время с ним в том же военкомате. Пустой номер, правда? Но тут-то и выглянул на свет малюсень-

кий кончик ниточки. Вскоре после демобилизации Хлебникова заехал к нему его однополчанин Бугров; как мы установили, было это за несколько месяцев до появления в Апрелевке Сахарова. С Хлебниковым Бугров прошел в одном, как говорится, строю до сорок второго года, пока, тяжело раненный, не смог выйти из окружения. Очутился в плену, долго болел, чуть не погиб в лагере для военнопленных, потом с группой товарищей удалось ему бежать. Случилось это в горах Словакии; беглецов спасли партизаны, вместе с которыми они и сражались до воссоединения с наступающими советскими войсками. «Много интересного рассказал Бугров,— вспоминает Хлебников (это я уже донесение Ермоленко читаю),— а потом вдруг спросил: «А ты здешнюю учительницу Сахарову случайно не знаешь?» — «Не знаю, говорю, а тебе зачем?» — «С сыном ее я в плену был, погиб он героически, вот я и заехал сюда рассказать ей об этом, да не застал — где-то на курорте лечится. Может, ты ее повидашь и передашь?» — «Уволь, говорю, тяжко с такой вестью к старухе идти, да и нужно ли? Ждет, наверно, сына живым, глаз не смыкает, а мы ее топором — погиб, мол, и точка. А что героически или не героически, матери одна беда: о сыне плакать». Бугров подумал и согласился: «Может быть, говорит, ты и прав, пожалуй, лучше рану не беречь». Ну и уехал. А уже после отъезда его я узнал случайно, что сын учительницы Сахаровой живой вернулся — значит, ошибся Бугров, а с какой рожей мы бы теперь в глаза ей смотрели!» Ермоленко сразу понял: ниточка! Опять сказал, что собирает материал о подвигах советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны, и адрес Бугрова узнал. Сегодня с утра мы проверили. Есть такой в Тобольске: Бугров Иван Тимофеевич, старший механик авторемонтной базы. Ермоленко час назад уже туда вылетел. Свяжется со мной вечером.

Я на мгновение окаменел, оцепенел, остекленел—слов у меня нет, чтобы выразить то состояние, в которое меня повергло сообщение Корецкого. Это была не просто удача, а супершанс, вроде выигрыша «Волги» по лотерейному билету за тридцать копеек. Если Ермоленко точно записал рассказ Хлебникова, а в художественных вольностях Ермоленко уж никак не обвинишь, то слова Бугрова определенно звучат как свидетельство очевидца. Не бы-

вает бесследных преступлений, говорил мой учитель полковник Новиков; какие хитрости ни придумывай, какую методику камуфляжа ни применяй, след всегда останется — только сумей найти. Теперь даже твоё дыхание уловят, даже запах твой в пробирку соберут, даже крохотный волосок твой, выпавший, когда ты машинально причёску поправил, выдаст тебя как мишенью. А тут не запах, а человек живой. Очевидец. Как говорят на ринге, покалывающий удар. Хук справа.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять...

Аут!

Меня возвращает к действительности далекий голос Корецкого:

— Александр Романович, где вы? Линия не в порядке?

— В порядке линия,— говорю.— Задумался.

— Сейчас ещё больше задумаетесь, только меня предупредите,— смеется Корецкий, и в смехе этом что-то непохожее на его обычную суховатую сдержанность: должно быть, нечто особенное удалось Корецкому, если он так смеется.— Представьте себе,— говорит,— нашли Герту Циммер. В Берлине. За одни сутки нашли.

— Что?! — кричу я.

— Ту самую. Бывшую невесту бывшего Гетцке. Только она умерла в сорок шестом году от грудной жабы.

— Чему же ты радуешься, Коля?— тихо спрашиваю я.

— Исполнилась все-таки месть Кримгильды.

— Ничего не понимаю. Какой Кримгильды?

— Из «Песни о Нибелунгах». Кажется, там есть такая.

— Брось загадки.

— Есть бросить загадки,— меняет тон Корецкий.— Докладываю, товарищ полковник. Гауптштурмфюрер Пауль фон Гетцке действительно бросил Герту Циммер накануне войны, о чем и уведомил ее кратким письмом, в котором категорически отказался от своих обещаний жениться. Герта Циммер поплакала, спрятала письмо в черную папку с шелковыми тесемочками, в которой уже находились все прочие письма ее жениха, засушенные цветы, даримые им к памятным дням, и тому подобные реликвии неудавшегося романа, и положила папку на

вечное хранение в папин сейф. После падения Берлина виноторговец-папа сбежал в западную зону, дочка померла, а в квартире поселилась ее племянница, Минна Холм, которой и досталась в наследство заветная папка. Так вот, товарищ полковник, Минна Холм и сейчас живет в той же квартире, только этой папки у нее уже нет.

Я молча жду — очень уж загадочно звучит сообщение Корецкого, а после заключительной реплики так и хочет написать: «Конец первой серии».

Вторая серия начинается тотчас же после многозначительной паузы.

— Нет этой папки, товарищ полковник, а есть рассказ Минны Холм нашему берлинскому коллеге Рудольфу Бергману, стенографически записанный и переданный нам по телеграфу. Сейчас он передо мной.

— По-немецки?

— Нет, уже в переводе. Читать или изложить вкратце? Не загружаем линию?

— Не твоя забота. Читай.

Корецкий откашливается и читает со вкусом, на манер диктора Центрального телевидения.

«Бергман (после выяснения анкетных данных собеседницы и преамбулы к появлению папки с реликвиями несостоявшегося замужества). А почему фрейлен Циммер не сожгла эти ненужные ей реликвии?»

Холм. Она хотела вернуть их Паулю после его женитьбы на избраннице баронессы. Зачем? Я тоже спрашивала: зачем? Оказывается, она лелеяла мечту напомнить ему обо всем в дни его семейного счастья. Своеобразный метод отмщения обидчику.

Бергман. Просто странный. Гетцке в лучшем случае выбросил бы все это в мусоропровод.

Холм. Я ей то же самое говорила. Но она, как бы вам сказать, была очень не современна. Словно сошла со страниц романов Марлит начала века. Вы не читали «В доме коммерции советника»? Я тоже не читала до того, как поселилась у тети. Сентиментальная чушь о чистой любви и гордых, но благородных сердцах. А это была ее любимая книга. И, уже умирая, она просила меня непременно вернуть все фото и письма Паулю, если я о нем что-то услышу.

Бергман. И вы вернули?

Холм. Не ему лично. От него пришел человек, подтвердивший мне все обстоятельства их вынужденной разлуки с тетей, и попросил вернуть все фото и письма Пауля. Откровенно говоря, я сделала это с удовольствием. И просьбу тети выполнила, и от хранения дряни избавилась. Пришедший, не снимая перчаток, открыл папку, сверил с имевшимся у него списком все письма и фотокарточки и объявил, что одной фотографии не хватает, а именно той, где тетя и Пауль были сняты вместе на Балтийской косе. Куда она завалилась, я не знала, искать не хотелось, и я тут же симпровизировала, сказав, что именно эту карточку тетя сожгла, потому что господин Гетцке был снят вместе с нею. Пришедший молча выслушал мои объяснения и только спросил: «А вы точно это знаете?» Еще бы не точно, говорю, когда это при мне было. Ну, он собрал всю эту муру и откланялся. А совсем недавно я нашла эту злополучную карточку под счетами за квартиру в том же сейфе, где папка лежала, — у нас этот сейф и сейчас вместо комода. Хотела было выбросить, да закладка понадобилась — листала я в то время новый учебник английского языка. Карточка и сейчас в этой книге».

Корецкий опять откашлялся и закончил обычным своим говорком без театральных эффектов:

— Собственно, сейчас эта карточка или, вернее, ее фотокопия, переданная по телеграфу, лежит у меня на столе рядом со стенограммой. Бравый эсэсовец и волоокая Гретхен на песчаной отмели и надпись на обороте: «Божественной Кримгильде от влюбленного Зигфрида. Май 1940 года». Я знаю, о чем вам не терпится сейчас спросить. Сверял ли я почерк герра фон Гетцке образца сорокового года с почерком гражданина Сахарова семидесятых годов?

Я молчу. Спросить не решаюсь. Страшно.

— Не дышите в трубку, Александр Романович. Сверял. Может, и похоже: точно утверждать не могу. Один текст по-немецки, к тому же готическим шрифтом, другой — по-русски, да еще с дистанцией в тридцать лет с лишним. Отправил на графологическую экспертизу.

— Когда ответ?

— Обещают завтра утром.

— Звони на теплоход, а если не застанешь, сам позво-

ню из Батуми. Спасибо, Коля, за все. За оперативность, за точность, за удачу.

Я благодарю, что называется, от души. На работе в Москве я сдержанней и строже даже с Колей Корецким, которому уже давно за сорок, но которого по-прежнему зову Колей и «тыкаю» в ответ на его вежливо-суховатое «вы». Так не от зазнайства это, честное слово, а от отеческой привязанности к человеку, которого знал еще толстогубым мальчишкой. И не зря я поблагодарил его «за удачу», не ошибся в выборе слова. Ведь удача сама не приходит, разве что в лотерее или в раскладке карт. А в жизни ее добывать надо, как за шахматной доской или на спортплощадке. Трудом добывать, не одними талантами, выдержкой добывать, смекалкой, умением не прозевать и не повторить ошибок противника. Два раза просчитался наш противник в своей игре: прозевал боевых друзей Сахарова и заветную папку бывшей невесты. А вероятно, и еще просчитался где-то, и не раз, и не два — и нашли бы мы те другие ошибки, если бы не нашли этих. Обязательно бы нашли. А может, и найдем...

С такой убежденностью я и возвращаюсь на теплоход. Дождь давно уже кончился, небо и море повторяют друг друга, как в зеркале, отлакированные дождем пальмы неправдоподобно блестя на солнце, и город просушен насквозь: от гальки в порту до прибрежных нагорий.

А в растекающейся по улицам толпе туристов, освобожденных от дождевого заточения на стоящих в порту теплоходах, я неожиданно встречаю Сахаровых и Галку. Я даже не успеваю придумать что-нибудь, как верная моя Галина тотчас же приходит на выручку.

— Со щитом иль на щите? — спрашивает она.

— А ты как думаешь?

— Заплатил? — подсказывает она.

Я мгновенно ориентируюсь.

— Сейчас двести, остальные в Москве после рассмотрения кассации.

— Ну и гонорары у вас, — удивляется Тамара. — Больше профессорских.

— А вы думаете, легко выиграть дело в Верховном Суде Союза, если оно уже проиграно во всех предыдущих инстанциях?

— И вы надеетесь выиграть?

— Надеюсь. Появились доказательства по вновь открывшимся обстоятельствам. Ими и воспользуемся.

До сих пор молчавший Сахаров улыбается этакой коварной улыбочкой.

— Я видел с прогулочной палубы, как вы героически уходили в ливень, и спросил вашу супругу: в чем причина сего геройства? И вы знаете, что она мне ответила?

— Пошел купаться Веверлей, — смеется Галка.

— А вы помните, как продолжается песенка? «И — о, судьбы тяжелый рок: хотел нырнуть он головою... Но голова тяжеле ног — она осталась под водою», — сказал я.

Не верит. Ну и пусть не верит. Завтра, возможно, все козыри уже будут у меня на руках.

— В моем варианте, — говорю я, — Веверлей не тонет, а уверенно плывет к берегу. Сейчас же он идет обедать в «Абхазию», потому что на теплоходе пообедали без него.

СНИМАЕМ МАСКИ

Ужинают тоже без меня — я слишком поздно обедал, чтобы ужинать по корабельному расписанию. Сажу в каюте и машинально черчу пляшущие фигурки. Когда-то Конан-Дойль создал тайну шифра из таких фигурок, которую и разгадал его хитроумный герой. А у меня даже нет тайны. Все ясно. Есть уравнение, в котором известен ответ, но которое я не могу доказать. Икс — Гетцке равен игреку — Сахарову, а почему? Что скажут зет — Бугров и данные графологической экспертизы? Вот доказательства неравенства уже есть. Свидетельство родной матери. «Сынок мой любимый, ласковый, всегда был ласковым, а что борода отрастил — так ведь мода теперь такая: с усами либо с бородой. И шрамик с детства памятный. Что? Косметический шрамик? Не знаю. Придумываете вы что-то... Исследователи? А кто вам позволил неповинного человека исследовать?»

В самом деле, кто нам позволил? Не можем же мы только подозреваемого, да еще без достаточных юридических оснований, тащить в лабораторию без его желания и воли. Ни один прокурор такого разрешения не даст. Предъявите обвинение, юридически обоснованное, и де-

лайте, что положено по закону. Если мама вмешается, лалки складывай или давай доказательства, маму изобличающие. А чем ее изобличишь? Деньги сын дает? Правильно делает — хороший сын. Вещичками из комиссионки снабжает? Так не украдены вещички, а куплены. Нет, наобум, с налету этой теоремы не решишь. Мама вмешивается, как аксиома, доказательств не требующая. Мой сын, моя плоть и кровь, мои гены и хромосомы. А если столкнуть все же родную мать с этой геометрической мамой? Я вспоминаю вежливую и доброжелательную Марию Сергеевну Волошину и усмехаюсь.

«Мой сын жив? Вздор. Не может этого быть, если он убит лет тридцать назад. Мертвые не воскресают. Вы говорите, убит другой? Не верится. За тридцать лет он бы дал знать о себе. Зачем же очная ставка с незнакомым мне человеком? Если это сын, я не хочу его знать, тем более что он сам не признает меня матерью». — «Мария Сергеевна, мы привлекаем вас как свидетеля, вы обязаны согласиться на очную ставку». — «А в чем вы его обвиняете?» — «Во многих преступлениях, Мария Сергеевна, в серьезных преступлениях против народа и государства». — «Смертная казнь?» — «Не знаю, это решит суд». — «Так что же вы хотите, чтобы я стала его палачом?»

Тут уже не до усмешки, полковник Гриднев. Именно так это и будет, если ты другими средствами не докажешь, что икс равен игреку.

В таком умонастроении и застает меня Галка, вернувшаяся с ужина.

— Сахаровы пошли в кинозал. Какой-то детектив, не то «Береговая операция», не то «Возвращение святого Луки». Пошли, еще не началось.

— Не хочется. Старье. «Святого Луку» мы зимой в клубе видели. Занятно, но не убеждает.

— В чем не убеждает?

— В закономерной победе следствия. Не явись парень с повинной, и картина бы уплыла за границу, и бандит бы ушел. А явка с повинной чистая случайность, без нее у следствия не было доказательств — одни подозрения.

— У нас тоже нет доказательств — одни подозрения.

— Будут и доказательства, — говорю я и рассказываю о двух просчетах Пауля Гетцке.

Галка задумывается.

— Идентичность почерка — это уже доказательство. Но будет ли экспертиза безоговорочной? А против нас свидетельство матери.

— Есть еще свидетельство Бугрова.

— А ты уверен в этом свидетельстве? Был ли Бугров очевидцем гибели Сахарова или только слышал о ней? И тот ли это Сахаров, что интересует нас? Может быть, это вообще не Сахаров, а по каким-то неведомым нам причинам только назвался Сахаровым: в плену многие меняли имена и фамилии, если документов не было.

— Типичный плюрализм, Галка.

— Что за штука?

— Множественность истин, имеющих одинаковое право на существование. Но истина-то всегда одна.

— А в чем она, эта истина? Может, это заблуждение, а не истина?

— Завтра узнаем.

— А сейчас иди в бар. После кино он с тобой в шахматы играть собирается. Не избегай его, чтобы не вызывать подозрений.

— Подозрения у него давно уже превратились в уверенность. Разговор о Веверлее помнишь?

— По-моему, Тамарка ни о чем не догадывается.

— Наверное. Такие жен в свою жизнь не пускают. Гестаповская выучка. С этой выучкой он меня и засек. А в шахматы я с ним сыграю, даже с удовольствием. Еще один вариант психологической дуэли.

— Будь осторожен, Сашка. Ты ведь и оружие с собой не взял.

— А зачем? У нас дуэль без оружия. Состязание умов. И партию мы сыграем этудную, с жертвами только на доске. Но аллегорическую. Гамбит Гриднева. — Мне почему-то смешно, хотя Галка даже не улыбается.

В баре пусто и прохладно, даже холодно после палубной сухумской жары: кондиционеры отпускают явный излишек прохлады. Поэтому вместо коктейля с ледяными кубиками в бокале беру кофе по-турецки с коньяком. За шахматами устраиваюсь в уголке с настольной лампой — идеальная обстановка для турнирных раздумий.

Партнера еще нет. Машинально делаю ход королевской пешкой и вспоминаю... А не сыграть ли мне ту же партию, какую играл с Паулем в его бывшей светелке на

Маразлиевской? Памятная партия, красавица... Восстанавливаю в памяти ход за ходом — получается. Вот он, остроумнейший прорыв в королевскую ставку противника и не менее остроумная ее защита. Но будет ли Пауль сегодня играть именно так? Может, он давно забыл эту партию? Да и зачем мне дразнящий экскурс в прошлое? Чтобы еще раз поймать его на подброшенную наживку? Но Пауль не глуп и насторожен. Он будет рассуждать примерно так: «Гриднев повторяет хорошо знакомую ему и мне позицию. По инерции шахматной мысли? Нет, конечно. Просто хочет лишний раз удостовериться, что я — это я. Значит, я должен сыграть иначе, как сыграл бы Сахаров, а не Гетцке. Обязательно иначе, даже проиграть, может быть. Расслабить Гриднева, заставить его усомниться в каких-то выводах, ведь доказательств у него нет — одна интуиция». Именно так и будет рассуждать Пауль и опять просчитается. Не на повторе партии хочу я поймать его, а именно на том, что он от повтора откажется. Значит, нервничает, трусит, теряет уверенность в безопасности, психологически разоружается.

— Сами с собой играете? — выводит меня из раздумий знакомый насмешливый голос.

Я смахиваю шахматы с доски и парирую:

— Нет, просто разбираю партию Спасский — Фишер.

— Конечно, выигрышную для Спасского?

— Конечно. Меня интересуют находки Спасского, а не его просчеты.

— Что верно, то верно, — говорит он, глядя куда-то мимо, — надо уметь рассчитать все возможные варианты.

— Этого даже ЭВМ не может.

— Я не о шахматах, — отмахивается он и садится в кресло против меня. — Давайте начнем с середины партии, которую вы только что разобрали.

— Зачем? — недоумеваю я.

Но он быстро и уверенно расставляет фигуры в той самой позиции, которая только что была на доске. Не в партии Спасский — Фишер, а в партии, сыгранной мною с Волошиным-Гетцке тридцать лет назад в оккупированной Одессе.

Я не могу скрыть своей растерянности — настолько это для меня непонятно и неожиданно. Что он затеял? Маневр? Ход в игре? С какой целью? Во имя чего?

А он улыбается:

— Не ожидал?

Я все еще молчу.

— Твой ход, маркиз. Не пугайся. «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!» — Теперь он уже откровенно смеется — никакой бравады, продиктованной страхом или тревогой.

— Снял, значит, маску, — говорю я. — Пора.

— Между нами двоими — снял.

— Что означает «между нами двоими»?

— То и означает. Жен своих мы в этот предбанник не пустим. Для них я — Сахаров. И для моей и для твоей. Или ты уже рассказал по дурости?

— Пока еще нет, — маневрирую я.

— Я так и думал, если не врешь. Да нет, пожалуй, не врешь. Ты ведь службист. И не просто, а из КГБ. Данные розыска посторонним не разглашаются. Небось думал, что я в твою адвокатуру поверю? Ты такой же юрист, как я депутат бундестага.

— Между прочим, я все-таки юрист.

— Не думаю, что тебя это очень вооружило... Что пьешь? Кофе? Подожди, я у бармена коньяк возьму. Разговор будет долгий.

Мгновенно ориентируюсь: Пауль начинает игру. Смысл ее мне неясен, но я уже внутренне мобилизован, — тренер, которому неизвестны расчеты противника. Как построить игру — в обороне или в атаке?

— Пришел в себя, друг мой ситный? — смеется Пауль. — Ну хоть честно признайся, не ожидал такого хода?

— Не ожидал.

— Небось смертельно хочется узнать, почему это Пауль фон Гетцке вдруг начинает затяжной прыжок с парашютом?

— Без парашюта, — поправляю я.

— Ты в каком звании? — вдруг спрашивает он. — Генерал? Едва ли. Для генерала у тебя даже за тридцать лет беспорочной службы талантишка маловато. Полковник, наверное. Самый подходящий для тебя чин. Так вот, твердокаменному полковнику, сменившему тридцать пар штанов на страже государственной безопасности, по штату положена такая служебная самонадеянность. «Все мое, — сказал булат». Ан нет, не все.

— Все,— решительно подтверждаю я. Теперь уже знаю, что говорить, и всю его игру на пять ходов вперед вижу — пустое это занятие, вроде «козла» во дворе.— Все,— повторяю я,— и ничего тебе не останется, бывший гауптштурмфюрер. Даже колонии строгого режима тебе не гарантирую. *Dura lex sed lex*¹. Перевести?

— Не надо. В такой норме латынь знаю. Но ведь и для тебя *lex* — это *lex*. На беззаконие не пойдешь. За грудки не схватишь и в каюту с задраенным иллюминатором не запрешь.

— Не запрю.

Он засмеялся беззаботно и весело.

— Значит, глотнем по малости и закурим. Жены нас не ждут: в шахматы сражаемся — мешать не будут. Обстановка для разговора по большому счету самая подходящая. Тихо и светло, совсем по Хемингуэю.

— Интересно, где это ты его читал?

— Не сразу же у нас Геббельс возник, и не сразу книги сожгли. Еще в школе прочел. Да не уклоняйся, знаю, о чем спросить хочется. Почему раскрылся, да? Думаешь, раскололся Пашка Волошин, спекся, скис? Еще на причале заметил, как вы с Тимчуком сразу нацелились. Должно быть, тут же решили: струсил. И пошло... Художественный театр, право. Работник прилавка Сахаров и адвокат Гриднев. Раскольников и Порфирий Петрович. Ну и подвели нервишки нибелунга, бежать некуда, подымай лалки и кричи: «Гетцке капут!»

Никогда не говорил так ни Павлик Волошин, ни Пауль Гетцке.

Выходит, подвели все-таки нервишки, коли дошел до этойкой достоевщинки.

А впрочем, может, и не подвели — играет. Новую роль играет, даже не роль — эпизод, как говорят в кинематографе. А в глазах хитрая-прехитрая усмешечка, даже настороженности прежней нет — одно удовольствие, смакование выигрыша, пусть небольшого, а все-таки выигрыша: удивил, мол, да еще как удивил.

— А ведь я игрок, дурашка,— продолжает Пауль, словно прочтя мои мысли,— игрок по крупному, ты это знаешь. И открыли мы с тобой карты, как в покере. Ты—

¹ Закон суров, но это закон (лат.).

вынужденно, я — убежденно, потому что не блефую, а играю наверняка. Выстоишь? Нет, конечно. Четыре туза верные, не крапленные. Пиковый,— он загибает палец,— поручик Киж. Гауптштурмфюрер Пауль фон Гетцке убит в оккупированной Одессе, фигуры не имеет. Что убит — известно, что воскрес — не доказано. Точнее, доказательств у вас не было и до сих пор нет. Одни гипотезы, юридическая цена которым ноль без палочки. Никаких следов не оставил убитый Гетцке. Чистый лист бумаги, на котором вы ничего не напишете. Туз второй — трефовый.— Пауль хитренько подмигивает и загибает еще палец.— Довоенный и военный Сахаров — тоже поручик Киж. Одно воспоминание. Ни школьных друзей — разбрелись кто куда, да и не помнят небось ничего, кроме двоек по арифметике; ни фронтовых товарищей — кто убит, кто пропал без вести, где ж их найдешь; ни лагерных однохлебников — пепел от них да кости в земле остались. Ну, а теперь загнем третий палец — бубновый туз. Сахаров, из плена вернувшийся, живой и действующий, честный и незапятнанный, четверть века не нарушавший ни уголовного, ни гражданского кодекса. И, наконец, туз червонный, козырной и венчающий: мать, встретившая героя-сына, любимого и любящего, возвращенного судьбой вопреки «похоронке». Кто же посмеет усомниться в этом, кто не постыдится посягнуть на счастье матери, нашедшей пропавшего без вести сына?! Четыре туза, полковник Гриднев, бьют ваш бедненький набор гипотез и версий. Не знаю каких, но о чем-то вы кумекали по ВЧ с Москвой. Думаешь, поверил в твоих сухумских клиентов? Нет, Сахаров из арбатской комиссии не такой уж дурак, хотя всего-навсего только оценщик. И открылся я тебе из тщеславия. Дань инфантильности. Помнишь, как мальчишками соревновались — кто кого? И взрослыми — тоже. Тогда в Одессе ты меня переиграл, а сейчас я тебя, кавалер Бален-де-Балю. У тебя даже глаза на лоб полезли, когда я шахматы расставил в той р-р-роковой позиции. А ведь все очень просто. Ты меня узнал, копаешь, надеешься. Можно было, конечно, наблюдать и посмеиваться. А мне тебя подразнить захотелось. Все одно ничем не рискую — не ищите и не обращайтесь. Даже всеильный аппарат твой не даст тебе санкции на превентивный арест.

— А я и не собираюсь тебя арестовывать,— говорю я.— Пока!

— Что значит «пока»?

— Загляни в толковый словарь. Пока есть пока. До поры до времени. Числись Сахаровым, вкушай плоды семейной идиллии, оценивай штаны в комиссионном магазине и поздравляй мамашу с днем ангела. Словом, ходи по земле, пока она не разверзнется.

Пауль некоторое время молчит, улыбка погасла, в глазах муть — не поймешь что. И спрашивает он уже без вызова, пожалуй, с прежней сахаровской настороженностью:

— Так уверен?

— Абсолютно.

— Ничем не побреешь тебя, Гриднев,— говорит он со вздохом сожаления, словно шел у нас невинный, чисто теоретический спор.— Ну что ж, выпьем тогда за удачу. Каждый за свою.— Он разливает коньяк по рюмкам.

— С тобой не пью.

— Вчера же пил.

— Пил с Сахаровым в порядке участия в одном спектакле, а с Гетцке не буду. Сейчас антракт.

Он залпом выпивает свою рюмку, откидывается в кресле и дружески улыбается—по-моему, даже искренне.

— А все-таки ты мне нравишься, Гриднев. Всегда нравился. Потому я тебя в гестапо и не изувечил. Красоту твою пощадил.

— Брось заливать. Гнусно ты все рассчитал, но хитро. Многие бы завалились, если б я не ушел.

— С Тимчуком ушел?

— С Тимчуком.

— Я так и думал. И Галку предупредил?

— Конечно.

— Наутро мы к ней пришли — пусто. Тут я и понял, что ты меня переиграл. С уважением, между прочим, понял. Вот и ты играй с уважением.

— А я не играю. Я работаю.

— Это ты так начальству говоришь. Попугай ты, Гриднев, хотя и полковник. А может быть, и полковник потому, что попугай. Ничего до сих пор не понял.

Он допивает коньяк и долго молчит, закуривая свой «Филипп Моррис» обычным волошинским манером. Я не

могу сдерживать улыбки, которую он, впрочем, не замечает. Нет, не стальные нервы у бывшего гауптштурмфюрера, и ржавеет железо его легенды. И предупредительную телеграмму Сахаровой послал, и со мной поиграл, и что-то еще, наверное, придумает. Ну, а моя задача ясна: ждать. Время пока работает на меня.

И снова насмешливые искорки у него в глазах. Может быть, уже и придумал еще что-то. Нет, не придумал — просто расставляет по местам шахматные фигурки.

— Спать еще рано,— говорит он,— да и не заснем мы с тобой, пожалуй. Лучше отвлечемся — сыграем партию. Шахматы не выпивка — к дружбе не обязывают.

...Партию я проиграл. В шахматы он по-прежнему играет лучше меня.

Батуми

ПОСЛЕ ШТОРМА

Просыпаюсь поздно. Шторм, разыгравшийся к утру, задержал теплоход в пути. Уже одиннадцатый час, а мы еще только на подходе к Батуми.

Да и заснули вчера поздно — Галка и сейчас посапывает,— проспали и первую и вторую смену завтракающих. Сказался ночной разговор до хрипоты, до нервного возбуждения. Вернулся я из бара около полуночи, а Галка уже поджидала меня. Даже не в каюте, а на диванчике у лифта, охваченная неясным предчувствием чего-то более значительного, чем шахматные забавы в пути. Впрочем, она и не ошиблась.

Когда я рассказал ей все, очень подробно рассказал, со всеми своими ощущениями и психологическими мотивировками, она тотчас же сделала вывод:

— Напуган. Смертельно напуган.

— А может быть, все-таки играет? Риска он не боится.

— Риска? Чем же он рисковал, скажите на милость? Что ты узнал его — он заметил; что работаешь в КГБ — догадался. В маске или без маски, он все равно для тебя Пауль Гетцке, не убитый, приспособившийся и близкий к

разоблачению. Ничем он не рисковал, глупости! А мотивировка — липа. Из тщеславия, дань инфантильности! Чистейшей воды липа. Ты же сам учуял подтекст: напуган. Открыл карты для того, чтобы ты их открыл. Авось проговоришься, обмолвишься, намекнешь, а уж он-то безошибочно прочтет и намек и обмолвку. И еще раз просчитался твой гестаповский покерист: карты ты придержал. И он понимает, что ты их придерживаешь, волчьим своим чутьем понимает. Вот ты подтвердил ему, что на превентивный арест не пойдешь, так, думаешь, он поверил?

— Правильно, что не поверил. Может, все-таки и придем к аресту.

— Когда?

Я сам до сих пор не уверен в этом «когда». Сегодня что-то, наверное, прояснится. А вдруг?..

— Меня упорно гложет одна мыслишка, — сказал я Галке, — не сбежал бы он из Батуми.

— За границу?

— За границу не побежит: не экипирован. Да и пограничники предупреждены. В Москву сбежит. На самолете.

— Зачем? Что это изменит?

— Многое. Ему надо попасть в Москву раньше нас. Если он резидент, он оборвет все связи, уничтожит все, что может его изобличить, и, возможно, успеет скрыться. А главное — еще более запугать старуху. Если она расколется, ему конец. Впрочем, он не дурак: сам к старухе не сунется, понимает, что мы пути к ней перекрыли. Значит, будет искать что-то другое.

— Так надо же принять меры!

— В Москве меры уже приняты. Но еще важнее не пустить его в Москву раньше нас.

— Что же ты предпримешь?

Честно говоря, я не был подготовлен к решению. О возможности побега Сахарова предупредили только пограничников. Но в Сухуми мне обещали, что каждый шаг его в Батуми будет прослежен. Значит, нужно встретиться с оперативной группой раньше, чем она возьмет Сахарова под свое наблюдение, и помешать его бегству в любом направлении. В крайнем случае задержать и отправить на теплоход.

— Рискнешь? — спросила Галка.

— Рискну. Любое промедление может сорвать операцию. На свою ответственность рискну.

— На свою ответственность ты уже подключил меня к операции, — съязвила Галка.

Тут я просто на нее рассердился. Не люблю подначки. Я подключил Галку в силу необходимости. После встречи с Тамарой на причале в Одессе она уже не могла не поехать, да и без нее был бы невозможен прямой контакт с Сахаровым, а кроме того, ее помощь на теплоходе мне была не только полезна — нужна. Как отвлекающий маневр, например, и как прикрытие, как локоть друга в рискованной ситуации. Старый боевой товарищ в разведке, она не оплошала и в контрразведке, и это даже хорошо, что противник считает тебя узколобым службистом, неспособным на такой ход в игре.

— Не злись, — сказала Галка, — шуток не понимаешь. И брось курить. Хватит одной пачки! — Она вырвала у меня вторую, к которой я было потянулся. — А все-таки интересный у тебя, Сашка, был разговор, остросюжетный, как выражаются критики. (Я только хмыкнул в ответ.) Не находишь? Зря. Ужасно интересно вот так просто, не на торной тропе, не в глухом переулке и не в следственном кабинете, а в мирнейшей, можно сказать, обстановке, за чашкой кофе с врагом своим встретиться. С оголтелым врагом, смертельно тебя ненавидящим, готовым на все — хоть пулю в упор в переносицу, хоть бритвой с размаху по горлу, — и разговаривать вот как мы с тобой, с глазу на глаз, о самом для вас сокровенном... Об Одессе хоть вспомнили?

— Вспомнили. Они к тебе наутро из гестапо пришли, а тебя нет. Пусто. Так и сказал: «Переиграл ты меня, кавалер Бален-де-Балю».

— Даже прозвище помнит.

— Все помнит, собака.

— Зря ты портативный магнитофон не взял. Пригодился бы.

— Пауль точно рассчитал. Раз я в отпуску, значит, без электроники — ни магнитофонов, ни микрофонов.

— Вооружись в Батуми. Может, у них есть.

— Нет, Галка, Пауля не проведешь. Вторично он откровенничать не будет. Обязательно заподозрит. Только, пожалуй, прямые контакты с ним уже не нужны. В Бату-

ми и Новороссийске будем обедать и ужинать в городе. Или у капитана. Подумаем.

— Насторожится еще больше.

— Пусть. Теперь уже не страшно.

— Зато мне страшно.

— Только если упустим...

Так мы и проговорили почти до рассвета, пока не начался шторм. Нашу многоэтажную громадину хотя и плавно, но изрядно покачивало. Я вышел на палубу. В предрассветном сумраке ничего не различалось, кроме свинца неба и моря да белых гребней волн у самого борта — дальше они тускнели и размывались. Стоять было холодно и тоскливо — ни живой души кругом, одни перевернутые столы да сложенные у стенок шезлонги. Я вернулся в каюту, лег и, как это ни странно, заснул под качку.

Разбудил меня телефон. Трубку сняла Галка.

— Да. Доброе утро... Это Тамара,— добавляет она уже для меня шепотом.— Почему такой голос? Только проснулась. Что? Вторую смену завтрака? Проспали, конечно. Все шторм — не могла спать из-за качки. Нет-нет, не беспокойтесь.— Галка прикрывает рукой телефонную трубку и шепчет: — Сахаров предлагает сходить к шеф-повару и соорудить для нас завтрак в каюте... Спасибо, Тамарочка. Поблагодари Михаила Даниловича и скажи, что мы завтракаем у капитана. Да, да. Уже договорились.

— Что за вольт, Галка? — удивляюсь я.

— А ты хочешь, чтобы Сахаров принес тебе завтрак из ресторана?

— Шеф может послать официантку.

— А если Сахаров все-таки принесет сам?

— С какой стати?

— Подумай. Ты очень уверен в том, что ему не захочется подсыпать тебе чего-нибудь в чай или кофе?

— Яд в кофе! Этим занимались, насколько я помню, Рене-флорентинец у Дюма и Чезаре Борджиа у Саббатини. Даже Сименон не подвергал Мегрэ такой вульгарной опасности.

— Почему обязательно яд? — витийствует Галка.— Есть и снотворные. Имеются и другие токсические средства, позволяющие положить человека на больничную койку. Ты же сам говорил, что ему важно попасть в Москву раньше нас.

— Между «важно попасть» и «попасть» не один шаг. Боюсь, что даже и яд теперь ему уже не поможет... А где же все-таки будем завтракать?

— Может быть, в кафе на причале?

— Причала еще не видно. Придется к твоему варианту прибегнуть.

— Какому варианту?

— Позвонить капитану.

Но телефон сам предупреждает меня.

— Вас просят срочно в радиорубку.

— Одевайся, Галка, и будь готова,— говорю я, срочно приобретаемая подходящий для палубы вид.— Когда позвоню, подымайся наверх.

В Москве меня уже дожидается у телефона Корецкий.

— Очень коротко, Александр Романович. Есть уже данные экспертизы по фотокарточкам. На фотоснимках Сахарова в 1970 году и в 1946-м после возвращения из плена установлено приблизительное тождество оригинала с оригиналом фотокарточки Пауля Гетцке, присланной из ГДР и датированной 1940 годом, с учетом, конечно, допустимых возрастных изменений.

— Почему приблизительное?

— На снимке Гетцке нет шрама на лице и несколько иная конфигурация губ.

— И шрам и складка губ могут быть результатом косметической операции.

— К сожалению, снимки даже при увеличении не позволяют установить косметическое вмешательство.

Я вздыхаю.

— Значит, остается лаборатория.

— Лабораторное исследование может быть проведено только после ареста обвиняемого.

— Знаю, Коля, знаю,— устало говорю я.— А как обстоит дело с идентификацией почерков?

— Пока никак. Эксперты в чем-то еще сомневаются. Окончательный результат экспертизы получим часа через два.

— Значит, в два позвоню по ВЧ.

— Лучше в три, Александр Романович. До трех обязательно позвонит Ермоленко. Предварительные данные обнадеживают. Бугров именно тот Бугров, который был в сорок шестом в Апрелевке, и Сахаров, о котором шла

речь, именно тот Сахаров, который нам нужен. Ермоленко обещал позвонить тотчас же, как только все детали разговора с Бугровым будут уточнены.

— В три так в три,— согласился я.— Лишний час музыки не испортит. А как наблюдение в Апрелевке?

— По плану. Пост у дома и наблюдение за передвижением по городу. Пока тихо.

— Главное, не допускать встреч с неизвестными в городе лицами.

— Учтем,— отчеканивает Корецкий и кладет трубку.

Завтрак у капитана сервируется, едва я успеваю высказать свою просьбу. Мало того, мы получаем приглашение и на все дальнейшие завтраки, обеды и ужины вплоть до прибытия в Одессу. В личных контактах с Сахаровым уже необходимости нет. Пусть переживает в одиночестве. Главное сейчас — это встреча с батумской опергруппой раньше, чем Сахаров сойдет с теплохода.

Но и тут решение уже подготовлено. И даже, я бы сказал, с некоторым театральным эффектом. Пока мы завтракаем и слушаем занимательные капитанские байки о корабельном житье-бытье в заграничных, к теплоходу подходит катер из виднеющегося на горизонте батумского порта, и высокий грузин в штатском появляется в капитанской каюте с просьбой немедленно связать его с полковником Гридневым. Все понятно. Я извиняюсь перед капитаном и выхожу с грузином на мостик.

— Старший лейтенант Лежава,— представляется он,— жду ваших распоряжений.

— Вы обо всем предупреждены или нужны разъяснения?

— Задача поставлена так. Объект наблюдения должен быть опознан по фотоснимку. Снимки розданы. Мы встречаем его у трапа, следуем за ним по городу, засекаем все встречи и разделяемся в зависимости от ситуации.

— Сколько у вас человек?

— Четверо. С нами легковая машина и мотоцикл.

— Учтите главное: его ни в коем случае нельзя упустить.

— Мы не упустим, а погранохрана предупреждена.

— Погранохрана не понадобится. За границу он не побежит. Вероятнее всего, попытается удрать на самолете в Москву.

— Билетов в Москву уже нет. На все рейсы до утра.

— Он может ждать до утра. Смущены? Что делать тогда, узнаете. А пока разберем другие варианты. Во-первых, можно достать билет и по благу.

— Постараемся пресечь и эту возможность, товарищ полковник.

— Можно вылететь в Москву и с других аэродромов. Скажем, из Сухуми, Адлера или Тбилиси. А туда добраться не так сложно.

— Будет сложно. Мы посадим в кассу своего человека.

— В городе не одна касса. Можно уйти в Сочи и на «Комете» — здесь ходят суда на подводных крыльях. В Сухуми тем более. А до Тбилиси поездом ночь езды. Вариантов много. Опять смущены? Ну так вот: если он опередит или перехитрит вас, задержите его хотя бы под предлогом, что он не то лицо, за которое себя выдает, что требуется проверка подлинности его документов, и вызовите меня — я буду у вас в управлении. Это на случай, если он попытается бежать из Батуми. Если вернется на теплоход, не спускайте с него глаз, куда бы он ни направился. В бар так в бар, в бассейн так в бассейн. Наблюдение и днем и ночью. Учтите, что он отличный пловец и легко может вплавь добраться до берега. Все это диктует необходимость по крайней мере двоим из вас сопровождать нас до Одессы.

— Нас уже предупредили об этом, товарищ полковник.

— Кто поедет?

— Я и лейтенант Нодия.

— Вот и отлично,— улыбаюсь я так точно и ясно понимающему меня человеку.— Будем работать совместно. Дополнительные распоряжения получите по возвращении на теплоход. Каюту мы вам подберем поближе к объекту наблюдения. А пока займите пост у лифта на шлюпочной палубе и ждите, пока он не выйдет из каюты. Третья от вестибюля, номер сто двадцать четыре. Вы его сразу узнаете, если он не сбрил бороду, а я думаю, что не сбрил. Он будет с женой — эффектная крашеная блондинка лет сорока, жемчуг в ушах, жемчужная нитка на шее. Пойдете вслед за ними, чтобы наблюдающие у трапа действовали безошибочно.

— А если он с женой где-нибудь разделится в городе?
— Жену оставьте в покое. Важно не упустить его.
— Будет исполнено.— Старший лейтенант машинально тянет руку ко лбу, но, вспомнив, что он в штатском, виновато раскланивается и уходит. Хороший, по-видимому, работник, толковый и не болтливый. С такими легко.
— Вторая палуба вниз,— говорю ему вслед.
— А я здесь все знаю, товарищ полковник,— оборачивается он, спускаясь по трапу к подвешенным в гнездах шлюпкам.

Мы выходим с Галкой на мостик. Капитан уже на посту, вводит судно в устье портовой бухты. Медленно, как в кадре набегающей кинокамеры, движется навстречу причудливая конструкция порта — панорама зданий, кранов, цистерн, больших и малых судов у причалов на фоне зеленого амфитеатра нагорий с россыпью белых и кремовых домиков. Я люблю это зрелище нарастающего перед глазами порта с его пестрой палитрой красок и праздничной суетой на причалах и набережных. Как хорошо наблюдать эту сцену, когда ты беззаботен и счастлив той полнотой радости, какую дают эта высота неба, жар солнца, ленивая синь моря и бронзовый загар на лицах встречающих. Галка так и смотрит сейчас — с радостным чувством свободы от житейских забот, забыла даже спросить о прерванном наш завтрак госте с военного катера.

Впрочем, ошибаюсь — вспомнила.

— Ты кого это высматриваешь в толпе?

— Видишь двух парней у трапа? Один в желтой водолазке, с усиками, другой — в майке. Типичные бичкомеры. А вон еще один у машины. И мотоцикл вдали у стенок.

— Твои люди?

— Предполагаю.

— Это их тот парень прислал? Оттуда?

— Ага.

— Я так и подумала. Больно вышколен, только что каблуками не щелкает.

— Он и должен быть вышколен. Старший лейтенант по званию. С нами до Одессы поедет.

— Зачем?

— Может понадобится.

— Договорились?

— Конечно. Обо всем, что требуется. Давай вниз, хочу с Сахаровыми на палубе потолкаться, пока они на берег не сошли.

Сахаровых мы встречаем двумя этажами ниже, у лифта. Они явно собрались на берег. У Тамары импортная пляжная сумка с головой тигра на белом пластике, на руке у Сахарова переброшен аккуратно вывернутый подкладкой наверх пиджак.

— На экскурсию или на пляж? — интересуется Галка.

Тамара обиженно морщится:

— Я хотела на экскурсию. Потрясная прогулка в ботанический сад на Зеленом мысу. Но Миша почему-то не хочет.

Почему Миша не хочет уезжать из города и зачем ему пиджак в тридцатиградусную жару?

— А вы куда? — спрашивает он с обычной сахаровской незаинтересованностью, словно и не было у нас никакого разговора вчера.

— Сейчас никуда. Подождем, пока не схлынет эта туристская толчея. А там, вероятно, тоже на пляж. Кстати,— говорю я Сахарову,— за буйки там плавать вам не удастся. Охрана.

Он молча пожимает плечами все с той же наигранной безразличностью. Сейчас он «в образе» от головы до пят. Только пиджак ни к чему. А может быть, именно пиджак ему и понадобится.

Все идет как задумано: старший лейтенант Лежава в летней кремовой распашонке неотступно следует за Сахаровыми. Он и в кабину лифта с ними вошел, и шагает сейчас за ними по трапу. Ко мне он даже не оборачивается.

— Интересно, зачем Сахарову пиджак? — спрашивает Галка: тоже заметила.

— А ты не догадываешься?

— Кажется, да. Вдруг не вернется?

— Погляди-ка на этих ребят у трапа. Вот один уже садится на мотоцикл — думаю, в аэропорт махнет. Другой поплелся за нашей парочкой, а третий с Лежавой идет к машине.

— С каким Лежавой? Кто это?

— Ты же его только что в лифте видела.

— Твой парень с капитанского мостика?

— Он. Всё по плану. Волк обложен, как на охоте. Слежка явная. Мы и не скрываем: он слишком опытен, чтобы ее не заметить.

У меня еще два часа свободного времени. В город ехать рано, а Галка теряет день.

— Ты бы на пляж поехала,— говорю я,— все-таки лучший пляж на побережье. Тамару найдешь. Вероятно, зарванную.

— Почему?

— Он же оставит ее на пляже. Вот ты и утетишь.

— А ты?

— Мне лишь через два часа надо быть в управлении. Кстати, ты только не пугайся, Галина: может быть, я сегодня и не вернусь на теплоход.

— С ума сошел! — У Галки широко открыты глаза. — Куда же ты денешься?

— Возможно, мне придется срочно лететь в Москву. Глаза у Галки уже испуганные.

— Совсем?

— На сутки. Завтра, может быть даже утром, вернусь в Новороссийск. Как раз к теплоходу.

— Почему вдруг такая спешка?

— Все зависит от сложившейся ситуации, вернее, от некоторых ее обстоятельств. Каких, не спрашивай: я сам еще не знаю. Но, вероятнее всего, лететь придется.

— В связи с Бугровым?

— Не только. Это одна из связей, не больше. И не будем уточнять, Галочка. Всему свое время.

— А ведь верно сказал Сахаров: ты все-таки службист, Сашка.

— Обстоятельства,— неопределенно говорю я.— Задачи разделяются. Мне — одна, тебе — другая. Добровольно или вынужденно, но Сахаров обязательно вернется на теплоход. Будет рваться ко мне — не пускай. Скажи, что я нездоров, повысилось давление или сердце пошаливает,— словом, что-нибудь придумай. Врач будет предупрежден. Дверь каюты держи всегда на запоре, ключ при себе. Предупреди стюардессу, чтобы второй ключ никому не давала. Вот, собственно, и все. А заканчивать операцию будем на перегоне Новороссийск — Одесса.

ОБЛАВА

Вахтанг Мгеладзе, немолодой уже грузин в звании подполковника, говорит по-русски с легким акцентом. А внешне он чем-то напоминает Ираклия Андроникова — этого мастера короткого рассказа, — если не лицом, то каким-то присущим ему веселым обаянием, которое невольно ощущаешь во время разговора на совсем не веселую тему.

— Похож? — улыбается он. — Многие говорят, а чем похож, понятия не имею. Он брит, я ушат, он импозантен, как любимец публики, я незаметен, даже когда один в кабинете сижу. И рассказывать ничего не умею. Вместо рассказа я вам рапорт Лежавы прочту. Вы уже познакомились со старшим лейтенантом? Понравился, правда? Исполнителен и оперативен. Учтите, кстати, что это только первый рапорт его сегодня — из аэропорта. Он по-грузински диктовал стенографистке, я по-русски записал специально для вас — Алания мне уже доложил о вас все из Сухуми.

Мгеладзе берет листок бумаги с одному ему понятными закорючками и читает без запинки и со всем богатством интонаций, словно это он сам, а не Лежава за сек Сахарова у касс аэропорта:

— «Нинико, бери карандаш и стенографируй. Подполковника на месте нет, а у меня срочное донесение. Пиши. Полковник Гриднев задание уточнил. Надо не только проследить объект наблюдения во время его передвижений по городу, засечь все его встречи и явки, но и никоим образом не выпустить его из города. Только на теплоход — и никаких других вариантов. Первый вариант провалился сразу: в кассах аэропорта билетов на Москву не было. Тогда он вышел в зал ожидания и объявил во весь голос: «Друзья, говорит, кто захочет уступить мне билет в Москву, плачу вдвое». Никто не откликнулся. А он, как на рынке, еще громче: «Очень нужно, товарищи, поскорее попасть в Москву — человек при смерти! Может, кто с женой едет, так я и два билета возьму. По сто рублей, деньги на бочку». Тут кто-то зашевелился. Ну, а мы тоже не протачки. Милиционер под боком — сразу в бой. «Не шуми, говорит, генацвале, нехорошо получается. А еще хуже спекуляцию разво-

дить. Кто билет продаст, заберу обоих». Тут наш объект извинения попросил: «Очень нужно, говорит, товарищ, простите». Ко второй кассе пошел, на местные рейсы. А там уже Нико Гавашели сидел. «Продажа билетов, говорит (это он уже с начальством согласовал), временно прекращена ввиду нелетной погоды». — «Какая же нелетная погода, — кипит объект, — когда на небе ни облачка!» — «Здесь нет, — говорит Нико, — а в горах грозовой фронт, понял?» Ну, объект наш совсем заскучал. Стоит сейчас в дверях, пока я по телефону докладываю, что и как, и размышляет, куда податься. Торадзе с Нодия уже у машины, меня ждут. Вот он шагнул в дверь, прощай пока, Нинико, некогда мне: бегу, догоняю. А Гавашели уже на вокзал помчался — на случай, если объект в Тбилиси надумает с вечерним скорым. Будешь расшифровывать, смотри не перепутай — зарежу».

Я невольно не могу сдерживать улыбки, но и тревоги скрыть не могу — очень уж энергично действует Сахаров, очень уж ему хочется раньше меня в Москву попасть. И денег никаких не жалеет.

— Эх, не упустили бы, товарищ подполковник.

Он смотрит на меня с таким успокаивающим радушием, что тревога моя тает, как мороженое на его блюде.

— Извини, дорогой, не угощаю: совсем растаяло, — говорит он, поймав мой взгляд, — и давай так. Полковника и подполковника пока отменим, мы не на смотре. Я — Вахтанг, ты — Сандро, все, как у вас говорят, проще простого. Задача твоя мне ясна: из Сухуми предупредили. А дичь обложена крепко — не уйти. Мне уже все ясно: брать его ты не хочешь или потому, что цепочка, которая за ним тянется, тебе не ясна, или потому, что оснований для ареста пока еще нет. Думаю, второе вернее. Так?

— Так, — говорю я, — основания в Москве добывают, а мне важно не выпустить его с теплохода, до Одессы довести. Двух я у тебя забираю — предупрежден?

— Поедут Лежава и Нодия. От таких ни по морю, ни посуху не уйдешь. Будь спок, как там в Москве говорят, Райкин кажется? А объект что, из-за рубежа?

— Нет, — вздыхаю я, — из-за рубежа давно бы взяли.

А то с сорок шестого в Москве живет. А в сорок третьем в Одессе в гестапо подвизался в чине гауптштурмфюрера. По национальности русский, по обстоятельствам немец, а по духу подлец.

— Резидент, вероятно?

— Не знаю. Еще не имеем данных. Вероятнее всего, «отлеживался в берлоге», ожидал сигнала. Активные действия мы бы засекли раньше. А тут тихий лояльный совслужащий, ни в чем предосудительном не замешан. Если и активизировался, то совсем недавно.

— Тогда зачем спешить? Взять можно и позже, пусть гуляет до поры до времени. А пока нащупай всю его агентуру — связных, явки, шифровки, тайники, почтовые ящики.

— Нельзя. Нет времени. Он узнал меня и сразу понял, что открыт. Главное для него теперь — уйти от следственного разоблачения. Замаскирован он идеально — не подкопаешься. И если подкопа мы не завершим до его возвращения в Москву, он преспокойно оборвет все связи и с милой улыбкой предложит Немезиде ничью. А это, сам понимаешь, нас никак не устраивает. А если возьмем его до возвращения в Москву, то хоть кончик ниточки да останется. А там смотри и весь клубок размотаем. Вот он и рвется в Москву нас опередить.

— А почему бы тебе там его не встретить? У тебя же все шансы попасть в Москву раньше.

— Может, и придется слетать на сутки. Спецрейс устроишь?

— А почему нет? Туда и обратно.

— Обратно не сюда, а в Новороссийск, к теплоходу. Он сегодня вечером отойдет, в Новороссийске утром будет. А мою поездку сейчас с Москвой согласую. Пусть подготовятся.

Мгеладзе хрустит пальцами и вздыхает сочувственно.

— А жаль небось отпуска, а? На таком теплоходе только жить-поживать, а не шпионов ловить. Я сам прошлым летом на «Шота Руставели» такой же круиз проделал. Бассейн — царский, можно сказать, бассейн, коньячок к ужину, пивком залейся. Я сам люблю и на сквознячке посидеть, и шариками на бильярде постучать, и кофейку у Махмуда вкусить — есть у нас такой мусульманин, кофе, как аллах, варит.

— Да,— говорю,— жаль, конечно,— и вздыхаю. И не пляж в голове, а мечущийся по городу Сахаров и Корецкий в Москве у телефона.

С ним я и соединяюсь по ВЧ.

— Есть новости? — спрашиваю.

— Вагон! Ермоленко встретился с Бугровым и уточнил все, что требуется. Сахаров Михаил Данилович бежал вместе с Бугровым из заключения в феврале сорок пятого года во время транспортировки лагерного эшелона на запад. Обстоятельства побега и события, ему предшествовавшие, очень интересны, но это не телефонный разговор. Главное же в том, что Бугров лично знал Сахарова, сражался с ним бок о бок в Словацких Татрах и даже получил от него фотокарточку, на которой они сняты вместе на бивуаке партизанского отряда Славко Бенека. Второе: Бугров категорически утверждает, что Сахаров погиб в марте того же года, когда он в составе партизанской пятерки прикрывал переброску отряда в горах. Погибли они близ Махалян на Братиславском шоссе. Там и похоронены, и памятник им поставлен — гранитная глыба с именами, среди которых и Сахаров. Снимок этот тоже имеется.

— Значит, Бугров не очевидец гибели Сахарова? — перебиваю я.

— Нет, но он принимал участие в захоронении погибших, когда отряд смог вернуться в эти места, очищенные от врага. Кроме того, одному из группы прикрытия, хотя и тяжело раненному, все же удалось спастись. Это Янек Ондра, бывший пулеметчик отряда. Сейчас он директор одного из телевизионных ателье в Братиславе.

— Вот что, Коля,— опять перебиваю я,— немедленно после разговора со мной свяжись с Братиславой. Пусть найдут этого Ондру и возьмут у него письменные показания о гибели группы прикрытия, и Сахарова в частности. Да пусть поторопятся, объясни, что показания нужны не завтра, а сегодня, и чем скорее, тем лучше. Пусть передадут их тебе по спецсвязи сразу же, не откладывая. Пожалуй, сейчас это самое важное.

— Задание уже передано после разговора с Ермоленко,— рапортует Корецкий суховато, но не без удовольствия.— Ответ ожидаю сегодня же.

— Лады,— говорю я.— Дальше. Бугрова — в Москву, сам понимаешь. Вместе с Ермоленко и всей документацией по делу. Также сегодня.

— Уже вылетели. Будут часам к шести, если в пути ничто не задержит.— В голосе Корецкого уже звучит торжество угадавшего все шесть номеров в очередном тираже «Спортлото».— Теперь, я думаю, Александр Романович, можно и старуху прижать. Псевдомамашу Сахарова. Деваться ей все равно некуда. Даже сослаться на то, что это какой-нибудь другой Сахаров, ей не удастся. Он все рассказал Бугрову: и кто его мать, и где она живет и работает. И об отношениях с ней рассказал. Не очень, оказывается, любила она сыночка. Парень о вузе мечтал, а она его работать заставила: деньги, мол, дома нужны. Учеником к мяснику на рынок определила; мясники, говорит, теперь лучше инженеров живут. А уходя в свой последний бой, Сахаров так и сказал Бугрову: «Найдешь, если жив будешь, в Апрелевке матушку, так передай ей, что подарков не шлю, а если умереть придется в бою, так умру с честью, ни имени своего, ни Родины не опозорив». Бугров бы так и передал, если б нашел ее по приезде, ну, а потом, как мы знаем, по совету однополчанина своего передумал. Я полагаю завтра же ее навестить и поговорить по душам, благо основания для такого разговора у нас имеются, если конечно,— добавляет он,— не будет других указаний.

— Будут, Коля,— говорю я, понимая, как огорчу я сейчас человека.— Навещу ее я, и не завтра, а сегодня же вечером. После того, как встречу с Бугровым.

Корецкий долго молчит, так долго, что я уже начинаю думать, не произошло ли где-нибудь разъединения на линии.

— Ничего не понимаю,— доносится до меня наконец его недоумевающий голос,— вы откуда говорите, Александр Романович?

— Из Батуми, Коля. И в течение ближайшего часа отбываю в Москву.

— А как же Сахаров?

— Пока он мечется по городу в поисках билета на самолет. Надеется попасть в Москву раньше меня.

— И вы допустите?

— Нет, конечно. Его сопровождает в странствиях

целая опергруппа, надежно его блокирующая. В конце концов, если понадобится, прибегнем к крайним мерам.

— Будете брать?

— Зачем? Просто попросим по-хорошему не покидать теплоход до прибытия в Одессу.

— На теплоходе палуб много, кают еще больше, а пассажиров по пальцам не сосчитаешь.

— Зато выход один, Коля. К трапу.

— Можно и через борт. Вплавь, если плавает. А плавать он, наверно, умеет — в гестаповских школах и не тому выучат.

— Умеет, Коля. И до берега доплывет — что днем, что ночью. Только к борту его не подпустят.

— Что ж, вам виднее, — не очень охотно соглашается Корецкий.

Пусть огорчается. Дело есть дело.

— Задержи Бугрова и Ермоленко до моего прибытия, — заканчиваю я разговор. — Надеюсь, до семи буду, если погода позволит. Постарайся к этому времени и Ондру достать. Сам понимаешь, как важны сейчас его показания. Бугров плюс Ондра плюс памятник на могиле Сахарова — вот наши три роковые для Гетцке карты. И пиковая дама из Апрелевки ему уже не поможет.

Я расстаюсь с Корецким, но телефон меня не отпускает. Звонит городской аппарат. Мгеладзе слушает, говорит что-то по-грузински и передает трубку мне.

— Докладывает Лежава, товарищ полковник, — слышу я знакомый баритональный рокот. На этот раз рапорт старшего лейтенанта суховат, точен и лишен коллоквиальных «вольностей» вроде «генацвале» и пресловутого «объекта», оброненных им в телефонной беседе с симпатичной стенографисткой Нинико. — Звоню из отделения милиции морвокзала, куда только что доставлен задержанный нами гражданин Сахаров. Прорваться ему не удалось ни в Сочи, ни в Тбилиси. Правда, на железнодорожном вокзале ему удалось через носильщика достать билет на тбилисский скорый, но проинструктированная нами милиция задержала и носильщика и незаконного владельца билета, добытого спекулятивным путем. Конечно, потом их отпустили, а билет вернули в кассу для продажи в порядке живой очереди. Гражданин Сахаров в очереди стоять не захотел, а помчался в

порт. Задержись мы хотя бы минуты на две, он бы ушел: как раз в этот момент отходила от причала «Комета» в Сухуми. Он уже прыгнул с пристани на борт, но Торадзе успел все-таки остановить судно. Прямо с причала мы и доставили задержанного в отделение милиции. Задержание объяснили, как вы приказали: есть, мол, подозрение, что он выдает себя за другого, и требуется проверить подлинность его документов. Задержанный гражданин Сахаров проявил спокойствие и выдержку, не ругался и не кричал, только сказал, что обжалует незаконное задержание в прокуратуру города. Ни я, ни Гавашели при этом не присутствовали — держимся в стороне, ведь нам еще придется встречаться на теплоходе, — а участвуют в задержании Торадзе и Нодия. Так какие же будут указания, товарищ полковник?

— Сейчас приеду. Предупредите об этом задержанного, не называя моей фамилии. Все.

На моих часах без пяти три. Рейсовый самолет в Москву в шестнадцать сорок. Говорю Мгеладзе:

— Спецрейса не надо. Обеспечь место в рейсовом. У меня еще полтора часа в запасе. Успею.

Через десять минут я уже у морвокзала. Машину на подходе останавливает Лежава.

— Докладываю, товарищ полковник. Задержанный Сахаров вместе с Торадзе и Гавашели находится в дежурке отделения милиции. Жду ваших распоряжений.

— Думаю, что Сахаров преспокойно вернется на теплоход. Ваших товарищей, старший лейтенант, отпущу на причале. А вам следует пройти за ним и продолжить наблюдение, как мы условились. Глаз не спускайте, держитесь в сторонке не назойливо, но внимательно. Если к борту подойдет, будьте наготове. Еще раз учтите: пловец первоклассный. В разговор не вступайте, но, если спросит что, отвечайте вежливо и по существу. Ко мне в каюту не допускайте: болен, мол, неизвестно, встанет ли до Одессы. На теплоходе буду завтра. В Новороссийске, да. Тогда и поговорим.

Сахаров при виде меня не удивлен и не рассержен — видимо, был уверен, что приеду именно я.

— Оставьте нас вдвоем, товарищи, и подождите в коридоре, — обращаюсь я к двум парням в штатском, которых мы с Галкой видели с капитанского мостика.

— Что за детские игры? — спрашивает Сахаров, когда мы остаемся одни.

— Это не игра, а операция по задержанию государственного преступника. — Тон у меня официален и строг.

— Есть уже ордер на арест? — ухмыляется Сахаров. — Покажи.

— Это не арест, а задержание гражданина Сахарова по подозрению в том, что он не то лицо, за которое себя выдает.

— Так ты же не в милиции работаешь, Гриднев.

— Дело гауптштурмфюрера Гетцке проходит по моему ведомству, Сахаров.

— Партбилетом рискуешь.

— Ничуть. Нарушения процессуальных норм не будет. Твердо надеюсь, что буду иметь все основания просить прокурора о превращении твоего задержания в арест. Впрочем, — добавляю я, подумав, — можно и вообще обойтись без задержания. При одном условии.

Сахаров явно заинтересован.

— При каком?

— Если ты добровольно вернешься со мной на теплоход и откажешься от каких-либо попыток покинуть его до Одессы.

— А если не откажусь? Пока я свободный гражданин.

— Тогда я задержу тебя при первой же попытке уехать из города и в Батуми и в Новороссийске с последующим этапированием в Москву. Твердо обещаю тебе это. Запомни.

— Шантаж?

— Зачем? Вполне разумное предложение. Тебе, как игроку, явно выгодное.

— Ты же не играешь.

— Конечно, нет. Просто жду возможности создать все условия для законности твоего ареста.

— А если не дождешься?

Я развожу руками, стараясь подчеркнуть огорчение.

— Тогда твое счастье. Вернешься в Москву к своим арбатским пенатам.

Сахаров молчит, долго думает, поджав губы, потом с явным удовольствием (как это у него получается, не понимаю) лениво потягивается и говорит:

— Есть смысл согласиться, кавалер Бален-де-Балю. Считаю, что предложение принято.

И мы выходим вместе, как два вполне расположенных друг к другу спутника по морскому пассажирскому рейсу. Торадзе и Гавашели исчезают, а Лежава и Нодия, видимо, следуют за нами: должны, хоть даже я их не замечаю. Отменные следопыты.

Уже выходя из лифта, решаюсь сыграть. Полузакрыв глаза, прижимаюсь к стенке и тяжело вздыхаю.

— Что с тобой? — спрашивает Сахаров.

— Сердце, — выдавливаю я с трудом, — по-ша-лива-ет... — И еще раз вздыхаю, приложив руку к груди.

— Я провожу тебя до каюты, — говорит он.

Я, молча кивнув, соглашаюсь. Он доводит меня до двери, но, прежде чем открыть ее, я шепчу:

— Не вздумай удрать. Как бы я сейчас ни чувствовал себя, тебе все равно не уйти. Возьмут тут же у трапа. Я не бросаюсь словами, ты знаешь. А за помощь спасибо. — И, открыв дверь, хрипло говорю удивленно встречающей меня Галке: — Валидол!

Сахаров, по-моему, еще стоит за дверью, и я, приложив палец к губам — молчи, мол, — сажусь на койку и продолжаю шепотом:

— На старости лет играю эпизод с предынфарктом. Валидола, сама понимаешь, не требуется. Когда Сахаров будет уже у себя, я незаметно выскользну в город, а оттуда в аэропорт.

— А если он увидит с палубы?

— Не увидит. Пройдет к себе — я уверен. А если и увидит, черт с ним. У меня нет выхода.

— Значит, все-таки летишь?

— В шестнадцать сорок.

— Вернешься завтра?

— Рассчитываю.

— С Бугровым?

— Если удастся.

— А мне как держаться?

— Переходи на довольствие к капитану. С Тамарой и Сахаровым встречайся как можно реже. Держись сдержанно и огорченно. Все-таки я заболел и вынужден лежать в каюте. Согласуй с капитаном, пусть предупредит доктора. Для Сахаровых — это предынфарктное со-

стояние, сердечная недостаточность, последствия батумской жары и подходящие цитаты из журнала «Здоровье». Словом, импровизируй.

— Ладно, сыграю, как королева из «Стакана воды».

— Играй, но не переигрывай. Ты не Софи Лорен, а Гетцке, даже напуганный, на поддельную наживку не клюнет. Важно поддерживать статус-кво... Тамара еще не знает?

— Даже не догадывается.

— Тем лучше. Поверит или не поверит тебе Сахаров, по существу уже безразлично. Держись, как договорились. Слежки за ним не примечай, на каверзные догадки недоуменно подымай брови, прямые уколы парируй. В общем, я за тебя не боюсь — справишься.

И мы расстались, чтобы встретиться завтра в Новороссийске.

Москва

МИХАИЛ САХАРОВ

Я иду по широкому учрежденческому коридору, такому же родному и близкому, как и коридор моей московской квартиры. Останавливаюсь у двери со знакомой табличкой и, чуть-чуть волнуясь, стучу.

— Входите, — отвечает голос Корецкого.

Я вхожу и с удовольствием — не скрываю этого — наблюдаю немую сцену. Ермоленко и Корецкий. Что в их молчаливом приветствии? Радость или смущение, тайное недовольство от внезапного визита начальства или скрытый вздох облегчения, снимающий какую-то долю ответственности, тяжелой и, несомненно, тревожащей?

— Из Домодедова? — спрашивает Корецкий.

— Ага.

— Почему же не позвонили, Александр Романович? Мы бы машину прислали.

— Подумаешь, Цезарь прибыл. Добрался и на такси.

Я сажусь в кресло напротив Ермоленко, оставляя Корецкого на моем привычном месте за письменным сто-

лом, на котором теперь нет ни одной бумажки. Педантичный Коля, или, вернее, если принять во внимание звание и возраст, Николай Артемьевич Корецкий, в отличие от меня прячет все папки в сейф или в ящики стола, оставляя девственно чистым зеленое сукно под стеклянной плитой.

— А где же Бугров? — спрашиваю я удивленно.

— В столовой, — отвечает Ермоленко. Он без пиджака, в одной тенниске: в Москве тоже батумская жара. — За полчаса до вас прибыли. Я-то успел перекусить, а его взял до обеда, прямо с работы.

— Со щитом иль на щите? — лукаво осведомляюсь я.

— Темпов не учитываете, Александр Романович, — обижается Ермоленко. — Стали бы мы с Бугровым спешить, если б Фемида нам не содействовала. Да и Фортуна тоже.

Любит высокий штиль. Фигурально пинком спускаю его с Олимпа.

— А ну-ка без риторики, юноша. Серьезно. С чувством, с толком, с расстановкой. Докладывайте.

— По порядку, Александр Романович?

— С апрелевской разведки.

— Хотелось бы начать с матери Сахарова, но о ней в заключение. А начнем с соседей. За тридцать лет они переменялись — кто помер, кто переехал, кто и до войны Сахаровым не интересовался. Помнит его один Суконцев, старик пенсионер. «До войны, говорит, складный мальчишка был, бедовый, но услужливый. Как-то раз в огороде помог, разок или два вместе на рыбалку ходили. А после войны только и видел его мельком, когда к матери на машине приезжал, — сначала на «Победу», потом на «Волге». Бородатый, солидный, словно директор треста; на меня даже не взглянул, не то чтобы поздороваться да старика вспомнить. Но я не расстраивался: кто он мне? Не сын, не племян, я старше его на двадцать лет — мог и запомнить: подумаешь, десяток окуней когда-то вместе выловили». С опознанием Сахарова соседями, как видите, не получилось. А довоенных дружков его я не нашел — ни парней, ни девушек. Даже странно, Александр Романович, показалось, словно их ветром сдуло. Указали мне на двух: Алексея Минина, одноклассника, — вместе с ним призывался, а после вой-

ны в местном продмаге работал,— так он за несколько месяцев до возвращения Сахарова трагически, можно сказать, погиб: ночью его на шоссе грузовиком сшибло. Кто сшиб, как, почему — неизвестно. Грузовик, оказывается, накануне со стоянки угнали, а потом где-то у Вострякова бросили. Начальник милиции так и сказал: «Пьяная авантюра — угнали, сбили, испугались, бросили». Никого не нашли. Второй, кто бы мог опознать Сахарова, тоже отпал: мясник с рынка Василий Жмых — у него Мишка Сахаров до призыва подручным работал. Так опять задача. Пил Жмых крепко. В армию его не взяли — хромой; жена бросила, детей не было — вот и пил с рыночных доходов. А когда Сахарову вернуться, Жмыха мертвым в канаве нашли: делириум тременс, как говорят врачи. Смерть от перепоя — не придерешься.

Я делаю предостерегающий жест рукой — остановись, мол, погоди. Навязчивая мысль приходит в голову, я еще ее осознать не могу, но Ермоленко уже понимающе улыбается.

— Тоже ухватились, товарищ полковник? И меня зацепило. Почему это два человека, единственные два человека, которые близко знали довоенного Сахарова и могли бы опознать его при встрече после войны, вдруг оба почти в одно и то же время погибают якобы от несчастного случая. А так ли уж случайны эти несчастные случаи?

— Не торопись, Ермолай, не кроссворд разгадываем, — прерывает его Корецкий. — Признаком насильственной смерти не было. Теперь тем более их не найти — дело давнее. Гипотезы о неслучайности нам ничего не дают.

— Но подтверждают версию о проникновении фиктивного Сахарова в Советский Союз, — возражает Ермоленко. — Все как по нотам разыграно, и все в этой партии ясно — где диез, где бемоль. Проникновение спланировано заранее, еще в годы войны. Подыскан агент, умный, смелый, проверенный нацист, русский по национальности, прекрасно ориентирующийся в советских условиях. Подобран в лагерях и его дублер, не двойник — в двойников я не верю, — просто более или менее схожий по внешности человек. Сходство дополняется косметическим вмешательством. А затем к действительному Саха-

рову подсаживают поддельного, выясняются детали сахаровской биографии, застывает железобетон легенды. Как это было на самом деле, вам, товарищ полковник, расскажет Бугров: он слышал это от самого Сахарова. Ну и одновременно уничтожаются все следы Волошина-Гетцке и довоенного Сахарова — документы, фотокарточки, образцы почерка и свидетели, которых удалось их разведке засечь.

— Кстати, — перебиваю я, — каковы данные экспертизы по идентификации почерков?

Корецкий вынимает папку, в которой на видном месте красуется любительское фото памятного мне по Одессе черномундирного гестаповца Гетцке и светловолосой Герты Циммер, симпатичной немочки с арийским профилем. Несмотря на отсутствие бороды и тридцатилетнюю разницу в возрасте, при желании можно увидеть и сходство между бритым Гетцке и бородатым Сахаровым. Но только при желании — прокуратура и суд могут и усомниться. Сходство почерков, уже известное мне из телеграфных переговоров с Корецким, — надписи на обороте карточки и расписок Сахарова на документах из комиссионного магазина, — более определенно. Экспертиза подтверждает идентичность (по наклону букв, и по расстоянию между ними, и по характеру нажима), но делает все-таки оговорочку. Экспертов несколько смущает та же тридцатилетняя дистанция между образцами и отличие немецкой остроугольной готики от округленной плавности русского рукописного текста. Если судья не буквоед, оговорочка, быть может, роли и не сыграет, но кто знает, равенство Гетцке — Сахаров и тут может быть не доказано.

— Зато с Бугровым порядок, — утешает меня Ермоленко и, зная мою шахматную страстишку, добавляет: — Классический эндшпиль, товарищ полковник. Смертельный и неожиданный ход конем.

Но мне почему-то не весело.

— Документы по версии Бугрова подобраны? — спрашиваю я у Корецкого.

Вместо ответа он так же молча извлекает из стола вторую папку, в которой несколько фотоснимков и сообщение из Братиславы в двух экземплярах — перевод и оригинал. На первом, явно любительском снимке, но сня-

том при хорошем дневном освещении, два бородача в овечьих меховых безрукавках и немецких солдатских сапогах, должно быть снятых с мертвых фашистских карателей. В руках у обоих «шмайссеры». Позади каменный горный уступ и прилепившаяся к скале тощенькая сосенка. Как я ни вглядываюсь в лица, не нахожу в них ничего знакомого. На обороте снимка надпись по-русски, сделанная, по-видимому, трофеейной авторучкой: «Другу и соратнику Ваньке Бугрову на память о хорошем дне. Много фашистских сволочей под этой скалой полегло. Михал». А ниже — другой текст, тоже по-русски, но другими, более свежими чернилами и другим почерком: «Снято в конце марта сорок пятого года в Словацких Татрах после разгрома отряда немецко-фашистских карателей».

— Внизу это Бугров написал, — поясняет Корецкий. — Вот этот слева, ростом поменьше. А это — Сахаров, — указывает он на бородача со «шмайссером», стоящего у края обрыва. Вот его увеличенное изображение, сделанное уже у нас в лаборатории.

На этом снимке — крупно — лицо бородача, чем-то напоминающего Волошина-Гетцке. Но только чем-то. Может быть, лоб и нос похожи, может быть, шрам, вгрызающийся в бороду на щеке. Но, в общем-то, лица разные: и бороды непохожие, по-разному растут и завихряются, другие глаза, другие губы. Я сравниваю лежащий рядом снимок Сахарова из комиссионки, лишний раз убеждающий, что действительный Сахаров отнюдь не двойник фиктивного — так, случайное сходство, даже не близкое, а весьма поверхностное сходство лиц, которое можно наблюдать в фототеках «Мосфильма».

— Ни малейшего сходства! — радостно подтверждает Ермоленко, выхватывая у меня карточку Сахарова-Гетцке. — Все другое: и глаза-щелочки, и борода из парикмахерской. Вот шрам только...

Торопится парень с выводами. Жаль даже охлаждать его. Но это делает за меня Корецкий:

— Есть сходство, увы. Хотя различий, конечно, больше, но различия-то и могут обернуться против бугровской версии. Ведь снимков довоенного Сахарова у нас нет. На кого он похож, на того или на этого? И спросить некого, кроме мамы. Вот тут-то и есть заковыка.

Он прав: заковыка действительно есть, но есть и возможность ее обойти.

— Передай снимки по бильдаппарату в Одессу. Пусть проверят у Волошиной, какой из двух бородачей больше похож на ее сына. Пошли сейчас же. Может, к утру и ответ получим. Мне все равно раньше завтрашнего утра не вылететь.

Корецкий уходит со снимками, и мы остаемся одни. Ермоленко молчит из деликатности, не решаясь заговорить первым. Молчу и я. Думаю... Все-таки различия лиц на обоих снимках — это наш шанс, а не наших противников. Они, эти различия, подкрепляют нашу основную версию. Бугров лично знал человека на фотокарточке, снятой в партизанском краю в Словакии, знал его и живым и мертвым, видел простреленное тело его в кустарнике близ Михалян, где стоит сейчас приземистый гранитный обелиск с выбитыми на нем именами погибших. Я беру снимок и читаю:

ЯРОСЛАВ МИТИЧ
АНТОН ГОЛЕМБА
МИХАЛ САХАРОВ
ЧЕСЛАВ ВОДИЧКА

Михал Сахаров! Что можно выдвинуть против этого, высеченного на камне свидетельства? Может быть, у погибшего было другое имя? Может быть, он по каким-то причинам только называл себя Сахаровым? Но зачем русскому советскому человеку даже на территории, занятой врагом, до последнего дыхания боровшемуся против фашистской скверны, — зачем партизану и антифашисту скрывать свое настоящее имя от друзей и соратников? Ведь он назвал не только себя, но и свое местожительство в СССР, имя и адрес матери, которой и послал слова предсмертного прощания. А может, под его именем все же захоронен кто-то другой? Может быть, Бугров ошибся, что-то помешало ему узнать в убитом своего боевого товарища, и не точное знание, а только догадка обусловила список имен на памятнике? Но ведь жив и другой свидетель, непосредственный участник последнего боя партизанской пятёрки.

Я беру сообщение из Братиславы — гриф ведомства,

дата, краткая сопроводилка к стенограмме беседы с директором телевизионного ателье в Братиславе Ондрой Янеком.

«Вопрос. Где вы находились в феврале — марте 1945 года?»

Ответ. В составе партизанского отряда майора Бенека в Словацких Татрах.

Вопрос. Расскажите о вашей последней боевой операции.

Ответ. Мы прикрывали отход отряда в районе Кропачева. Пять человек — я, Големба, Водичка, Митич и Сахаров.

Вопрос. Вы лично видели в бою Сахарова?

Ответ. Он находился на огневой позиции в трех метрах от меня. Мы держались около часа, пока нас всех не перебили каратели. Я был тяжело ранен, лежал без сознания, и гитлеровцы сочли меня тоже убитым.

Вопрос. Сахаров не менял позиции во время боя?

Ответ. Нет. Михал был убит первым, и я занял его позицию.

Вопрос. Вы были уверены, что он убит?

Ответ. Пуля попала в глаз и разmozжила затылок.

Вопрос. Можно ли было узнать его после смерти?

Ответ. Конечно. Лицо его не пострадало.

Спасибо, Ондра. В своем братиславском ателье ты взял сейчас за горло еще одного фашистского выродка, который думает, что ушел от возмездия.

Последние слова я невольно произношу вслух и тотчас же слышу ответный возглас Ермоленко:

— Не ушел и не уйдет, товарищ полковник! Фактически он изобличен, и мы накапливаем свидетельства уже не столько против него, сколько против его псевдоматери.

Соображает Ермоленко. Это и есть направление нашего главного удара. Именно здесь должна быть проведена оборона Волошина-Гетцке. Если прорвем — всё!

— Трудная старуха, — продолжает Ермоленко, — хитрая и расчетливая. Ничего от сердца, от чувства — все от рассудка, расчета. Это не только мое впечатление. Ни один сосед, с кем бы я ни говорил, доброго слова о ней не сказал. Надменна, хвастлива и жадна. Летом и осенью на крылечке спит, чтобы в сад никто не забрался.

Охотничье ружье у нее для этого есть — солью заряжено. Я, правда, не видел, но соседи уверяют, что есть.

— Сплетни, возможно.

— Может, и сплетни. Только в поселке ее никто не любит, и она никого. Все у нее кляузники да пакостники. «Неужто все?» — спрашиваю. «Все, батюшка, все. Клубника у меня уродится, так норовят какую-нибудь гадость подбросить, спелу ягодку попортить». — «И ваш сын, говорю, потому ни с кем здесь не знается?» — «Потому, батюшка, потому что порядочному человеку с подонками говорить не о чем. Не того огорода капуста».

— Так ёрнически и разговаривала?

— Именно так. Этакая гоголевская Коробочка, только тощая, как палка от щетки. На слова не скупится, а ни одному слову не веришь. «Мать я отзывчивая, сына не беспокою, от дела не отрываю, рада и минутке, какую мне уделит...» Прямо этикетка с консервной банки. На этикетке — материнская нежность, а в жестянке — сберкнижка. Только на последних минутах приоткрылась — человеческим языком заговорила. Злым, но искренним. Я ее еще раз о подарках сына спросил, не помню уж по какому поводу. «А это вас, говорит, совсем не касается и отношения к мужеству советских военнопленных не имеет. И вообще не кажется ли вам, что наш разговор несколько затянулся? — И, прямая, не сгибаясь, подходит к двери, распахивает ее и, указывая перстом на крыльцо, цедит сквозь зубы: — Прошу!»

Тут Ермоленко вздыхает и грустно заканчивает:

— Вот где у вас заковыка, как говорит майор Корецкий, а не в сходстве или различии почерков и лиц. Тут лицо ясное, замороженное. Для такого коловорот нужен, а не простое человеческое слово. Трудный у вас разговор будет, Александр Романович.

— Боюсь, что да.

— Когда встреча?

— Думаю, сегодня.

— Прочтите мой доклад Николаю Артемьевичу. Там все подробно изложено.

— Прочту обязательно. Хотя майор Корецкий уже по телефону мне все изложил. Во всяком случае, главное.

В этот момент щелкает дверная ручка, и я слышу го-

лос Корецкого: «Входите, Иван Тимофеевич». В комнату протискивается кряжистый, бритоголовый, моих лет человек с рабочими, неотмываемыми от масла и смазки руками. Он явно не знает, куда их девать: в карманы неудобно, за спину несподручно, по швам не положено. Ему бы гаечный ключ да пассатижи в привычные пальцы, а тут приходится, как газетчику, рассказывать да писать. Иначе что же будешь делать в следственном кабинете.

— Бугров Иван Тимофеевич,— представляется он.

БУГРОВ ВСПОМИНАЕТ

Мы сидим с Бугровым друг против друга: он в кресле, я за письменным столом на своем месте, которое охотно уступил мне Корецкий. Ермоленко с Корецким тоже присутствуют.

— Ну что ж, начнем, Иван Тимофеевич,— говорю я, включая магнитофон.

Бугров смущается.

— Я ведь уже рассказывал все, как было, товарищ следователь, товарищу Ермоленко рассказал. Боюсь, как бы не напутать чего.

— А вы не бойтесь, Иван Тимофеевич,— успокаиваю я его,— рассказ ваш нам очень пригодился, а сейчас я официально допрашиваю вас, как свидетеля по делу Волюшина-Гетцке, военного преступника, выдающего себя за гражданина СССР Михаила Даниловича Сахарова.

— Закурить можно? — спрашивает Бугров, неловко шевеля пальцами: ему явно не нравится слово «допрашиваю».

— Курите и не смущайтесь. Вы самый главный, самый нужный для нас свидетель, именно ваши показания и помогут нам окончательно изобличить вражеского лазутчика. Вот взгляните, пожалуйста.— И я показываю ему фотокарточку псевдо-Сахарова из арбатской комиссии.— Он?

Бугров пристально рассматривает снимок.

— Похож,— говорит он,— и все-таки это не Сахаров. Не Миша Сахаров, которого я знал и любил. Что-то не

то, чужое. Не могу понять что, но лицо другое, не сахаровское.

— Где вы познакомились с Михаилом Даниловичем?

— В седьмом бараке лагеря для советских военнопленных в горной Словакии, в районе Гачево-Мяты. Было это в августе или сентябре сорок четвертого года. В конце лета. Сахарова вместе с транспортом других заключенных перевели из концлагеря, эвакуированного в связи с наступлением Советской Армии. Выглядел он измученным, но держался бодро. Не то чтобы страха или подавленности, даже душевной тоски, которой там многие наши болели, я у него не заметил. Вот эта внутренняя гордость советская, которую не истребили ни унижения, ни каторжный труд, и возмущала лагерное начальство. Из пяти месяцев пребывания в лагере он половину в карцере просидел. Только однажды вдруг что-то переменялось.

— В нем?

— Нет. В отношении к нему. Меньше стали придирались на выработке, меньше теребили в бараке. Он сразу подметил перемену и сказал мне: «Не к добру это, Ваня. Должно быть, отправят скоро в небесную райхсканцелярию». Однажды наш капо, подлец из уголовников, дезертир из штрафной роты — Мохнач мы его называли,— направляет его к коменданту. Конец, думаем. Жду его, а сердце болит: увидимся ли? А он и вернулся. «Ну что, спрашиваю, били?» — «Нет, говорит, пальцем не тронули. Только непонятный был разговор: пытали меня о том о сем, а зачем, неизвестно». И рассказал, что сначала нечто вроде медицинского осмотра прошел. Всего осмотрели, а шрам на лице даже сфотографировали — именно шрам, а потом уже все лицо и в фас и в профиль, хотя карточки наши в лагерной картотеке уже имелись. А тут даже в рот заглянули, все зубы пересчитали, какие остались. И всё требовали: говори правду, а не то в расход. Может быть, они и по-другому это называли, это я Мишины слова по-своему переиначиваю, а смысл тот. Все, чтобы по правде. Сахаров, конечно, удивляется: «Зачем все это вам? «Если шпионом хотите сделать — не выйдет. Родину не продам». А они смеются: «Нет, шпионом ты нам не нужен, просто мы ищем среди вас людей, которых Советская власть оби-

дела». — «А меня, — говорит Сахаров, — она не обижала ни в школе, ни на работе». — «На какой, спрашивают, работе?» Миша ответил им по правде: правда ведь не предательство. И про школу сказал, что ни завуч, ни учителя ему ничего плохого не сделали. «А может быть, ты просто не учуял, какой на самом деле завуч и какие учителя?» Сахаров даже обиделся. «Прекрасные, говорит, учителя», и всех их назвал, и по хорошему о них сказал все, что вспомнил. «Так, может быть, спрашивают, родные тебя обижали?» — «А родных никого у меня нет, — говорит Сахаров, — кроме матери. Строгая, говорит, была, резкая, шалостей не прощала, но мать — это мать, и обижаться на нее не следует». Тут они, как он рассказал, потрепали меж собой по-немецки и сказали, чтобы в барак возвращался. «Не нужен ты нам такой, на Советскую власть не обидчивый».

Бугров глубоко вздыхает и задумывается. Мне не хочется перебивать его: рассказывал он подробно и красочно. Механика подготовки будущей трансформации Пауля Гетцке становилась все более ясной. Сахарова поймали на крючок его бесхитростной прямоты, его неистребимой привязанности к Родине и выудили у него все, что им нужно было знать о его прошлом. Но это был только первый акт подготовки.

— А кто был на этом допросе в комендатуре, Сахаров не рассказывал? — спрашиваю я у Бугрова.

— Сейчас уже не помню, — признается он. — Кажется, кто-то из лагерного начальства и какие-то чужие штурмфюреры — не знаю я их званий, — те же бешеные собаки в черных мундирах. Сахаров только вскользь о них упомянул, уж очень удивил его самый допрос.

— А после допроса что было?

— Ничего. Все как будто по-прежнему. Та же мука мученическая на выработке и в бараке, тот же брандахлыст на еду, та же солома на подстилку. А когда его в карцер опять посадили, Миша даже обрадовался. «Слава богу, говорит, никаких перемен не будет». Вернулся он дня через три, вид прежний, как у загнанной кобылы, чуть с ног не валится, только с лица опять смурной, недоверчивый. «Не пойму, Ваня, говорит, их механики. И карцер не прежний, теплее как будто, и солома на полу, да и не один я в карцере, а с парнем, одних лет со

мной, — в плен попал, говорит, под Харьковом. С тех пор, как и я, в лагерях мытарится. Штангу до войны выжимал, а сейчас, смеется, вешалкой стал». Про вешалку, я понимаю, он для красивого словца сказал, потому что, по словам Миши, выглядел, по нашему положению, сытно. Миша даже подумал, что подсадную утку ему подкинули, а потом усомнился. На побег не подговаривает, о товарищах не расспрашивает, а болтает все о родной Одессе-маме, где он родился и вырос. О школе рассказывает, об улицах, о море, даже скумбрию копченую вспоминал. Ну, Сахаров и отошел. Тоже стал вспоминать и о доме рассказывать. Не понравился мне этот разговор в карцере: зря говорил Миша, расчувствовался. А вдруг все-таки одессит этот действительно утка подсадная. Но Сахаров не поверил. «А что, говорит, он от меня выведал? Как я пять двоек за один день домой принес, как на рынке мясо рубить учился — где костец, где огузок — или как у матери цветные карандаши стащил да на рынке продал. И, честно говоря, Ваня, это я матери соврал, что карандаши продал, а на самом деле одной Верке подарил — на костылях она ходила, поездом ногу отрезало. Да только одесситу этого не рассказал, не захотелось как-то. Вот и вся моя информация — поди, мол, стучи. Нет, говорит, Ваня, не стукач он, не паразит, а такой же, как и мы, горемыка».

То, что рассказал сейчас Бугров, бесценно, и я немедленно его прерываю:

— Давайте уточним, Иван Тимофеевич. Итак, Сахаров рассказал одесситу про пять двоек, заработанных за один день в школе, про то, как мясо рубить учился и как цветные карандаши у матери стащил и на рынке продал?

— Точно.

— А вам сказал, что карандаши не на рынке продал, а больной девочке подарил?

— Точно. Именно так и сказал.

— Ну, а потом?

— Потом страшно было. Два десятка заключенных из нашего барака, в том числе и меня с Мишей, включили в партию смертников. Значит, так...

Я слушаю тихий рассказ Бугрова не прерывая. Не новая, но всегда страшная история массового истребле-

ния людей, у которых уже отняли все, кроме жизни. Теперь отнимали и жизнь. Печей в лагере не было, захоронение в скальном грунте требовало больших запасов взрывчатки, сжигать штабелями тоже было невыгодно: человек горит долго, нужно топливо, а горючее в «третьей империи» уже стали в те дни экономить. Предназначенных к ликвидации наиболее истощенных и уже неспособных к работе людей пересылали специальными эшелонами в концлагерь побольше, где и сжигали их в специально оборудованных лагерных топках. В такой транспорт попали и Сахаров с Бугровым. Он рассказывал об этом нескладно, но образно. Я почти сам ощущал эту грохочущую тьму на колесах, смрад от набитых на грязных нарах, как спички в коробке, невымытых, некормленных, нездоровых людей, их тяжелое свистящее дыхание, эту мучительную ломоту в костях, ледяной холод нетопленного в январскую стужу вагона. Я почти видел вырезанную самодельным ножом дыру в основании вагона, ее полублуждающие, полублуждающие края, ее рябющую пустоту, позволявшую человеку броситься в межрельсовую гремющую тьму, не зацепившись за края выреза. Кто-то не рискнул броситься: слишком страшно, да и все равно помирать. Кто-то прыгнул не раздумывая по той же причине: все равно помирать. Выпрыгнуть из вагона удалось всем рискнувшим — охрана ничего не услышала и тем более не увидела в темноте безлунной январской ночи, но спаслись далеко не все. Многие так и остались лежать на скальном грунте. Бугров ушибся, но встал, нашел без памяти лежавшего Сахарова; к счастью, и тот ничего не сломал и не вывихнул. Потом к ним присоединились еще четверо, и всю ночь шли они по горной тропе ощупью, цепляясь за кусты и спотыкаясь о камни. Двух в темноте потеряли — должно быть, свалились где-то без сил, а остальные еще полдня карабкались по горному обледеневшему склону, пока не наткнулись на партизанский патруль. Обогрелись, привыкли, прижились. Мало-помалу преодолели и языковой барьер, благо язык-то ведь тоже славянский, что-то в нем и так было понятно, без перевода. Воевали умело, профессионально, заслужив одобрение и уважение новых друзей. Эту часть рассказа Бугров почти скомкал, даже на скороговорку перешел, и его можно было понять: вой-

на всюду одинакова, если ею движет ненависть к твоим поработителям. Что ж тут размазывать: кто был на войне, знает.

— Вы и в отряде вместе держались, Иван Тимофеевич?

— Точно. Всегда рядышком, как свояки.

— Ну и как, грустил он по дому, вспоминал что-нибудь?

— Кто из нас не грустил тогда, товарищ следователь? За тысячу верст от дому — заплачешь, когда друзей да любимых вспомнишь. У меня вот невеста была...

— А у Сахарова?

— Не было у него невесты. Рассказывал, что всегда был замкнутым парнем, рос с книжками, а не с девушками. Нравились ему какая-то дивчина в полку, но даже ее имени не назвал.

— А о матери вспоминал?

— Не было у него матери.

Я недоуменно переглядываюсь с Ермоленко и Корецким. Реплика Бугрова настораживает. Что он хочет этим сказать?

— А эта, которая в Апрелевке, не мать, а мачеха. Мать-то от родов умерла, а в метрику соседку вписали, учительшу. Как и почему это вышло, Сахаров не знал. Может, потому, что учительша эта за его отца замуж хотела выйти и ребенка на свое имя взяла, чтоб привязать крепче. Жадная до денег всегда была, а отец Миши много зарабатывал на фабрике граммофонных пластинок. От мальчишки все скрыли; так бы и не узнал, если бы не случай. Разбирал, говорит, на антресолях старые отцовские бумаги и нашел письмо его из больницы к жене. Заражение крови у него тогда определили, оттого и умер. А в письме написал, чтоб мальчишку берегла, правды ему не открывала, что, мол, это и ему и ей хорошо. У него будет мать, а не мачеха, а у нее — сын, на которого в летах опереться можно. Миша даже зубами скрежетал, когда рассказывал...

Ценность того, что говорил Бугров, определялась не новизной или неожиданностью, а тем, что он полностью раскрывал характер Анфисы Егоровны Сахаровой и психологические мотивы ее преступления. Не только жадность к деньгам побудила ее признать сыном чужого и,

несомненно, опасного человека, и не только его вероятный шантаж утвердил ее в этом признании, но и трезвый расчет, что ее слово — слово матери — всегда будет решающим в споре о личности сына, но и равнодушие к судьбе пасынка, который, как она знала от Гетцке, был сожжен в топке гитлеровского концлагеря вместе с очередной партией смертников. А то, о чем ни она, ни Гетцке не знали, теперь знали мы.

— А не говорил ли вам Сахаров, как она реагировала на его открытие?

— Он не сказал ей: испугался, что выгонит. А куда ему деваться в пятнадцать лет без паспорта и без денег? Так и жили, как кошка с собакой: она помыкала, он терпел. Потому и просил меня ей передать, чтобы подарков не ждала от него, а я, честно говоря, был даже доволен, что не застал ее в Апрелевке, когда приезжал к Хлебникову. Ну, а рассказывать ему обо всем не стал: не близкий он Сахарову человек, не его дело.

— Значит, псевдосын так и не знает, что он псевдопасынок? — говорит Корецкий.

Я доволен.

— Еще одно преимущество в нашей беседе с Анфисой Егоровной. — Я смотрю на часы — половина девятого. Есть шанс, что еще успею попасть в Апрелевку и наверняка застану ее у телевизора.

— Магнитофон возьмете?

— Зачем? Мы просто поговорим. По душам. А магнитофон включим, когда мадам будет у нас на допросе сидеть.

Я без плаща, в штатском, даже без головного убора. Самый подходящий вид для разговора по душам с «пиковой дамой».

ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

Большая комната, зеленый торшерный сумрак, цветной экран телевизора, обстановка «жилой комнаты», чешская или финская, не знаю, но, по-видимому, не так давно купленная. Хозяйка дома стоит передо мной в длинном домашнем халате, высокая, голубовато-седая,

как говорят, хорошо сохранившаяся для своих лет, но очень уж прямая и угловатая. Невольно вспоминаешь ермоленковский образ «палки от щетки» — именно палка, вешалка, Полли-параллелограмм — половая щетка, сказочно превращенная в заводную старуху из детской книжки о семи мудрых школярах. Лицо строгое, даже суровое, с синеватой складкой ненакрашенных губ и действительно пронзающими насквозь глазами. Она возвращает мне мое служебное удостоверение и не играя в безразличие, а искренне безразлично спрашивает:

— Где же ордер?

— Какой ордер? — недоумеваю я.

— На арест или на обыск.

— Вы меня не поняли, Анфиса Егоровна. — Я стараюсь быть любезным, но не слишком, а с оттенком деловой суховатости. — Я к вам по делу, очень важному и для меня и для вас, визит неофициальный, необходимость поговорить.

— Значит, допрос?

— И опять ошиблись, Анфиса Егоровна. Просто разговор по душам, без протоколов и записей. Виноват, что потревожил вас поздно, но вы, как я вижу, еще не ложились спать. И телевизор включен. Кстати, вы его выключите, он нам не понадобится.

— Тогда снимите пиджак и садитесь к столу.

— Зачем же пиджак? — удивляюсь я. — Неловко как-то, я в подтяжках, неэстетично. Да у вас и не жарко.

— Но и не холодно. И пусть без эстетики, зато без всяких записывающих приборов — не знаю, что у вас там в карманах. Повесьте пиджак вон на тот гвоздик, от стола подальше.

Я повинуюсь и возвращаюсь к столу; хорошо еще, что подтяжки импортные — белые, как у гимнастов на снарядах: этаким пожилой тренер между двумя занятиями.

— Что же вас интересует? — спрашивает она, оставаясь и на стуле такой же прямой и жесткой. Великолпно «держит спину» — сказал бы о ней хореограф.

— Меня интересует ваш сын после его возвращения с войны, с первого появления в этом доме, с первых минут вашей встречи.

— Я бы хотела знать, почему это вас интересует.

— Я объясню несколько позже. А сейчас попрошу ответить: как прошла ваша встреча? Сразу ли вы узнали его? В чем-то он изменился, что удивило или смутило вас? Каков был, так сказать, эмоциональный тонус этой минуты?

Она недоуменно пожимает плечами.

— Станный вопрос. Очень странный. Встретились, как мать и сын после долгой разлуки. Эмоциональный тонус? Смешно. Я уже и на возвращение его не надеялась. А что удивило? Ничего не удивило. Ну, повзрослел, почернел, отрастил бороду, но как может близкий человек остаться неузнаваемым?

Я вспоминаю слова Ермоленко о двуличности Сахаровой и об ее «речевой манере» с подделкой под народный говорок. Двуличность сразу же подтверждается: речевая манера уже совершенно другая. Сейчас это действительно бывшая учительница, трезво мыслящая, с быстрой реакцией и привычной ей речью вполне интеллигентного человека. Ермоленко она не разгадала, а я ей сразу открылся, ну и сообразила, конечно, в какой манере ей вести разговор.

О Ермоленко, между прочим, и она вспомнила.

— О встрече с сыном я уже, кстати, рассказывала. Спрашивал меня тут один. От вас или из газеты.

— Возможно. Только нынешний ваш рассказ странно не совпадает с рассказом вашей соседки, Аксеновой. Она была невольным свидетелем этой встречи — выстиранное белье развешивала на смежном заборе. По ее словам, вы встретили сына на крыльце, удивленно спросили: «Что вам угодно?» «Мама! — воскликнул он. — Я же Миша, неужто не узнала?» Вы долго всматривались, не спускаясь вниз, потом сказали: «Странно. И голос не узнаю». — «Это у меня после контузии», — пояснил он, взбежал по ступенькам, обнял вас и втолкнул в дверь. Аксенова твердо уверена, что все произошло именно так.

— А вы знаете, что такое Аксенова? Первый клязун и доносчик в поселке. Ее кляузы уже надоели всем и в милиции и в райкоме.

— Зачем же ей лгать в данном случае? Никакого смысла и никакой выгоды.

— Смысл один — сделать гадость, — брезгливо цедит

Анфиса Егоровна. — И едва ли вас украшают поиски информации на помойке. Да и зачем, собственно, эта информация? Почему ваше ведомство интересуют такие детали, как радостный смех или возглас удивления при встрече? И какая разница в том, узнала ли я сына сразу или спустя две минуты, на крыльце или в доме?

И тут я наношу ей свой первый удар:

— Потому что мы располагаем сведениями, что ваш так называемый сын, Михаил Данилович Сахаров, совсем не то лицо, за которое себя выдает.

Она не удивлена, не испугана, только чуть-чуть вздернула брови. Великолепная выдержка, вероятно, заранее обусловленная. Получила телеграмму от Сахарова и соответственно подготовилась.

— Для серьезного разговора, по-моему, совершенно несерьезна постановка вопроса. Вы говорите матери, что ее сын не сын, а чужой дядя. Цирк.

Отвечаю тем же:

— В основе вашей бравады — неправда. Человек, который называет себя Сахаровым, во-первых, не Сахаров, во-вторых, не ваш сын.

— Бред. Я не слепа, не глуха и психически нормальна.

— И все-таки не вы его мать.

— А кто же, по-вашему? Рискнете солгать?

— Рискну сказать правду. Нам известна его настоящая мать. Это Мария Сергеевна Волошина. Живет в Одессе и может дать показания.

Сахарова по-прежнему «держит спину». Ни тени смущения.

— Значит, еще не дала показаний. И не даст, если не идиотка. Проиграет иск в любой судебной инстанции. Конечно, я понимаю, что спрашиваете здесь вы, а не я. Но разрешите все-таки спросить: что общего у взыскания алиментов с задачами государственной безопасности?

— Речь идет не о взыскании алиментов, что вы сами прекрасно понимаете, — говорю я, вкладывая в слова всю необходимую здесь суровость. — Речь идет о розыске давно известного нам военного преступника Волошина-Гетцке.

— Не знаю такого. — Голос ее чуть-чуть хрипнет.

— Вполне вероятно, что такого имени вы и не знаете. Наша обязанность вам это разъяснить. Гражданин СССР, проживающий в Москве с паспортом Михаила Даниловича Сахарова и называющий себя вашим сыном, на самом деле Павел Волошин, русский по национальности, одессит по месту рождения, эмигрант по личному выбору, нацист по убеждению, сумевший сменить русскую фамилию Волошин на немецкую Гетцке, гауптштурмфюрер по званию в годы немецко-фашистской агрессии, гестаовец по месту работы и палач по званию, на совести которого сотни жертв — повешенных и расстрелянных, угнанных на каторжные работы в Германию и просто замученных пытками в одесском гестапо. Еще в конце войны была подготовлена переброска Волошина-Гетцке в СССР под видом бывшего военнопленного Сахарова, что и удалось ему при вашем вольном или невольном содействии.

— Но где же тогда мой настоящий сын? — Она задает этот вопрос с легким оттенком иронии, так, чтобы вы не подумали, что она вам поверила.

Но я уточняю и уточняю.

— Гетцке и его хозяева полагают, что Сахарова сожгли в лагерной топке. Его и должны были сжечь. Но ему удалось обмануть палачей и бежать. О побеге случайно никто не узнал, а его, истощенного и больного, подобрали и вылечили партизаны Словакии.

— Он жив?

— К сожалению, убит.

— А почему я должна этому верить?

Я вынимаю уже известные мне фотокарточки из папки Корецкого — снимки Сахарова, средний и крупный план, и обелиск с его именем на Братиславском шоссе.

Она долго и внимательно рассматривает фотографии.

— Может, это какой-нибудь другой Сахаров? Может быть, даже не русский, словак? Тут написано не Михаил, а Михал.

— Так его называли в отряде.

— Еще раз повторяю: почему я должна этому верить?

— Дополнительные аргументы потом. Прежде всего сходство.

— Оно не убеждает. Похож, но не очень.

Я кладу перед ней снимок Сахарова из комиссионки.

— Этот более похож?

— Конечно. И шрам заметнее.

— А если этот шрам только результат косметической хирургии?

— Докажите.

— В свое время и это будет доказано.

— В свое время. А пока вы ничем не доказали, что этот Сахаров с памятника и есть мой настоящий сын. Кто, кроме матери, может знать это? Чей голос для правосудия будет весомее ее голоса?

— Есть такой голос, Анфиса Егоровна. Не обижайтесь, есть. Голос близкого друга и боевого соратника. Есть свидетель, лично знавший Михаила Даниловича, знавший все о нем и о вас, — друг, которому ваш сын перед своим последним боем поручил разыскать вас в Апрелевке и передать свой прощальный привет. Неужели же вы и теперь не верите?

Она молчит. Глаза опущены. Лихорадочно подыскивает новый контраргумент или готова сдаться?

Нет, не готова.

— А этот свидетель уже видел моего Мишу?

— Пока еще нет. Но, несомненно, увидит.

— Это у вас называется очная ставка? Допустим, что она состоится. Допустим, что ваш свидетель не узнает в моем сыне своего Сахарова. Но кому же поверит суд? Родной матери, знающей своего сына добрых полсотни лет, или какому-то постороннему человеку, рассказывающему байки о другом постороннем человеке, лично мне неизвестном, но почему-то именуящим себя моим сыном? Может быть, кому-то в лагере было выгодно назваться Сахаровым? Может быть, мое имя, адрес и какие-то детали биографии сына он узнал от него самого. А если все это лишь авантюра, смысл которой сейчас уже едва можно раскрыть? Где-то убит и похоронен неизвестный мне человек под именем Сахарова. Есть его имя на камне и свидетельство другого неизвестного мне человека. Но почему я должна верить, что убит и похоронен мой сын, когда он уже четверть века живет и работает рядом? Смешно. У живого человека появился мертвый двойник. Человек-невидимка. Поручик Кижее,

— У этого поручика вполне реальная внешность, так что не будем гадать, кому поверит или не поверит суд,— говорю я, укладывая фотокарточки в папку.

— Хотите чаю? — вдруг спрашивает она. — Я сейчас подогрею чайник. Он еще теплый.

— Не откажусь. Разговор наш не окончен.

— А зачем его продолжать? Не к чему. Попьем чайку и расстанемся. Мне вы ничего не доказали. Доказывайте на суде.

И тут я наношу ей второй удар:

— На этом суде вы не будете ни истцом, ни свидетелем. Вы будете сидеть на скамье подсудимых рядом со своим так называемым сыном.

— Это угроза?

— Зачем? Просто предупреждение о том, что на основании не убедивших вас доказательств мы предъявим вам обвинение в укрывательстве государственного преступника.

Я думал, что она испугается, хотя бы вздрогнет. Но она только смотрит на меня в упор немигающими злыми глазами. Какая сила воли у этой женщины и как боялись ее, должно быть, и дети и учителя.

— Прежде чем предъявить обвинение мне, вы должны арестовать моего сына, предъявив обвинение ему. А если вы добиваетесь от меня выгодных вам показаний, значит, оснований для его ареста нет.

— Ваши показания могли бы только ускорить дело, а оснований для ареста у нас достаточно.

— Каких? Что у вас есть, кроме этих не убеждающих фотографий, сплетен соседей и сомнительного свидетельства о бывшем русском военнопленном, явившемся в партизанский отряд без документов, назвавшемся именем Сахарова и не оставившем после своей смерти никаких юридических доказательств того, что он якобы говорил вашему подставному свидетелю?

Не сдается старуха. Может быть, я ошибся, неверно повел разговор, допустил какие-то просчеты, чего-то не предусмотрел? Сахарова по-прежнему убеждена, что ее материнский авторитет прикрывает ее Гетцке несокрушимым щитом. Ну что ж, попробуем еще раз крепость щита.

— Хотите доказательств? — говорю я очень спокой-

но. — У нас их много. Кроме не убедивших вас, но вполне убедительных для прокуратуры, есть данные графологической экспертизы, подтверждающие идентичность почерков гестаповца Гетцке и работника московского комиссионного магазина Сахарова. Да и сам Волошин-Гетцке уже опознан тремя участниками партизанского подполья в оккупированной Одессе, в том числе и мной лично, его бывшим одноклассником и жертвой его гестаповской активности. Мало того, он и сам узнал меня и в разговоре со мной откровенно и цинично признался в том, что вы его верный друг и союзник.

— И этому тоже прикажете верить?

— Пока я вам ничего не приказываю.

— А разговор, конечно, протекал без свидетелей и никак не записывался?

— Как и наш с вами.

Она усмехается.

— Что ж, продолжайте.

— Все это бравада, конечно, — он напуган. Об этом говорит и его отчаянная телеграмма вам. Не делайте удивленных глаз, мы знаем ее содержание и знаем, что вы ее получили. Поэтому и ваше упорство не удивляет. Оно вытекает из того, что произошло между вами.

— Вы, как господь бог, все знаете.

— Если не знаем, так догадываемся. Хотите, я вам расскажу, как вы стали его сообщницей? Сначала вы его не узнали: борода, голос, глаза, манеры — все другое. Не мог так перемениться мальчишка, ушедший из дома пять лет назад. Но он напомнил вам многое, чего не мог знать никто другой, кроме Миши. Смеясь, он вспомнил о пяти двойках по всем предметам за один день, о том, как разделял говядину и свинину на рынке, как продал там украденные у вас цветные карандаши...

— Вы действительно бог.

— Всё совпадает, да? А между прочим, Сахаров все это сам рассказал Волошину-Гетцке, посаженному к нему в лагерный карцер. Многое рассказал о себе, и эти байки в частности. Только не все рассказал: карандаши, например, не продал, а подарил больной девочке. Так что мы знаем даже больше, чем ваш псевдосын. Вас подкупил его рассказ, а главное, подарки — два чемодана

продуктов и тряпок. Вот тут-то и погасли ваши сомнения; не все ли равно, какой сын — похожий или непохожий, зато щедрый и уважительный. О вражеском лазутчике вы даже и не подумали: «шпионская» литература еще не появилась тогда на книжном рынке. А когда сомнения вновь возникли и укрепились, было уже поздно: щедрый сын предстал в роли умудренного шантажиста. На явку с повинной вы не решились и потянули лямку сообщницы. Страх заглушил последние остатки совести: вы понимали, что Гетцке не пощадил бы свое прикрытие, если б хоть чуточку в нем усомнился. Вот вам и сказка о доброй бабушке и тароватом волке.

Она отодвигает чашку с остывшим чаем и встает из-за стола такая же прямая и угловатая.

— Кстати, последний поезд уже ушел. Интересно, как это вы будете добираться.

— У меня машина.— Я тоже встаю.

— Где сейчас Миша?

— На теплоходе. Завтра мы с ним увидимся.

— Передайте привет от матери.

И тут я наношу ей последний удар:

— А не от мачехи?

Она вскрикивает:

— Что?! — И вскрик этот ломает «палку от щетки», спина уже согнута, голова ушла в плечи.

— Вы же не родная мать Михаилу Сахарову, и он знал об этом.

— Неправда!

Она потрясена. Для нее уже ясно, что мы многое знаем, и продолжать лгать рискованно. В глазах откровенный испуг, может быть, потому, что открыта не столь существенная для нее, но, как ей казалось, наиболее сокровенная тайна.

— К сожалению для вас, правда, Анфиса Егоровна. Михаил прочел письмо отца из больницы, которое тот писал вам перед смертью,— холодно разъясняю я.

Вздых облегчения:

— Этого письма давно уже нет.

— Но еще живы соседи, которые знают, как было вписано ваше имя в свидетельство о рождении Сахарова. Легко узнать и о смерти его настоящей матери.

Мы оба молчим: она — взволнованно, я — выжида-

тельно. Наконец она подыскивает какие-то нужные ей слова.

— Допустим, что вы правы. Но какая разница для вас, сын он мне или пасынок? Я его с пеленок вырастила.

— Разница есть, увы. И неожиданная для вас. Подлинный Сахаров знал об этом, а фиктивный не знает. Так что подумайте обо всем, Анфиса Егоровна. До свидания.

Она останавливает меня, что-то решившая, снова спокойная.

— А свидание это состоится, вероятно, у вас на Лубянке?

Я не разубеждаю ее.

— Вот тогда и поговорим. Я буду отвечать, а вы — записывать. А разговора по душам, извините, не вышло. Считайте, что его не было.

Меня она не провожает. Я иду по дорожке к калитке с угнетающим чувством не проигранного, но и не выигранного сражения. Не буду же я уверять генерала в том, что это победа.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Но генерала уверять не приходится.

— Конечно, это совсем не победа,— резюмирует он мой доклад.

Генералом мы его зовем за глаза, а в глаза — Алексеем Петровичем. Нас же он называет по-разному. Меня — Романычем (столько лет прослужили вместе!), Корецкого — по фамилии, Ермоленко, как младшего,— просто по званию. Когда сердится, по званию обращается ко всем подчиненным.

Сейчас он не сердится. Он размышляет.

— Ты рассчитывал на большее, но расчет обернулся просчетом.

— Не раскололась старуха,— вставляет Ермоленко.

— Не люблю жаргона, старший лейтенант. Избегайте его хотя бы в моем присутствии,— морщится генерал.— Но кое-чего мы все-таки добились. Сахарова сму-

щена, пожалуй, даже испугана. Доказательств так много, и весомость их столь ощутима, что отвергнуть их с маху трудно. И прочность «материнского авторитета» уже не кажется ей такой уж бесспорной. В конце концов, она не дура и, конечно же, понимает, что ей грозит. Кстати, в обоих случаях — признается она сейчас или позже — ответственности за укрывательство Гетцке ей все равно не избежать. Это она уже поняла. Но понимает и другое. Даже если мы и докажем сообщничество, она в любом суде добьется смягчения приговора: обманулась, мол, сходством, сыновней почтительностью, его знанием их довоенной жизни. Ей и о шантаже говорить не нужно. Если Гетцке ее не продаст, то версия «обманутой матери» пройдет даже у самого строгого прокурора: много ли можно требовать от старого человека, особенно когда ему уже семьдесят с лишним лет. Так зачем же признаваться сейчас, когда мы сами даем ей отсрочку? Преступник еще не арестован, может быть, ему посчастливится скрыться. Ведь не исключена такая возможность. Даже вы сами об этом подумали, ну а ей и бог велел. Скроется Гетцке — «обманутая мать» обманет любого следователя.

— Значит, Алексей Петрович, ты считаешь, что я допустил просчет, раскрыв перед ней все наши карты?

Снова морщится генерал:

— Опять жаргон... Какие карты? Мы не пульту расписываем. Ты просчитался в цели, а не в средствах. Средства правильные. Откровенный разговор, систематизация доказательств, точный анализ соединенного — и цель достигнута. Только не та цель. Ты рассчитывал сразу закончить дело. Одним росчерком. А дело-то далеко не закончено. В нем, как в драматическом произведении, есть своя завязка, экспозиция, кульминация и развязка. Мастерски проведено следствие. В пять дней подошли к кульминации. Но развязки еще нет. И где ее сделать, когда и как — вот об этом и надо думать.

У Ермоленко уже готов ответ:

— Где? Здесь. Летим в Новороссийск, берем Сахарова. В Москве допрос. Медицинское исследование происхождения шрама. Опознание. Очные ставки.

— С кем? — спрашиваю я.

— Хотя бы с Волошиной и Бугровым.

— Волошину я бы не стал беспокоить. Я хорошо знаю Марию Сергеевну. Она нам не поможет. Не подпишет смертный приговор сыну. Я как-то вспоминал уже о матери из притчи о суде царя Соломона. Почти параллель. Только методы нашего правосудия отличны от методов библейского мудреца.

— Резонно, — поддерживает меня генерал. — Кстати, от нее уже получен ответ. Я перехватил его, не обижайтесь. Волошина из двух Сахаровых выбрала оценщика из комиссии: именно он, по ее словам, больше похож на ее сына. Но категорически подтвердить тождество отказалась: борода, шрам, тридцать лет не видела, привыкла к мысли, что он погиб, и все такое прочее. Для нас существенна лишь первая реакция — почти опознала сына в нашем бородатом клиенте. На большее рассчитывать не приходится. Да и без Волошиной у нас достаточно объективных свидетельств. А с Бугровым так: сначала арест Сахарова, а потом очная ставка?

Я много думал об этом. Арестованный Гетцке станет отчаянно обороняться. Будет психологически настраиваться. Продумает все возможные просчеты своей легенды, все неожиданные ходы следствия, все вероятные данные экспертиз. Подготовится к любой очной ставке, какие теоретически могут быть предугаданы. Его знали в Одессе, видели в лагере, изучали на проверке после возвращения из плена. Кто-нибудь уцелел из его гестаповской агентуры, жив кто-то из сахаровских довоенных друзей, однополчан, лагерных однобарачников. На допросах и очных ставках Гетцке будет психологически вооружен и на встрече с Бугровым найдет защиту. Нашла же ее Сахарова, не раздумывая опорочившая и сына и его боевого товарища. Гетцке же наверняка придумает еще более тонкий и расчетливый ход. Значит, встречу с Бугровым в интересах следствия лучше будет провести до ареста. На теплоходе. В самую неподходящую минуту, когда Пауль психологически расслабится. Такую минуту можно заранее подготовить, а ее эмоциональную окраску симпровизировать. Тут и должен сыграть свою роль, не может не сыграть эффект неожиданности. Психически неподготовленный, расслабленный, не ожидающий коварного удара, Пауль сразу окажется в нокдауне.

Так я и поясняю свой план генералу.

— Добро,— ободряет он меня,— есть резон.

— Есть еще резон, Алексей Петрович. Но у нас с Корецким тут согласия нет. Майор предлагает арестовать Сахарова на теплоходе сразу же после очной ставки с Бугровым.

— А ты возражаешь?

— Возражаю. И вот почему...

— Погоди,— останавливает меня генерал и к Корецкому:— А где вы держать его будете?

— На теплоходе найдем помещение, Алексей Петрович.

— А где охрану возьмете?

— Там у нас два оперативных работника из батумского управления.

Генерал задумывается и снова ко мне:

— А почему возражаешь?

— Эффект неожиданности смутит Сахарова. Не исключена возможность его ошибки. Может быть, даже роковой. Но вероятность такой ошибки можно сделать оптимальной. Я предлагаю отсрочить арест до прибытия в Одессу. Сбежать ему некуда — от Новороссийска до Одессы нет остановок. А на борту круглосуточное наблюдение. Два батумских чекиста дежурят по очереди.

— Слишком уж хитроумная затея. И что она даст?

— Капкан. Он уже растерян, психически подавлен и напуган. В Батуми пытался всеми способами попасть в Москву раньше нас. Чтобы встретиться с Сахаровой, может быть, даже ликвидировать ее и скрыться — в Москве у него, вероятно, есть такая возможность. Но оперативность и находчивость батумских товарищей предотвратила побег. А вчера я предупредил, что в случае появления его на берегу он будет немедленно взят под стражу. Так что пребывание его на борту теплохода пока гарантировано. Но отсрочка ареста дает и надежду. Он великолепный пловец и вблизи берегов Одессы может рискнуть вплавь добраться до любого из прибрежных городков или поселков, а там поездом или с попутной машиной скрыться где-нибудь поблизости, может быть, даже податься в глубинку. Шанс, конечно, минимальный, один из ста, но он обязательно им воспользуется: он у него единственный. Тут-то мы его и возьмем

тепленьким, у самых поручней, даже намочнуть не дадим.

Корецкий уже не спорит, и «добро» генерала завершает наш военный совет. Утро уже позади, до отлета самолета часа полтора, решаем встретиться и пообедать на аэровокзале.

Бугров дремлет за столом, мужественно прогоняя сон кофе и сигаретами.

— Не выспался,— извиняется он,— плохо спал на новом месте. Бессонница.

— В самолете выспишься,— утешает его Ермоленко.

В самолете наши места не рядом, поэтому инструктирую Бугрова тут же за обедом:

— На теплоходе, как только войдете, Иван Тимофеевич, подымайтесь лифтом на полубу салонов, смело шагайте по коридору до первой открытой двери. Это или курительная или бар. Там мы вас и найдем, пока не обеспечим места для вас и Ермоленко. Запомните твердо: на теплоходе мы не знакомы, не замечайте меня и не подходите, пока я не позову вас сам. Связь поддерживаем через Ермоленко.

К теплоходу на причал в Новороссийске прибываем в пятом часу. Жарко. Летнее кафе морвокзала почти пусто — кто-то скучно сосет мороженое. Только у грузовых отсеков нашего черно-белого красавца рабочая суeta. Грузовые лебедки тянут на тросах какие-то контейнеры и бочки. Плывут в воздухе «Москвичи» и «Волги» пассажиров — их переправляют после вояжей с кавказских дорог через Новороссийск в Одессу. У поручней на верхних палубах теплохода никого — послеобеденный отдых.

Подымаюсь на лифте один, оставляю следующую кабину Ермоленко и Бугрову. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Только бы не налететь на Тамару или Сахарова... Но путь свободен. Ермоленко не дожидаясь — он сам найдет батумских товарищей, все координаты у него есть — и, стараясь как можно осторожнее и быстрее проникнуть в наш каютный коридор, который, к счастью, пуст, как в вагоне ночью, подхожу к двери своей каюты. Нажимаю ручку — заперто.

— Кто? — слышу я голос Галки из-за двери.

— Здесь живет фрейлейн Костюк из городской упра-

вы? — вспоминаю я пароль нашей одесской подпольной группы.

Дверь открывается, и я попадаю в объятия Галки.

— Пospел все-таки!

— К развязке спектакля, — уточняю я.

Новороссийск — Одесса

КАПКАН

Обмениваться впечатлениями уже некогда, так как Галка сразу же ошарашивает новостью. На мой вопрос, где Сахаров, она делает круглые глаза и хватается за голову.

— Сахаров здесь, но Тамара сбежала.

— Как сбежала?

— Он перехитрил нас. Послал Тамару в Москву.

— Когда?

— Должно быть, утром. После завтрака. Уже за обедом он появился один и доверительно сообщил, что Тамара получила телеграмму о болезни матери и вылетела из Новороссийска в Москву. На самолет он ее не провожал — наверное, помнит твое предупреждение, но о телеграмме соврал. Я просила капитана проверить, была ли такая телеграмма, оказалось, что не было. Но факт остается фактом: Тамара уже в Москве.

— Еще не в Москве. Первый рейс, с которым она могла улететь, что-то около трех. Успеем.

Отправляюсь в радиорубку и по радиотелефону соединяюсь с Москвой. Корецкого нет, но я добываю самого генерала.

— Алексей Петрович, промашка. Ругаться будете потом — времени мало. Пока ближайший самолет еще не прибыл из Новороссийска, необходимо послать людей встретить Тамару Сахарову и проследить ее путь из аэропорта. Брать ее, пожалуй, не стоит. Нет основания, да и бесполезно. Пусть себе едет в Апрелевку. Анфиса Егоровна уже все продумала и соображает, что спасать надо себя, а не Сахарова. Если же Тамара поедет по другим адресам, пусть проследят все и отметят, не изме-

нилось ли что-нибудь на дверях и окнах ее квартиры. Может быть, поручение Сахарова предусматривает и перспективы пока еще неизвестных нам его связей в Москве.

Генерал молчит несколько секунд — видимо, сдерживается.

— Хорошо, — говорит он замороженным голосом. — Других промашек нет?

— Пока нет. Поторопите людей, Алексей Петрович! — выпаливаю я.

Продолжать разговор уже незачем — у генерала времени в обрез. А я иду к капитану. К счастью, ждать его не приходится — он у себя.

— Привет болящему, — смеется он, — как идут дела?

— Семь футов под килем. Много было хлопот?

— Какие же это хлопоты? Доктор сразу вошел во вкус — сыграл роль, как в Художественном театре.

— Его все-таки побеспокоили?

— Несколько раз. Ваш подопечный все время добивался свидания. Но эскулап был неумолим.

Мне смешно.

— А жена была цербером?

— Зачем? Вы же «лежали» у нас в лазарете. Разве она вам не сказала?

— Мы еще не успели поговорить. Потребовался срочный разговор с Москвой. Значит, я был на «госпитальном» режиме?

— В отдельной каюте, благо никого в лазарете не было. А медсестра дежурила в предбаннике.

Я не очень доволен: еще один человек знает.

— Ничего не поделаешь, — улыбается капитан, — спектакль потребовал многих актеров.

— Когда у вас закрываются бары? — спрашиваю я.

Капитан несколько удивлен:

— В двенадцать. А что?

— Можно закрыть один пораньше? То есть не совсем закрыть, а для пассажиров. Бармен уйдет, а мы останемся.

— Понимаю. — Капитан задумывается, мысленно подбирая для нас подходящее помещение. — Крайний бар без курительной. Последний по левому коридору. Вывеска: «Близ Диканьки». Идет?

— Идет.
— Когда?
— Часов в десять-одиннадцать, когда вам удобнее.
— Хорошо. Я скажу бармену. Он оставит вам ключ.
Много вас?
— Я да он, да еще трое. Почти джаз-оркестр, только без музыки.
— Надеюсь, и без стрельбы?
— Что вы, капитан! Это только генеральная репетиция.

После разговора с капитаном разыскиваю Лежаву. Он выходит из бассейна в халате и мокрых плавках. Развлекается, черт! Но оказалось, что не развлекается.

— Порядок, товарищ полковник. Я с ним Нодию оставил. Оба ныряют.

— Не заметил слежки?

— По-моему, нет.

— Что-то не верится. У него гестаповская выучка.

— Так мы для него все на одно лицо. наших ребят из Грузии здесь полно. Любимое грузинское развлечение летом — батумский круиз.

— А как он себя ведет?

— Беспокойно. Часто ссорится с женой. Почему-то уединяется. Пьет.

— А жену вы проморгали.

— Так вы же сами, товарищ полковник, исключили ее из наблюдения.

— Знаю. Мой промах. А за Сахарова вы в ответе. За каждый шаг. Сегодня вечером после отплытия из Новороссийска, часов в одиннадцать, будьте оба у бара «Близ Диканьки». Держитесь рядышком, не заметно, но так, чтобы я мог позвать вас в любую минуту.

Остается Галка, и все происходившее на теплоходе в мое отсутствие будет выяснено. Галка ждет на шлюпочной палубе против нашей каюты.

— Как прошел ужин вчера, когда я уехал?

— Сахаров не явился. Пришла одна Тамара с растекшимися ресницами и распухшими веками. Говорит, что поссорились. Я посочувствовала и, воспользовавшись настроением, поинтересовалась ее семейной жизнью. Обеспечены они вот так, — Галка подносит два пальца в горлу, — но атмосфера дома ненастная. Живут

замкнуто, дома у них, кроме Томкиной клиентуры, никто не бывает; у нее самой какие-то пашни, но Сахаров смотрит сквозь пальцы: либо это его не интересует, либо устраивает. Лишь недавно у него появился какой-то свой круг знакомых, преимущественно мужчины; уверяет, что всё это нужные ему люди, но где он встречается с ними, Тамара не знает, говорит, что не знает. Но мне кажется, что-то все-таки связывает их, кроме брака. Во всяком случае с недавнего времени. А пить он начал только здесь, на теплоходе, что крайне удивляет Тамару: в Москве она этого не замечала. В общем, две разных жизни, в чем-то, конечно, связанные, кроме брачных уз, но, должно быть, совсем, совсем недавно. Какой-то потаенный страх сквозит в словах Тамары, а раньше — я ведь ее давно знаю — никогда этого не замечала.

Я пропускаю мимо ушей все сказанное Галкой. Сейчас меня интересует другое.

— Когда ты увидела Сахарова?

— Сегодня за обедом. По-моему, он был даже рад, что Тамара уехала.

— Радость понятна. Только это ему уже не поможет.

— Подвел итоги?

— Подведу сегодня вечером.

— Тебе сейчас нельзя выходить из каюты. По-моему, он поверил, что ты болен.

— Поверил или не поверил, это уже не имеет значения. Операция заканчивается.

— Где?

— «Близ Диканьки». Есть такой бар на теплоходе. Поближе к двенадцати ночи. Ты не ходи.

— Я понимаю, что доктор Ватсон тебе уже не нужен.

— Не обижайся, Галчонок. Ты свое дело сделала.

— А если он вооружен?

— Ты думаешь, у нас дуэль? «Возьмем Лепажа пистолеты, отмерим тридцать два шага...» Нет, Галка, только психологический этюд. Последняя встреча школьных друзей.

— Время неподходящее. В двенадцать бары уже закрываются.

— Наш будет открыт до утра. Так что не жди меня ночью. — Я обнимаю ее за плечи и добавляю: — А теперь пойду искать школьного друга.

Галка не понимает:

— Зачем?

— Надо же предупредить его о вечере на хуторе «Близ Диканьки».

Я нахожу его за бассейном в шезлонге, на заходящем уже за море солнце. Он сидит голый, в одних плавках и больших черных очках. Я присаживаюсь на корточки рядом и спрашиваю:

— Отдыхаешь?

Он молниеносно оглядывается по сторонам, не слышит ли кто-нибудь, и, убедившись, что рядом никого нет, усмехается:

— Как видишь. А тебе ведь следует в лазарете лежать.

— Отлежался.

— Ой ли?

В этом «ой ли» я слышу нескрываемую иронию. Значит, не верил и не верит.

— А ты, пока я болел, уже вышел на связь?

Он снимает очки и смеется:

— Ты о жене?

— В Москву послал?

— Ага.

— Не поможет.

— Утешайся, если ты уже с ордером.

— Пока еще нет. Ордер будет в Одессе.

— Не надейся. В любом суде проиграешь.

— Поживем — увидим. А пока поговорить треба.

— О чем?

— Узнаешь.

— А если откажусь?

— Не откажешься. Не в твоих интересах.

— Допустим. Но не здесь же.

— И не сейчас. Есть бар в конце коридора. Рядом с музыкальным салоном. Скажем, в половине одиннадцатого. Свидетелей не будет. Кто в кино, кто на концерте. Самое подходящее место для randevu. А что нам нужно? Бутылку пива или пару коктейлей.

— Не нравится мне все это.

— Не нравится, когда надевают наручники. А для этого, к сожалению, еще не пришло время.

Теперь он уже откровенно хохочет.

— Признаешься в бессилии?

— Пока — да. Пока.

— Ну что ж, поговорим, если тема подходящая. Какой бар? «Близ Диканьки»? Страшная месть, да?

— Еще не страшная.

— Ладно, приду.

Теперь я отправляюсь на розыски Ермоленко и Бугрова. Оба отсыплются в отведенной им каюте. Вскрикивают как по команде.

— В половине двенадцатого уйдет бармен, и войдете вы. Ермоленко — в роли сопровождающего без слов. Вы, Иван Тимофеевич, только отвечаете на мои вопросы. «Видели вы?» — «Нет, не видел». — «Знаете ли?» — «Нет, не знаю». И так далее в том же духе. Никакой самостоятельности. Ни слова о Сахарове, о лагере, о партизанах, о войне. Пусть не знает, кто вы и откуда. Твердо запомните. Это приказ. Ясно?

— Точно, — чеканит Бугров.

— Не подведете?

— Не подведу, товарищ полковник.

— Добро, — копирую я генерала.

Новороссийск — Одесса

«БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

Длинный узкий коридор пуст. Лишь в конце его в дверях музыкального салона, откуда доносится чье-то микрофонное пение, маячит Нодия в сером костюме. Его никак не примешь за сыщика. С тоненькой стрелкой усов и модными бачками, молодой развлекающийся грузин, каких десятки среди пассажиров. Он стоит вполоборота к невидной из коридора эстраде так, что вход в интересующий меня бар остается в поле его зрения. Лежавы еще нет. Должно быть, он придет позже, чтобы не бросаться в глаза.

Я смотрю на часы: двадцать минут одиннадцатого. Прошло около часа после отплытия, теплоход уже в открытом море, далеко от Новороссийска. Чтобы предотвратить возможность побега, когда мы еще не удали-

лись от берега, проинструктированный мною Ермоленко в полной форме дежурил близ каюты Сахаровых. Но судя по тому, что Ермоленко с «поста» не отлучался, крамольных мыслей о побеге у Гетцке не было, и в четверть одиннадцатого я, как было условлено, отправился в бар.

Признаться, у меня не было полной уверенности в удаче. Галка так и сказала: «Прав твой Корецкий. Нечего было церемониться здесь с опознаниями, а снять его с теплохода в Новороссийске и отправить под стражей в Москву». Но очень уж соблазнял «эффект неожиданности». В случае успеха он обеспечивал нам полную и безоговорочную победу, почти обезоруживал противника и вдребезги разбивал «материнский авторитет». Возможно, я недооцениваю изворотливости и вооруженности Пауля: а вдруг он все-таки отразит мой психологический натиск? Развязка близка, но так не хочется ее отдалять.

С тайной тревогой я и вхожу в полутемный бар. Пауль уже здесь, один-одинешенек в далеком уголке за зеленой лампой. Перед ним уже ополовиненная бутылка армянского коньяка с парадом из звездочек. Слова Тамары о том, что он непривычно много пьет, и количество выпитого меня успокаивает: значит, нервы у него не выдерживают.

— Как видишь, я более чем точен,— говорит он.

— И даже успел заправиться.

— Присоединяйся...

— Спасибо. Предпочту пиво.

— Поединку пиво не поможет. Слабеешь.

— Наш поединок начался не сегодня,— парирую я.

— А ты уже попросил подкрепления: поставил пост у моей каюты. Думаешь, сбегу? Куда?

— Теплоход велик. Поди прочеши эту громадину — хлопот не оберешься.

— А зачем это мне? Бегут из безвыходного положения. А в безвыходном положении ты, а не я.

— Почему?

— Хочешь арестовать, а не можешь. Придется потом выпускать с извинениями. Это полковнику-то! Не по чину.

Он явно издевается. Не хочется отвечать: не базар.

— Я ведь знаю, что ты не болен,— продолжает он,— и на теплоходе не был. Даже доктора в игру втянул.

Я лаконичен:

— Допустим.

— Доказательства добывал? Где, в Москве или в Одессе?

— А может, в Берлине.

Его глаза суживаются, как две щелочки. Удивлен или испуган?

— А что в Берлине?

— Скажем, Герта Циммер.

Вздых облегчения. Почти неслышный, но все же явственный.

— Нет давно уже Герты Циммер. Провоцируешь.

— А твои письма к ней?

— И писем нет. Ни одной строки. Даже подписи.

— А фото на Балтийской косе с дарственной надписью?

Он ставит недопитый бокал на стол. Стекло подозрительно звякает.

— Значит, она его не сожгла?

— Увы.

— Просчет,— цедит он.— Только почерк сейчас у меня другой. Да и писал я тогда по-немецки.

— Экспертиза подтвердила тождество.

— Экспертиза не безгрешна. А в Одессе у меня чисто. Архивы вывезены, агентура уничтожена.

— Есть свидетели.

— Кто? Ты — следователь. Тебе даже дело мое вести не положено. Отведу по личным соображениям. Жена твоя не годится по тем же мотивам. Кто же остается? Тимчук?

— Кстати, Тимчук опознал тебя с первого взгляда.

— К старости память слабеет. Да и Тимчук человек замаранный. На двух хозяев работал. Кому суд поверит: бывшему полицаю или родной матери?

Я смотрю на бармена. Облокотясь на стойку, он читает книгу. Значит, нет еще половины двенадцатого. Надо уйти с одесской темы.

— А ты так уверен в показаниях Сахаровой?

— Ты не знаешь Анфисы Егоровны,— улыбается он.— Это же Васса Железнова. Кремень.

Не следует рассказывать ему о моей беседе с Анфисой Егоровной. Пусть надеется. Это его единственный шанс уйти от разоблачения. В моих интересах сейчас даже укрепить эту веру — тем беспронимательнее будет мой план.

— Да,— притворно вздыхаю я,— допустил промах, проворонил Тамару...— Мельком бросаю взгляд на часы:— Теперь она уже, к сожалению, в Москве.

— В Апрелевке, кавалер Бален-де-Балю. Твоя шпи-га опять сломалась. Интересно все-таки, на что ты надеешься?

— На количество доказательств. Как тебе известно, оно всегда переходит в качество.

— Я не марксист, а прагматик. Верю только в реальные силы и реальные обстоятельства.

— Помню, ты так же рассуждал и в Одессе, когда собирался с моей помощью выловить всю нашу подпольную группу.

Он благодушно отхлебывает коньяк. Сейчас он совсем расслабился.

— А ведь ты должен быть мне благодарен, старый приятель. Я мог тогда серьезно испортить твою красоту.

Я столь же благодушно парирую:

— Твою красоту никто не испортит. Разве только чуть похудеешь в тюремной камере.

Бармен уже убрал все бутылки и уходит, оставляя ключ в замке. Пауль оглядывается:

— Кажется, бар уже закрывают. Сейчас нас выгонят.

— Погоди. Именно сейчас и начнется самое интересное.

В бар входят Ермоленко и Бугров.

Пауль вскакивает.

— Сядьте, гражданин Сахаров,— говорю я официально тоном,— мы вас долго не задержим. Подойдите, Иван Тимофеевич.

Бугров подходит ближе, Ермоленко остается поодаль.

— Вы узнаете этого человека, гражданин Сахаров? — спрашиваю я.

Сахаров недоуменно пожимает плечами.

— В первый раз вижу.

Теперь я обращаюсь к Бугрову:

— А вы его знаете, Иван Тимофеевич?

— Никак нет, товарищ полковник.

— И никогда не видели?

— Никак нет, товарищ полковник.

— Вглядитесь получше.— Я поворачиваю настольную лампу так, чтобы Бугров мог лучше разглядеть лицо Сахарова.— Не узнаете?

— Не узнаю, товарищ полковник.

— Ну что ж...— вздыхаю я.— Вы свободны, Иван Тимофеевич. Ермоленко, проводите товарища в его каюту и возвращайтесь сюда.

Оба уходят.

— Что это было? — спрашивает Геттке. Он больше удивлен, чем взволнован.

— Неудавшаяся «экспертиза»,— говорю я.— К сожалению, тебе везет, Пауль. Наш свидетель не опознал в тебе гауптштурмфюрера Геттке.

Он хохочет. Хохот нервный, почти истерический, но все же хохот.

— Смеяться рано,— строго говорю я.— Мы еще не в Одессе. А пока можешь идти. Пост у твоей каюты я снимаю.

Он хочет что-то сказать, потом молча допивает коньяк в бокале, театрально раскланивается и говорит:

— Благодарю.

И уходит.

Я остаюсь. Пиво уже выпито, а остатки коньяка меня не прельщают. Мне противно даже прикоснуться к бутылке, которую Пауль трогал своими руками. Я размышляю. Верно ли был разыгран придуманный и продуманный мной эпизод? Верно. Все произошло именно так, как было рассчитано. Это не очная ставка, а инсценированная, камуфлированная очная ставка, и Иван Тимофеевич вел себя точно так, как я его инструктировал. Важно было, чтобы Павел поверил. Он, по-моему, поверил. Я прочел это не только в его глазах, но и в торжествующем его хохоте и в издевательском театральном прощании.

Ермоленко возвращается с бутылкой пива, захваченной из другого бара.

— Что будем делать, Александр Романович?

— Ждать.

— Я все-таки не понимаю, почему вы так провели очную ставку?

— Это была не очная ставка.

— А что?

— Розыгрыш.

— Шутите.

— Ну, если хотите, маневр. Отвлекающий ход. Сначала я предполагал действовать, как мы решили в Москве, но мне пришла в голову мысль: ошеломить Гетцке, убедить его, что мы на ложном пути. Мне показалось важным, чтобы он поверил, что идет опознание не военнопленного Сахарова, а гауптштурмфюрера Гетцке и что опознание это не удалось. Конечно, можно было бы разыграть этот спектакль, не таскив с собой Бугрова, он бы сделал свое дело и в Москве, но так уж случилось, что мне пришлось в голову все это уже не в самолете. И я выиграл: Гетцке поверил... Поверил в нашу неудачу, в то, что мы смущены и растеряны. Фактически мы дали ему отсрочку, возможность действовать.

— Как?

— Он уже давно напуган, Ермоленко. В миссию жены он не верит. На непреклонность Сахаровой уже не надеется. Еще в Батуми он понял, что избалован, что мы ищем каких-то последних решающих доказательств. Точки над «i». Сейчас он почти убежден в том, что мы этой точки поставить не можем, ждем до Одессы. В Одессу мы прибываем под утро, значит, еще до рассвета он попытается обмануть нас и скрыться. С пробковым поясом — а такие пояса есть в каждой каюте — марафонскому пловцу добраться до берега не составит труда.

— Рискованно, Александр Романович.

— Он в цейтноте, Ермоленко. А в цейтноте, если вы играете в шахматы, как известно, делают самые рискованные, самые роковые ходы. Вот я и жду такого хода. Помните, что я говорил генералу? Возьмем его тепленьким, даже не дав намокнуть.

— Какие будут приказания?

— Прежде всего договоритесь с электриком. Необходимо выключить свет в вестибюле и остановить лифт. До рассвета. С капитаном все согласовано. Коридор остается освещенным и просматривается насквозь. Его

блокируют с двух сторон Лежава и Нодия. Невидимые в темноте, они отлично видят дверь из каюты. Вы лично блокируете лестницу — единственный путь на нижние палубы. Я прикрываю вас из кабины остановленного лифта — дверь будет открыта. Учтите: он может быть вооружен, так что не зевайте. Уйти ему некуда.

Ермоленко уходит. До двух ночи я лежу, прикорнув на диванчике у большого стола. Теплоход чуть-чуть покачивается — трудно будет плыть даже марафонцу в такую погоду. Но я твердо убежден, что Пауль все-таки рискнет. Не будет ждать до Одессы. И, наверно, догадывается о капкане. На что я рассчитывал бы в его положении? На свою силу и ловкость, на быстроту реакции, на оружие, наконец. Хотя он и ехал в свой туристский рейс, не ожидая разоблачения, привычка иметь оружие у людей его профессии — вторая натура. А я обещал капитану, что стрельбы не будет. Кто знает, может быть, обойдемся и без стрельбы, — нас все-таки четверо.

Два часа — минута в минуту. Я выхожу и поднимаюсь по лестнице в затемненный вестибюль на шлюпочной палубе. В темноте натыкаюсь на прижавшегося к стене человека.

— Ермоленко? — спрашиваю я шепотом.

Он шепчет в ответ:

— Тсс... в кабину лифта нельзя. Она остановлена этажом ниже.

Косяк света из коридора тускло очерчивает какую-то тень. Лежава или Нодия? Я не вижу — значит, не видит и он. Поднимаюсь ступенькой выше и занимаю пост на лестнице, ведущей наверх, в капитанское царство. Пауль туда не пойдет — слишком высоко, — но пост удобен: в двух шагах дверь на подветренную галерею, к поручням еле-еле освещенной шлюпочной палубы.

Медленно, жестоко медленно тянется время. Начинает ломить ноги, как бывало, когда стоял на часах. Ермоленко не шелохнется, Лежава или Нодия — тоже. Молодежь — не те кости, не тот вес.

Где-то в коридоре еле слышный щелчок. Кто-то повернул ручку двери, кто-то почти бесшумно шагнул из каюты. Я говорю «почти», потому что улавливаю даже шелест шагов в резиновых тапочках. Шаг — замер, еще

шаг — опять тишина: ждет, не раздастся ли где-нибудь подозрительный звук. Наконец в тусклом косяке света появилась смутная фигура в купальном халате. «Почему в халате?» — мелькнула мысль. Но соображать было некогда. Тень из угла вестибюля — Лежава или Нодия — метнулась навстречу. Человек в халате отскочил, выбросил вперед руку с черным предметом в кулаке. Пистолет? Но выстрела я не услышал — только негромкий щелчок, Лежава или Нодия откинулся со стоном, закрывая лицо руками. Я не считал секунд, но мне показалось, что мы с Ермоленко бросились к выходу из коридора одновременно. Черный предмет в руке человека в халате снова щелкнул, но промазал: Ермоленко успел ударить противника головой в грудь и тут же отлетел, отброшенный сильным пинком ноги. Но я уже вцепился сзади, выворачивая руку с неизвестным оружием. Человек в халате вскрикнул от боли и выронил его на пол. Однако и я не остановил его: руки обхватили что-то жесткое, облегающее тело под халатом, и халат остался у меня в руках, а человек выскользнул и метнулся к двери на палубу. Тут его и настиг добежавший из коридора второй наш наблюдающий, и удар тяжелым пистолетом по голове свалил стрелявшего на пол.

Я освещаю фонариком вестибюль. Гетцке лежит на полу голый, в одних плавках, толстом пробковом поясе, помешавшем мне обхватить его, и с самодельным полиэтиленовым рюкзаком на спине, в котором, наверно, упакована одежда. Лежава стоит согнувшись, протирая глаза рукой.

— Ранен? — спрашиваю я.

— Кажется, нет. Но не могу открыть глаз. Жжет.

Ермоленко поднимает с пола короткоствольный, почти игрушечный пистолет и говорит с уважением:

— Заграничная штучка. Стреляет ампулами со слезоточивым газом. Чуете, как глаза щиплет, а Лежава получил полный заряд в лицо.

Сеанс, как говорится, окончен. Нодия помогает Лежаве добраться до бара и промыть глаза. Мы с Ермоленко тащим бесчувственного Гетцке на диван, где я провалялся до двух часов ночи, снимаем пробковый пояс и кое-как натягиваем на лежащего куртку и брюки, спрятанные в полиэтиленовом рюкзаке. Там же деньги

и документы на имя Сахарова — видно, не предусмотрел необходимости запастись фальшивым паспортом.

— Надень ему наручники и прикрой халатом, — говорю я Ермоленко. — Сейчас очухается...

Двадцать пять минут третьего. Меньше получаса потребовалось для развязки операции, начатой шесть дней назад. Шесть дней розысков, междугородных переговоров, психологических поединков, морского и воздушного бояжей и одной рискованной схватки. Разве выразишь в этом коротком перечне все, что было пережито в эти тревожные дни! Если бы не удар Нодии, Гетцке еще мог бы попытаться уйти. Но не ушел бы!

Я все рассчитал точно, кроме халата, из которого он так удачно выскользнул почти у самой двери на палубу. В общем, капкан захлопнулся. Все.

Пауль открывает глаза, удивленно оглядывает окружающих, пробует двигать руками, скованными наручниками, поправляет плечами с трудом напаянный нами пиджак. Говорить он не может или не хочет, только опускает веки, чтобы не видеть нас.

— Дайте ему коньяку, — говорю я.

Он сжимает зубы и отворачивается. Халат сползает, обнажая волосатую грудь. Как жалко выглядит человек, обманом проживший тридцать лет.

— Конеч, Пауль, — заключаю я. — Белые начинают и выигрывают.

По коридору слышатся чьи-то шаги. Теплоход просыпается.

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

В Одессе, что уже согласовано с капитаном, мы сходим первыми, как только опускается трап. Впереди Ермоленко, за ним Лежава и Нодия, поддерживая под руки опустившего голову Сахарова, который теперь уже не Сахаров, а Волошин-Гетцке, последним я, сразу падающий в объятия «Тараса Бульбы».

— Спиймали все-таки того чоловика! — радостно возвещает он.

— Поймали, Тим.

— Значит, на вареники ко мне не поедешь?

— Не поеду, Тим. Приедешь ты ко мне. Вызовем для опознания.

Волошина уводят к ожидающей нас тут же на причале машине.

— Проводи Галку. Тим,— говорю я.— Пусть ожидает меня в аэропорту.

— До побачення,— кивает он.

Еще одно прощание с прошлым, а впереди уже разговор с генералом, с которым соединяюсь по ВЧ.

— Поздравляю, Романыч,— слышу я в ответ на мой краткий доклад,— а у нас тоже хорошие новости...

Я жду продолжения.

— Сахарова все-таки явилась с повинной, твой ночной разговор ее доконал. Все подтвердилось. Ты как в воду смотрел.

— Задержали?

— Зачем? Показания записали. Все ясно. Никуда она не сбежит и от суда не уйдет. Только в строгости приговора я, честно говоря, сомневаюсь.

— А как с Волошиным?

— Проще простого с Волошиным. Дело доведет Ко-рецкий. Вот так.

Я не могу скрыть разочарования.

— Почему он, а не я?

Генерал долго молчит. Я слышу, как он постукивает пальцами о стеклянную доску стола.

— У тебя другая задача, Романыч,— наконец говорит он.— С Волошиным, по сути дела, все уже кончено, а вот Тамара Сахарова по возвращении домой сняла медную дощечку с двери. Не случайно сняла, ты сам предполагал нечто подобное. Мы, конечно, вернули дощечку на свое место, и теперь в квартире наши люди. Ищем связей и безусловно найдем. Вот ими ты и займешься. Только это, конечно, другое дело.

Генерал прав. Это уже совсем другое дело.

В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ

Фантастическая повесть



1

Олег устал. Выбрался наконец на узкую просеку, перекрытую черно-белым шлагбаумом поваленной березы. Еще полчаса — и он дома. Остановился, закурил, пряча в ладонях синий огонек зажигалки.

Морсящий с утра дождь вдруг кончился или, вернее, прекратился, прервался — на час, на день?

Олег откинул промокший капюшон штормовки, сел на поваленный ствол, с наслаждением затянулся кислотным дымом «Памира». В радиусе ста километров не было лучше сигарет, да и зачем лучше? А пижонская Москва с ее «кентами» и «пэлмэлами», далекая и нереальная Москва — не более чем красивое воспоминание о чьей-то чужой жизни. О жизни веселого парня по имени Олег, который вот уже четвертый год учит физику в МГУ, любит бокс, и красивую музыку, и красивые фильмы с красивыми актрисами, и не дурак выпить чего-нибудь с красивым названием...

Ах, как красива жизнь этого парня, как заманчива, как увлекательна! Позавидуешь просто...

Олег сидел на мокром стволе, курил «Памир», завидовал потихоньку. Дождь опять заморосил, надолго повис в красно-желтом, обнаженном лесу: холодный октябрьский дождь в холодном октябрьском лесу. Октябрь — четвертый месяц практики. Еще две недели, и нереальная Москва станет родной и реальной. А прозрачным и чужим станет этот лес на Брянщине, сторожка в лесу, до которой полчаса ходу, и старковский генератор времени, так и не сумевший прорвать барьер

между днем сегодняшним и вчерашним, непреодолимый барьер, выросший на оси четвертого измерения.

Олег усмехнулся забавному совпадению: четвертый месяц четверо физиков пытаются пройти назад по четвертому измерению. Если бы изменить одну из «четверок», может быть, и удалось бы великому Старкову доказать справедливость своей теории о функциональной обратимости временной координаты. Но великий Старков, отягощенный неудачами и насморком, не верил в фатальность цифры «четыре», сидел в сторожке, в который раз проверяя расчеты. Бессмысленно, все бессмысленно: расчеты верны, теория красива, а временное поле не появляется. Вернее, появляется на какие-то доли секунды! И летят экраны-отражатели, расставленные по окружности с радиусом в километр, а центр ее — в той самой сторожке, где сейчас сопит злой Старков, где Димка и Раф продолжают бесконечный (почти четырехмесячный!) шахматный матч, куда Олег доберется через полчаса, не раздеваясь плюхнется на раскладушку и... сон, сон до утра, тяжелый и крепкий сон очень усталого человека.

Настройку экранов выверяли по очереди примерно два раза в неделю.

Два пи эр — длина окружности с радиусом в километр — шесть с лишним километров, да еще километр туда и километр обратно, и по сорок минут на каждый экран; вот вам пять потерянных часов от обеда до ужина. И так — четвертый месяц...

Олег выкинул окурочек, надвинул капюшон, зашагал по мокрому ковру из желтых опавших листьев, по мокрой черной земле, по лужам, не выбирая дороги. Все равно всюду, как в песне: «Вода, вода, кругом вода». И холодные капли по лицу, и в сапогах подозрительно хлюпает, и если у Старкова насморк, то Олег давно уже должен схватить воспаление легких, тонзиллит, радикулит и еще с десяток болезней, вызываемых чрезмерным количеством падающей с неба и хлюпающей под ногами воды.

Они сами вызвались поехать со Старковым, никто их не заставлял, не уламывал. Однажды после лекции Старков подозвал их и спросил, как бы между прочим:

— Куда на практику, ребята?

— Не знаю, — пожал плечами Олег. — Может быть, в Новосибирск, в институт ядерной физики...

— Стоит ли... — Старков поморщился. — Проторенная дорожка.

— А где непроторенная?

— Хотя бы у меня...

Это не было самодовольным хвастовством: Старков имел право так говорить. Что ж, он поздно начал: помешала война. В сорок втором семнадцатилетним мальчишкой ушел в партизанский отряд, а в сорок пятом, уже капитаном действующей армии вернувшись из Берлина, поступил на физфак в МГУ. Вот так и шел в науке — с опозданием на четыре военных года (опять «четыре»: ну куда не уйти от этой цифры!): аспирантура, кандидатская, потом лет десять молчания — и блестящая докторская диссертация, в которой он приоткрыл тайну пресловутой временной координаты. Двумя годами позже он уже теоретически обосновал ее, прославив свое имя в скупом на восторги мире физиков. И снова молчание: Старков разрабатывал эксперимент, которым хотел подтвердить теорию, казавшуюся почти фантастикой.

Потом уже, когда они ехали в Брянск, погрузив на железнодорожную платформу генератор и детали экранов-отражателей, Старков объяснил причину своей таинственности:

— Кое-что готово, а что — неизвестно. Не хочу раньше времени будоражить ученую братию. Не получится — смолчим, спишем на «первый блин»...

«Первый блин» и вправду получился «комом». Старков мрачнел, орал на ребят, но, кажется, смирился с неудачей.

— Вернемся в Москву, доработаем. Идея верна, а где-то спотыкаемся. Помозгуем зимой, а будущим летом опять сюда. Идет?

— Идет, — мрачно говорил Олег. — Куда ж мы теперь от вас денемся...

Деваться было некуда: намертво затянуло. Казалось, они не хуже самого Старкова разбирались в теории обратного времени, что-то сами придумывали, что-то считали.

— Не зря я вас в эту аферу втянул, — радовался Старков. — Кажется, толк из вас выйдет.

— А диплом? — горячился Димка. — У нас диплом на носу!

— Считайте, диплом готов; осталось только сесть и написать — плевое дело...

У него все было «плевым делом»: пересчитать режим работы генератора, определить параметры поля, настроить экраны.

— Раз-два — и готово! Не унывайте, парни: все пули мимо нас...

Дурацкая поговорка, оставленная партизанским политруком Старковым физику Старкову, казалось, решала любую проблему. «Все пули мимо нас» — значит, все уладится. Он просто заражал своим бешеным оптимизмом даже там, где и повода для него не было. Иной раз Олег ловил себя на мысли, что потихоньку превращается в этакое бодрячка-пионера: «Все мы горы своротим, если очень захотим». Понимал бессмысленность этого ничем не оправданного оптимизма, понимал отлично, но противостоять ему не мог.

Есть такой термин: гипноз личности. Так вот, личность Старкова была настолько гипнотична, что для сомнений просто не оставалось места. А честно говоря, и времени: работа съедала весь скудный запас, отпущенный человеку в сутки, минус восемь часов на сон.

Олег усмехнулся: а что же еще можно придумать? Кино в лесу нет, танцев тоже. Ближайшее село — семь километров пешкодралом. Летом эти семь километров не раз одолевали: посмотреть фильм в клубе или просто вспомнить, что есть на белом свете кое-что, кроме леса и физики. «Лесной физики», — шутил Старков. Он это лесное захолустье выбрал потому, что когда-то здесь воевал. Село, куда они бегали в клуб, было тогда центром, где встречались связные, откуда уходили депеши на Большую землю и где староста был партизанским выдвиженцем. Какая погода стояла тогда, Олег не знал, но теперешняя была более чем несносна. Такие условия жизни должны приравняться к особо трудным, тут не обойтись без повышенных коэффициентов, всяких там «колесных», «северных» и пол-литра молока ежедневно за вредность.

За молоком ходили по очереди в то же село — раз в неделю. За молоком, за картошкой, за хлебом, за мясом

и так далее по прейскуранту местного сельпо. Прейскурант был невелик, приходилось кое-чем разжиться у колхозников: четырех отшельников уважали здесь за стойкость и «непонятность», жалели и всегда охотно им помогали.

За четыре месяца они, пожалуй, перезнакомились со всеми в деревне, благо и дворов тут было немного — десять или двенадцать. Олег подумал, посчитал в уме, вспомнил: точно, двенадцать дворов, сельпо и маленький клуб с киноустановкой — вот и все. Центральная усадьба колхоза располагалась подальше, километрах в пяти от села. Что и говорить, там и магазин был получше и людей побольше, да только физики туда не забирались. Далеко, и смысла нет. А продукты — вот они, полон лес. Бери ружье и стреляй. У Олега была старенькая «тулка». Димка щеголял дорогой ижевской двустволкой. Старков владел истинным сокровищем — карабином. А Раф охоты не признавал.

— Я в душе вегетарианец, — говорил он. — У меня на божью тварь рука не поднимается.

— Конечно, — язвил Димка, — вилку и нож ты ногой держишь. Эквилибрист...

Кстати, об охоте: погода погодой, а завтра надо бы сходить пострелять, тем более что после перенастройки экранов Старков целый день новый режим считает. Значит, карабин даст. Да и как не дать: Олег стреляет «помастерски», давно норматив выполнил. Старков сам не раз говорил:

«Ты у нас супермен, брат. Тебе бы не временем, а конем управлять. С кольцом на бедре... Вон ту шишку видишь? Собьешь ее одним выстрелом?»

Олег не отвечал, вскидывал карабин, прицеливался... Бах! — Шишка исчезала с ветки, где-то за деревьями падала на траву.

«Молодец, ковбой, — хвалил Старков. — Воевал бы здесь со мной, в отряде бы тебе цены не было. А посидим мы еще пару месяцев в этой глуши, похлеще меня стрелять будешь».

Сам Старков стрелял мастерски, почти не целясь, навскидку, по любой мишени — птица ли, шишка или подброшенная в воздух бутылка из-под пива. Олег тихо завидовал ему, но даже ради великой цели перещеголять

шефа он не согласился бы на «еще пару месяцев». Хватит и двух оставшихся недель, насиделись. До будущего лета!

В том, что будущим летом они снова вернутся в лесную сторожку, Олег не сомневался. Зимой диплом по теме Старкова, работа на кафедре и в лаборатории. Надо бы экран усовершенствовать: кое-какие идеи у Олега имелись, правда он еще не говорил о них шефу. А у самого Старкова идей полным-полна коробочка. Не исключено, что новый генератор — Старков явно не верит уже в этот старый! — заработает на другом принципе. Ну да ладно, не будем загадывать...

Олег выбрался на опушку леса к реке, свернул с просеки, двумя наезженными колесами убежавшей вдоль речки. Чуть в стороне, у некрутого обрыва, врос в землю бревенчатый дом. Олег прошел по мокрой траве к крыльцу. Долго обтирал сапоги о ржавую железку, прибитую к порогу, толкнул дверь в темные сени, с наслаждением сбросил намокшую штормовку, сапоги, в одних носках вошел в комнату.

Все было почти так, как он себе и представлял по дороге. Димка и Раф играли в шахматы, на столе у Старкова привычный беспорядок — исписанные листы бумаги, набор цветных фламастеров, логарифмическая линейка. Самого Старкова в комнате не было.

— Привет всем, — сказал Олег. — Поесть оставили?

Димка передвинул ладью и сказал задумчиво:

— В кастрюле на печке... Ты чего так долго? Шеф уже плакался...

— О чем? — удивился Олег, торопливо поглощая полуостывший борщ.

— Боялся, что не успеешь проверить экраны.

— Почему такая спешка? Закончил бы завтра...

— Завтра — опыт. В восемь ноль-ноль.

— Опять?! — Олег даже поперхнулся от возмущения. — На том же режиме? Тогда пусть он сам экраны настраивает.

— Шах, — сказал Димка. — А вот так, так и так — мат... Настраивать не придется: режим пересчитан. У шефа новая гениальная идея.

— Идея действительно неплоха, — сказал вежливый Раф. — Он нам рассказывал: ускоряем проход минус-

вектора и выигрываем стабильность поля... А мата нет. Димка: ухожу конем на эф шесть.

Димка схватился за голову:

— Где конем? Откуда конь? Ах я дурак!..

Олег понял, что от этих очумевших гроссмейстеров толку не добьешься, доел борщ и лег спать. Старый принцип, гласящий о том, что утро мудрее вечера, давно и прочно вошел в быт четырех «отшельников». Железный Старков требовал железной дисциплины, а подъем в шесть утра в эту осеннюю слякоть даже для примерного Рафа был невыносим.

Разве с нашим шефом поспоришь, думал Олег. Он если не убеждением, так силой заставит слушаться. Никакой демократии: тирания и деспотизм...

Потом он заснул, и ему снился дождь — мелкий, промозглый, мокрые листья на мокрой земле, низкое свинцовое небо и странный, словно стеклянный, воздух, в котором луч света, как в призме, ломается пополам.

2

Луч света, сломанный пополам — признак возникшего временного поля, — они уже не раз видели наяву. Да что толку: поле возникало и мгновенно исчезало, выводя из строя экраны в километре от генератора.

— Сегодня все будет прекрасно, — сказал утром Старков. — У меня предчувствие такое...

— А вы не верьте в предчувствия, — мрачно пророчествовал Олег. — Вы в статистику верьте: точная наука.

— Ставлю тебе двойку, ковбой. Напомни по приезду — впишу в зачетку. Статистика требует абсолютно одинаковых условий экспериментов. А у нас каждый раз иные...

— И каждый раз стрельба в божий день...

Старков не обиделся. Он сам любил подтрунивать над своими студентами, а к незнанию был просто безжалостен: высмеивал, не думая о последствиях. А какие последствия могут быть? Если у «жертвы» есть чувство юмора — поймет, не полезет в бутылку. А нет, так и жалеть нечего.

— В физике ко всему нужно относиться с иронией, —

любил говорить Старков,— так легче скрыть невежество и прослыть большим знатоком.

Он свято следовал этому принципу и относился с иронией ко всему, даже к собственным идеям.

— Что же касается предчувствий и пророчеств,— втолковывал он Олегу за завтраком,— то нам с вами верить в них просто необходимо. Ты историю вспомни: кто имел дело с временем? Предсказатели, прорицатели, ясновидцы. И предсказываю: сегодня опыт удастся. Не верите? Посмотрим...

И кто его разберет, шутил он или верил в свои предчувствия? Да Олег уже и не пытался разобраться в этом. «Посмотрим»,— сказал Старков. Что ж, посмотрим...

Они стащили с генератора полихлорвиниловый чехол, выверили индикаторы, подключили питание. Старков долго устанавливал настройку поля, то и дело сверяясь с записями. Потом Димка — эту почетную обязанность он с первого дня присвоил себе — торжественно зажег электрический фонарик, направив его луч туда, где должно было родиться поле обратного времени, развернуться, захватив все пространство между экранами, расставленными в лесу, и — если повезет, конечно, — продержаться хотя бы минуту: это уже будет победа!

— Готов,— сказал Димка хрипло, и Олег подумал, что он волнуется: кажется, и вправду поверил в предвидение шефа.

— Поехали,— скомандовал Старков и включил генератор.

Стрелка на индикаторе напряженности поля дрогнула и медленно качнулась вправо.

— Только бы задержалась...— умоляюще прошептал Раф.

И стрелка послушалась: застыла на секунду на первом делении шкалы, опять дрогнула и уверенно поползла вправо. Тонкий лучик карманного фонаря вдруг согнулся под тупым углом, ткнулся в пол.

— Есть поле,— снова прошептал Раф, и Олег оборвал его:

— Подожди. Смотри...

Оглушительно — так казалось Олегу — тикал секундомер: десять секунд... двадцать... пятьдесят... И случи-

лось невероятное: луч фонаря медленно передвинулся по полу, пока не вернулся в исходное положение — параллельно земле, но стрелка на шкале осталась на месте, на красной черте, говорящей о том, что поле стабилизировано.

Первым пришел в себя Старков. Нарочито равнодушно достал сигарету, закурил, сказал презрительно:

— Кто-то здесь не верил в предвидение. Не передумал?

Но Олег не желал играть в безразличность, не сдержался, стиснул Старкова в объятиях:

— Вы знали, знали, да?

— Откуда? — отбивался Старков. — Отпусти, сумасшедший!

Но на нем уже повисли и Димка и Раф, подхватили его, подбросили, подкинули еще раз. Они орали что-то нечленораздельное, бесповались, приплясывали. А стрелка по-прежнему прочно держалась на красной черте.

— Ну, все,— удовлетворенно сказал Старков, вырвавшись наконец из объятий своих «подданных». — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Броня крепка, и танки наши быстры. Пойте, мальчики, ликуйте. Сегодня вечером объявляю большой бал-маскарад.

— В честь события склею вам маску Мефистофеля,— подыграл ему Димка. — Накинув плащ, с гитарой под полюю...

А вежливый Раф поинтересовался:

— Поле сохраним или выключим?

— Сохраним,— беспечно сказал Старков. — Давайте жить в другом времени.

— А экраны? — не отступал Раф. — Полететь могут.

Старков подозрительно посмотрел на него:

— Что ты так волнуешься за экраны?

— Его очередь настраивать,— мстительно объяснил Олег.

— Чушь, мальчики, чушь! — Старков вставил в самописец новый рулон миллиметровки, еще раз поглядел на стрелку, застывшую на красной черте. — Пошли отсюда. Экраны чинить не будем: полетят — и ладно. В Москве починим. Да, — он обернулся к Рафу, — все же очередь пропускать не след: оставайся-ка ты подежурить у генератора. А через час тебя Димка сменит. Идет?

— А что вы будете делать?

— Дойдем до сельпо, купим кое-какие принадлежности для бала-маскарада.

— Шампанского возьмите,— попросил Раф, устраиваясь на единственном стуле. Перспектива просидеть этот час под крышей явно устраивала его больше, нежели путешествие под дождем в деревню.— Только не больше часа.

— Терпи, парень,— сказал ему Старков на прощанье.— Робинзонада подошла к счастливому концу. Я же говорил: все пули мимо нас.

Разве мог знать провидец Старков, что его любимое присловье обернется для них в этот день странным и реальным кошмаром?

3

В сторожке Димка набил рюкзак пустыми бутылками. Олег вооружился спортивной сумкой. Старков — по праву именинника — шел налегке.

Они пошли вдоль реки, чтобы — по предложению Старкова — осмотреть экраны и понаблюдать за поведением возникшего возле них поля.

— Не за час, так за два обернемся,— сказал Старков.— А с Рафом ничего не случится — подождет; я ему детектив оставил. Жгучие тайны Питера Чини.

Дотошный Олег приступил к выяснению подробностей удавшегося наконец эксперимента.

— Вот скажите мне,— рассуждал он,— если поле стабилизировано, то в каком времени мы сейчас живем? Если в сегодняшнем, в нашем, то, значит, поле никак не влияет на настоящее. А я склонен предположить именно это...

— Почему? — полюбопытствовал Старков.

— Сторожка на месте. Пустые бутылки — тоже. Мы идем в сельпо именно сегодня, а не вчера и не завтра. Лес не изменился: те же деревья, та же осень. И дождь льет тот же, что и до опыта. Логично?

— Нет, конечно. К примеру, сторожка была здесь и вчера, и год назад. И осень началась не сегодня. И дождь уже который день поливает. И в прошлом году небось

поливал. И лет десять назад. А то, что мы идем в сельпо сегодня, так это — иллюзия. Для нас — сегодня, а на самом деле — позавчера. Логично, философ?

— Но что-то должно было бы измениться,— не сдавался Олег.

— Что именно?

— Не знаю. Ваша теория, между прочим, тоже ничего здесь не объясняет,— позлорадствовал он.

— Моя теория,— наставительно сказал Старков,— говорит следующее: временное поле не меняет настоящее, тут ты прав. Но оно может приносить с собой какие-то элементы своего времени — вероятно, прошлого. Какие элементы, этого я не знаю. Вообще-то в моей теории столько «белых пятен», что ее скорее можно назвать гипотезой.— Старков поскромничал, но не удержался — добавил: — Правда, гипотезой, подтвержденной экспериментом.

Они свернули в лес, продрались сквозь кусты орешника, выбрались на узкую лесную дорогу — по ней вчера Олег добирался домой — мокрые с ног до головы: во время дождя из чащи кустарника сухим не вылезешь. Олег встряхнулся по-собачьи, выругался сквозь зубы: «Проклятая погода, проклятый лес...» — и вдруг прислушался.

— Где это?

Где-то совсем рядом, быть может метрах в трехстах, надсадно заревел грузовик. Это был именно грузовик — Олег хорошо разбирался в машинах, — и двигатель ревел потому, что не в силах был вытащить тяжелую машину из липкой дорожной грязи.

— Сели,— констатировал Олег.— Интересно, кто это?

— Пошли посмотрим,— предложил Димка.— Все равно по пути.

Они шли, хлюпая резиновыми сапогами по лужам. Димка громыхал стеклотарой в рюкзаке, что-то приглушенно насвистывая. Старков и Олег вели бесконечный теоретический спор о проблемах обратимого времени. Димку спор не интересовал, он слышал его много раз, может быть только в других вариантах, но суть не менялась.

«Псих Олег,— беззлобно размышлял Димка.— Ну чего он лезет в эту трясиину? Старков его слушает, ждет, когда он начнет захлебываться, подтащит к берегу и

опять отпускает: побулькай, малыш. У Старкова это называется «тренинг мышления». Судя по всему, я к этому тренингу абсолютно неспособен...»

Он шел впереди — Олег и Старков отстали шагов на десять, и, быть может, поэтому он первым услышал голоса людей с застрявшей машины. Машина время от времени надсадно редела; потом шофер выключал зажигание, и наступала тишина, в которую и прорвались фразы, почему-то не русские, а немецкие. Говорили не как преподавательница немецкого в Димкиной школе, а чисто.

— Пошевеливайся, скотина! — как понял Димка, кричал один, надсадно и хрипло.

И тоненько отвечал другой:

— Я послал троих за сучьями, герр оберштурмфюрер. Слышите — уже работают. Через пять — десять минут выберемся.

«В лесу раздавался топор дровосека», совсем как в знакомом стихотворении.

— Что за комедия? — обернулся Димка к Старкову. — Киносъемка, что ли?

Старков не ответил. Он отстранил рукой Димку, приложил палец к губам: молчите, мол! — прошел вперед до поворота, остановился, прислушиваясь.

Двигатель снова заурчал, и тот же баритон сказал строго:

— Не мучай машину, болван! Его величество гневается и вполне может залепить тебе пару суток карцера. Ганс с ребятами принесут сучья, и мы вылезем из этой русской грязи.

Олег и Димка с удивлением смотрели на странно побелевшее лицо Старкова: испугался он, что ли?

— Что они говорят? — спросил Олег: немецкого он не знал.

— Тихо! — вполголоса приказал Старков, и было в этом приказе что-то незнакомое, чужое: пропал Старков-весельчак, Старков-шутник, появился другой — властный и жесткий. — Тихо! — повторил он. — Назад в лес!

Они пошли за ним, подчинились — недоумевающе, молча переглядывались, продираясь сквозь мокрый кустарник, остановились у разлапистой высокой березы, еще не потерявшей желтой листвы.

— Ну-ка, быстро давай наверх! — приказал Димке Старков.

И Димка — сам себе удивлялся! — не задавая лишних вопросов, схватился за нижнюю ветку, подтянулся сквозь потоки дождя с дерева, проворно полез вверх.

— Посмотри, кто это, — сказал ему Старков, — внимательно посмотри и быстро спускайся. — Он обернулся к Олегу и пояснил: — Береза высокая. С нее всю дорогу видно: сам проверял...

Димка, уже добравшийся почти до верхушки, издал какое-то восклицание: удивился не удивился — охнул вроде. А Олег подумал, что Старков почему-то темнит — знает о чем-то, а говорить не хочет. Ну что он предполагал увидеть с березы? Застрявшую машину? Так зачем такая таинственность? Выйди на дорогу и посмотри... По-немецки они разговаривают? Ну и что? Может быть, действительно киносъемка. На натуре, как это у них называется.

Он все еще недоумевал, когда Димка буквально скатился вниз, доложил, задыхаясь:

— Две машины. Одна грузовая, фургон; она-то и села. Другая — маленькая, «газик», по-моему. Вокруг — человек двадцать. Подкапывают землю и слеги под колеса кладут. Только... — Он замаялся.

— Что только? — Старков подался к нему.

— Только одеты они как-то странно. Маскарад не маскарад...

— Форма?

Димка кивнул:

— Черная. Как у эсэсовцев. Может быть, и в самом деле кино снимают.

— Может, и снимают... — протянул Старков, замолчал, о чем-то сосредоточенно думая, медленно закурил.

Молчали и ребята, ждали решения; знали, что оно будет: когда Старков так молчал, значит, жди неприятностей — проверено за четыре месяца.

— Вот что, парни, — сказал Старков. — Может быть, я — старый осел, тогда все в порядке; а если нет, то дела плохи: влипли мы с вами в историю. Сейчас быстро идем домой, забираем Рафа и будем решать...

— Что решать? — чуть не закричал Олег.

Старков поморщился:

— Я же ясно сказал: тихо! А решать будем, что делать в создавшейся ситуации.

— В какой ситуации?

— Дай бог, чтобы я ошибся, но, кажется, наш удачный опыт получил неожиданное продолжение. По-моему, эта машина и эти люди в маскарадных костюмах — гости из прошлого. Помнишь наш спор, Олежка?

Олег вздрогнул: чушь, бредятина, не может этого быть! Прошлое необратимо. Нельзя прокрутить киноленту времени назад и еще раз просмотреть кадры вчерашней хроники. Теория Старкова верна, бесспорно, но человеческая психика — даже психика без пяти минут ученого! — не в силах поверить в ее практическое воплощение. Ну, существует же где-то предел реального? А за ним — пустота, ноль в степени бесконечность, бабкины сказки или просто фантастика.

Олег оборвал себя: рассуждает, как досужие сплетницы на лавочке у подъезда. Та же логика: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет такой формулы! Все может быть, если это «все» — наука, а не мистика. А где тогда граница между наукой и мистикой? То, что поддается научному объяснению, — наука. Удобное положение... А если завтра оно объяснит какое-нибудь мистическое явление? Мол, так и так: научное обоснование, графики и таблички, точный эксперимент — и никакой мистики. Такое бывает? Еще как бывает! Все сегодняшние достижения цивилизации когда-то показались бы мистикой даже самому просвещенному человеку. Электрическая лампочка? Ересь, фокусы! Искусственное сердце? На костер еретика-врача! Да что там ходить за примерами — временное поле Старкова тоже, в сущности, мистика. Или так: было мистикой до сего дня. А сейчас оно действует вполне реально. Вон какой подарочек принесло — берите, радуйтесь... А чему радоваться? Гостям из прошлого? Но они не знают, что попали в будущее. Да и узнали бы — не поверили! А гости, судя по всему, агрессивные. Они существуют тридцать с лишним лет назад, вешают, стреляют, поджигают. Они еще не знают, что их ждет завтра: для них — завтра, для нас — вчера. Они еще уверены в своей непобедимости и чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Они еще живут, эти сверхчеловечки из учебника новейшей истории...

— Интересно, из какого они года? — вдруг спросил Димка.

— Не все ли равно? — отозвался Олег. — Сорок первый тире сорок четвертый.

— Как раз не все равно. В сорок первом они наступали, а в сорок четвертом драпали. Есть, по-моему, разница?

В разговор вмешался молчавший до сих пор Старков:

— Разница есть, конечно, но для нас она не принципиальна. Год, вероятно, сорок второй. Я тогда партизанил в этих лесах. А каратели, может быть, те же самые, что и тогда поджигали и вешали. Главное, что это враги, мальчишки. И мы им — враги. И наплевать им, что вы все еще не родились. Попадись на глаза — пристрелят без сожаления.

— Так что же нам — прятаться и дрожать от страха? — Олег спросил это с усмешечкой, но и Старков и Димка знали его «усмешечки»: Олег медленно приходил в ярость — верный признак.

И Старков сказал спокойно:

— Прятаться — да. А дрожать от страха, ясно, не будем. У нас три ружья против тридцати автоматов. Соотношение один к десяти. А что такое дробовик против «шмайссера»? Улавливаешь?

— Не улавливаю, — зло отрезал Олег. — И с тремя ружьями кое-что сделать можно. Да и от заряда дробин в глаза не поздоровится.

— Если попадешь, — добавил Старков. — А Димка не попадет, и Раф тоже. А у меня опыт есть, простите за нескромность, и поэтому вы будете подчиняться мне беспрекословно и точно. Вот тогда три ружья смогут принести пользу. Ясно?

Ясно? Конечно, ясно, что ж тут неясного. И нельзя было не подчиниться этому командирскому тону, этой доселе не известной им воле и силе человека, который умел весело шутить и смеяться, умел петь хорошие песни и знал повадки птиц и зверья, любил читать вслух Пастернака и Блока и создавал «сумасшедшие» теории. Но, оказывается, он умел еще быть жестким и сильным, умел приказывать и заставлял повиноваться. Словом, был физик Старков. И не его вина, что он опять превратился в партизана Старкова.

— Как ты думаешь,— спросил он Димку,— долго ли они еще провозятся на дороге?

— Минут тридцать — не меньше. Может, и час. Здорово сели: больше чем на полколеса.

— Вот что,— принял решение Старков.— Лезь на елку, следи за ними и жди нас.

— Есть следить и ждать,— отрапортовал Димка, и Старков улыбнулся.

— Вольно, солдат. Не скучай. Мы быстро.

Он хлопнул Олега по спине, подтолкнул вперед, пошел следом, ступая, на зависть Олегу, почти бесшумно.

— Патроны в ящике под столом,— сказал им вслед Димка.— Берите побольше.

И Олег невольно вспомнил когда-то читанное о патронах, о снайперах, о партизанах в книгах о Великой Отечественной. Она окончилась тридцать лет назад и вновь началась для них — юнцов послевоенных лет,— началась неожиданно и страшно в мокром осеннем лесу под Брянском, который знал и помнил войну: до сих пор еще колхозные ребятишки находят то стреляную гильзу, то ржавую каску. Что ж, возможно, сегодня к их «трофеям» прибавятся и другие — поновей...

4

Раф сидел на табуретке у гудящего генератора и читал Чини, смешно шевеля губами: видимо, переводил текст. Американский сыщик Лемми Кошен успешно боролся с гангстерами вот уже семьдесят страниц, а оставшиеся сто двадцать манили Рафа нераскрытыми тайнами, отвлекая его и от воспроизведенного времени, и от своего реального. Он и забыл, что через полчаса должен смениться.

Войдя в сарайчик, Старков прежде всего взглянул на датчик: стрелка словно заклинилась на красной черте. На экране осциллографа текла ровная зеленая линия, на несколько делений выше расчетной. Поле не исчезало, однако напряженность его выросла раза в полтора. Старков, честно говоря, и не надеялся на такую удачу, когда еще планировал опыт. Но он не ждал и той беды, которую принесла негаданная удача.

Если бы его сейчас спросили, зная о возможности «пришельцев» из прошлого, начал бы он опыт или нет? Старков, не задумываясь, ответил бы: нет, не начал. Кто знает, чем грозит пришествие «гостей»? Может быть, они исчезнут так же, как появились. А может быть...

— Почему так рано? — поинтересовался Раф, отрываясь от книги.— Магазин закрыт?

— Закрыт,— сказал Олег.— Дорога к нему закрыта.

— Землетрясение? — сыронизировал Раф.— Лесной пожар? Или речка Незнайка вышла из берегов?

Старков поморщился:

— Не время паясничать. Беда, Раф...

Раф швырнул книгу на пол и встал.

— Что случилось, шеф?

— На дороге застрял грузовик с гитлеровцами,— выпалил Олег.

Раф обиделся:

— Кто из нас паясничает?

Ситуация была и вправду комична. Старков усмехнулся, сказал торопливо:

— Олег не шутит. Гитлеровцы действительно появились из прошлого. Те же, что шуровали когда-то в этих лесах.

Раф был вежливым мальчиком. Вежливым и немногословным. Когда он что-то недопонимал, он задавал вопрос, как правило, самый точный и самый нужный.

— Поле? — спросил он.

И Старков в который раз удивился его способности воспринимать всерьез то, что другой считал бы неумным и грубым розыгрышем.

— Поле,— подтвердил он.— Неожиданный «подарочек» тридцатилетней давности. Неожиданный и опасный.

Но Рафа, казалось, это не взволновало.

— Вы не предполагали такого эффекта?

— Нет,— сказал Старков.

Ему не хотелось ввязываться в теоретические рассуждения, да и времени не было, но от Рафа так просто не отделаешься: он должен сначала все для себя уяснить — подробно и точно,— а потом принять решение.

— А если отключить поле? — допрашивал он.

— Не знаю, не знаю,— быстро сказал Старков.— Не исключено, что искусственное отключение поля уберет

обратное время, но эффект «гостей» может и не исчезнуть. Не хочется рисковать.

Он так и сказал: «эффект «гостей» — и подумал, что название вполне подходит к случаю. Надо будет впоследствии «узаконить» его. И усмехнулся про себя: о чем ты сейчас думаешь, балбес ученый, когда рядом — опасность, не книжная, из детектива, брошенного на пол, а самая настоящая, стреляющая и безжалостная.

— Кончай допрашивать, Раф,— отрезал он.— Будем живы, все объясним. Нельзя выпускать их из сферы действия поля: тогда, скорее всего, они вместе с ним и исчезнут.

— Хорошее доказательство удачного эксперимента,— то ли серьезно, то ли шутя проговорил Раф.

Старков сдержался. Очень хотел дать волю если не рукам, то словам, но сдержался: не время ссориться. Пусть говорит, что хочет: мальчишка, сопляк. Умный, способный, но... все-таки мальчишка, с горем, с фанаберией. Пожалуй, для него этот день будет самым сложным — смешочками не отделаешься.

Старков сдержался, но Олег не любил и не умел прятать эмоции. Он рванулся к Рафу, схватил его за ворот штормовки.

— Думаешь, что лепишь, гад? — задыхаясь, крикнул он.— Там Димка один, а ты здесь вопросыки задаешь...

Старков взял его за руки, потянул на себя:

— Не дури. Пошли отсюда. Время дорого.

Олег неохотно отпустил Рафа, повернулся и направился к выходу. Раф одернул штормовку, пошел следом, на ходу обернулся:

— Что же вы собираетесь делать?

— Задержать их,— помедлив, ответил Старков и, словно сам себя уговаривая, подтвердил: — Вероятнее всего, они направляются в деревню. Она всегда была у них на подозрении — по личному опыту знаю. Деревня за пределами поля. А если им удастся прорваться? Кто знает, что последует. Задержать их надо во что бы то ни стало. Любой ценой.

— И надолго? — Раф уже стоял в дверях.

— Не знаю,— в который раз уже повторил Старков.

Он понимал, что эта спасительная формула еще не раз избавит его от ненужных да и маловероятных объяс-

нений. То, что они не нужны сейчас ни ему самому, ни ребятам, было ясно: обстановка требовала действий, а не рассуждений. А вот вероятность этих действий представлялась Старкову хотя и не слишком, но все же реальной. Скажем, ноль целых двадцать пять сотых — немалая цифра, как ни крути! А рассуждал Старков так: напряженность временного поля выросла из-за присутствия «гостей». Так сказать, неучтенный расчетом дополнительный фактор. «Гости» принадлежат полю. С полем появились и с полем исчезнут. Так думал Старков, во всяком случае, хотел так думать. Можно было бы попробовать, конечно, отключить генератор, как предлагал Раф, но Старков боялся: оставшиеся семьдесят пять процентов вероятности отпугивали, требовали повышенной осторожности. В конце концов, генератор не рассчитан на такую высокую напряженность: через час-два экраны начнут выходить из строя, поле исчезнет само собой, и вместе с ним, вероятно, исчезнут и «пришельцы», поскольку вне поля Старков не мыслил их существования.

А что касается вздорной мысли не выпускать их из зоны экранов, так не такая уж она и вздорная: поле полем, но не пропадут же «гости», если выйдут из него. То есть, по теории-то, должны пропасть, но уж как-то не вяжется это с реальностью. Вот вам тридцать живых и здоровых мужиков едут себе спокойненько, песни распевают и вдруг... исчезли, испарились. Ну конечно же, конечно, они существуют в *своем* времени, только в своем, а в нынешнем их нет, убиты они здесь же или где-нибудь под Орлом или Курском.

Но... И в сотый раз Старков вспоминал это проклятое «но»! А если не исчезнут? Если прорвутся? Что тогда? В нескольких километрах — деревня, еще дальше — другая. Там люди, которые ни сном ни духом не помышляют об опасности. О *такой* опасности. Они и воевать-то давно не воевали, а большинство и вообще не воевало, как Раф, Димка или Олег. Их надо предупредить, заставить поверить в реально существующую опасность, какой бы нелепой она ни казалась.

Старков прикинул: кто может пойти? Раф? Пожалуй, он справился бы с этой миссией лучше других: сумеет убедить. Но ведь он сам не очень-то верит в «гостей», куда же ему еще убеждать кого-то!..

Может быть, Олег? Нет, не подходит: не оратор. Думать умеет, стрелять умеет, работать умеет — и еще как, — а вот говорить не научился. Это ему попортит кровушки: в науке говоруны подчас стоят больше молчаливников...

Лучше всего пойти самому. Но это значит оставить трех сосунков, не нюхавших боя, на верную гибель. На *почти* верную. Бой не любит новичков, как бы храбры они ни были...

Значит, остается Димка. За это время он небось досыта нагляделся на взвод «гостей», поверил в них так, как и сам Старков. А объяснить колхозникам невероятное существование машины, воскрешающей годы войны, пожалуй, сумеет не хуже Рафа.

Но Димка умеет стрелять, а Раф — нет. Значит, все-таки Раф?..

Старков вышел из сарая, где по-прежнему гудел генератор — может быть, чуть громче, чем следовало бы! — пошел к сторожке.

Навстречу ему бежал Олег, обвешанный оружием: карабин Старкова, собственная «тулка», в руке — сумка с патронами. Раф шел сзади, перекинув через плечо двустволку.

— Ловите! — Олег на ходу кинул Старкову карабин, и тот поймал его, ощутив холодную сталь ствола.

Вот когда он вспомнил, что не охотничье это оружие — боевое. И может быть, впереди у них тот самый бой, где он будет очень кстати, этот семизарядный симоновский карабин. А может быть, боя не будет. Старков очень хотел, чтобы его не было...

5

Димка сидел под деревом и ждал. Он уже вдоволь насмотрелся на беспомощно суетящихся эсэсовцев и решил, что дальнейшее наблюдение за ними довольно бессмысленно: ну, потолкают машину, ну, земли под колеса покидают, веток, хвороста — раньше часа им все равно отсюда не вылезти. Дурак водитель затащил тяжелую машину в заведомо непролазную грязь. Небось начальство не наградит его за это Железным крестом. Как там

у них делалось? За провинность — на Восточный фронт...

Он усмехнулся: вот она, инерция книжных знаний. Это же и есть Восточный фронт — для них, конечно. Или, вернее, был. Вот так он и выглядел, наверно, осенью сорок второго года. Холодно, дождь моросит, дорога непроходимая, мокрота, лес, болота. Взвод карателей направляется на очередную «операцию» в близлежащую деревню. Всего второй год войны, они еще самоуверенны, только торопятся. Офицеры покрикивают, подхлестывая и без того надрывающихся в болотной грязи солдат. Ясно: бояться партизан.

«Хороши партизаны», — внутренне усмехнулся Димка. — Три дробовика, если двустволку считать за два, да один карабин — единственно стоящее оружие. Зато у этих четырех стволов при всей слабости их огневой мощи есть одно преимущество — эффект внезапности».

И вдруг Димка ужаснулся ленивой будничности этой, по сути, страшной мысли. Какая, к черту, огневая мощь? Они физики, ученые, а не солдаты. Они сюда работать приехали, а не стрелять. В людей стрелять, в таких же, как он, из плоти и крови, как Олег, как Старков, как их сельские знакомцы... Димка даже представить себе не мог, что придется сейчас или через десяток минут вскинуть ружье, хладнокровно прицелиться, поймав на мушку черный мундир на дороге, нажать на спусковой крючок... Сумеет он это сделать? Ведь не научили. В тире стрелять по медведю с кружочками — учили. А в людей — нет. И ненавидеть не учили. И никто пальцем не тыкал: вот, мол, враг, убей его. Просто врага не было. Живого... А в учебнике истории вдохновения не много: такая-то дата, такое-то сражение — выучить и сдать.

Димка любил смотреть фильмы о войне. Он умел красиво поговорить о методе ретроспективы в военной теме, о режиссерских находках, об использовании хроники в сюжетной канве. Но, в сущности, он оставался тем же самым мальчишкой с Можайки, который бежал в «Призыв» на дневное «кино про войну». Так же переживал в душе за героя. Так же рвался за ним в штыковую атаку. Так же вполголоса пел с ним за дощатым столом в землянке.

Все поколения мальчишек когда-то играли «в войну».

А потом игра начиналась «всерьез», и вчерашние мальчишки уходили на фронт гражданской, финской, Великой Отечественной. А потом кто вернулся — те уже смотрели на своих мальчишек, повторяющих их детство, и думали: не дай бог им пережить с наше...

Димкиному поколению повезло. Вот он — «типичный представитель советской молодежи» — успешно закончил школу, теперь в университете, подумывает об аспирантуре. Игра «в войну» оставалась для него только игрой.

Ах, не доиграл он в нее, не закончил: мать позвала из окна или школьный звонок прозвенел. Только осталась живой в нем детская страсть к оружию всех систем: «Бах-бах, Димка, я в тебя попал, падай, чур, не игра!..»

Так вот она «чур, не игра», Димка. Все просто в раскладе: вот враг, вот свои. Действуй, парень.

А как теперь действовать, если этой зимой путешествовал по ГДР, был в Берлине, в Дрездене, в Ростове, пил пиво с прекрасными парнями с физфака Берлинского университета, пел «Катюшу» и «Левый марш», и никто не вспоминал о войне, о том, что, может быть, отец Димки сражался против отцов этих прекрасных парней с физфака, — никому до этого дела не было.

А сейчас есть дело, Димка? Вдруг один из черномундирников станет отцом кого-нибудь из тех немецких ребят? Ты сумеешь в него выстрелить, убить его?

Да нет же такой проблемы, нет: это только стык времен, а не само время, это иллюзия реальности, а не живая жизнь. Ой, Димка, не крути хоть сам с собой: это именно реальность, хотя и вчерашняя. Это враги, Димка, о которых ты знаешь по книгам и фильмам. Это война, Димка, которая все-таки достала тебя.

И ты будешь стрелять, потому что в семи километрах отсюда люди, не подозревающие, что в их край вернулась война. Ты будешь стрелять ради них, Димка, понял?

Он понял. Он встал и пошел навстречу Старкову с ребятами. Он знал совершенно точно, что сумеет выстрелить первым, если понадобится. А там, как говорит уважаемый шеф, все пули мимо нас.

— Ну, как там? — спросил его Старков.

— По-прежнему, — сказал Димка. — Где ружьишко?

— Получи. — Олег протянул ему двустволку и сумку с патронами.

Димка деловито откинул стволы, вогнал в них патроны.

— Надо предупредить колхозников, — сказал он. — Пойти должен Раф.

И Старков удивился даже не тому, что для Димки никакой проблемы не существовало (пойдет Раф — и точка!), а тому, как это было сказано: сухо, коротко — обсуждению не подлежит.

И даже Раф не стал, по своему обыкновению, возражать и ломаться, спросил только:

— А что я им скажу? Они ж не поверят...

— А ты скажи так, чтоб поверили, — объяснил Димка. — И пусть подготовятся к нападению: мало ли что... — Он все же не справился с ролью командира, вопросительно взглянул на Старкова: то ли говорю?

И Старков кивнул утвердительно, добавив:

— Сюда никого с собой не веди. Надеюсь, помощь не понадобится: боя не будет. А сам останешься в деревне: проследишь за подготовкой к обороне... И без паники.

— Зачем? — запротестовал Раф. — Объясню им все и вернусь...

— Ты знаешь слово «приказ»? — спросил Старков. — Так вот это приказ. И запомни: мы на войне. А ведь даже в мирное время приказы не обсуждаются. Иди. И будь осторожен. Обойдешь их с севера. На дорогу даже носа не высовывай. И помни: все пули мимо нас...

Раф недоволен — может быть, подчеркнуто, слишком подчеркнуто — пожал плечами, поднял воротник куртки, пошел ссутулившись, сначала медленно, потом обернулся, улыбнулся неожиданно, сказал озорно:

— Предупрежу и вернусь. Привет! — И, не дожидаясь ответных реплик, рванул в кусты — только брызги посыпались.

Старков тоже улыбнулся: ну что будешь делать, вернется, конечно, не может не вернуться, он и слова-то «приказ» толком не знает, ему не приказывали — просили, требовали, предлагали, а железное «надо» ему вполне заменяли вольные «может быть» и «неплохо бы».

Вот почему Старков все-таки улыбнулся — не до воспитания, нет времени, — пожал плечами, сказал Димке:

— Придется тебе еще раз заняться акробатикой...

Димка кивнул, отдал ружье Олегу, полез на дерево.

— Все еще возьмется, — сказал он. — Сучьев натащили — вагон. А машина буксует.

Надсадный рев мотора то взрывался, то стихал. До них долетали обрывки невнятных команд, криков и ругани.

— Быстро к дороге! — приказал Старков. — И не шуметь.

Они добрались до небольшого холма недалеко от того места, где лесная дорога поворачивала к реке, пробираясь сквозь кусты орешника и, вырвавшись на полевой простор, бежала к деревне. Отсюда хорошо было видно, как все еще дергался в грязи помятый грузовик с промокшим брезентовым верхом и шла вокруг него все та же солдатская суетня. «Пожалуй, скоро вытащат, — подумал Старков, — и до деревни доберутся хотя и позже Рафа, но все же скорее, чем тот сумеет втолковать колхозникам об опасности. Те даже поверить ему не успеют. Будут хмыкать, посмеиваться, покачивать головами, будут с жалостью смотреть на мальчишку и советовать ему прибегать к своим шуткам до первого апреля. Да что рассуждать: хорошо, если для колхозников вся эта история осталась бы глупой шуткой зарвавшегося физика, который даже и не думал о таких последствиях своего «эпохального опыта».

Старков лег на мокрую траву, махнул рукой ребятам — ложись, мол, тоже, — раздвинул ветки орешника, выставив синеватый ствол карабина.

«Вот и вернулась к тебе война, — горько подумал он, — не оставляет она тебя: ни в воспоминаниях, ни наяву. Воспоминания привычны, ими можно играть, как детскими кубиками, складывать пирамидки, а надоест — рассыпать. А явь — это похуже. Это неожиданно и потому опасно. Боишься, Старков? Нет, конечно. Хотя их и вчетверо больше нас. Нет у меня к ним жалости, к этим возвращенным временем фрицам, как и тридцать лет назад тоже не было. Сейчас у нас сорок второй на дворе — запомни. Фашисты идут к Волге. На Северном Кавказе — бои. Ленинград осажден. Отечество в опасности, Старков! Ты помнишь эту фразу? Вспомни ее хорошенько, перевари в себе. В опасности, понял?»

— Слушать мою команду, — шепотом приказал он. — Не стрелять без приказа. Лежать молча. Пока...

Он боялся, что ребята начнут стрелять без приказа. Знал, знал, что все равно им придется стрелять — как же быть иначе? — и все же старался оттянуть этот момент. Не потому, что опасался промахов. И в мужестве их не сомневался. Ведь в годы войны такие же мальчишки и стреляли, и шли в атаку, и стояли насмерть, если требовалось. Но Старкову казалось, что до сознания его ребят все еще не дошла по-настоящему реальность возвращенного времени прошлого. В их готовности к бою был какой-то элемент игры или, точнее, лабораторного эксперимента. Вероятно, им думалось, что стрелять придется хотя и в живых, но все же не «настоящих» людей — те уже давно истлели, и даже кости их не соберешь в этих лесных болотах. А Старков знал, что с отрезком возвращенного военного времени вернулись и его будни, тяготы, кровь и смерть.

И если эти живые, по-настоящему живые гитлеровцы прорвутся к селу, будут и стрельба, и резня, и мертвые дети, и повешенные старики. Не о таком эксперименте он думал, потому и боялся за своих, не переживших войны пареньков.

Он подтянул карабин к плечу, прижался щекой к его мокрому прикладу, поймал на мушку медленно, с трудом вращающееся по глине переднее колесо подымающейся из грязи машины, нажал на крючок. Карабин громыхнул неожиданно сильно в шуршащей тишине дождя. Грузовик резко повело на середину дороги, он влез колесами в наезженные колеи, дернулся вперед и замер, заглох: видимо, шофер выключил зажигание.

«Вот и все, — безразлично и буднично подумал Старков. — Война объявлена...»

6

Раф удачно выбрался из леса, минув дорогу, побежал напрямик через клеверное поле: черт с ним, с клевером, зато выгадывалось километра полтора. Некоторое время Раф слышал ревуший в лесу грузовик, потом звук исчез: то ли мотор заглох, то ли просто он отошел достаточно далеко от «театра военных действий».

В конце концов, как еще иначе назвать сегодняшнее

приключение? Раф искал термины: «минивойна», операция «Время». Или так: физики шутят...

Хороши шутки, если тебя подстрелят, как зайца. Вопреки предположению Старкова, Раф, хотя и подыскивал подходящие термины для «лабораторного эксперимента», все же ни минуты не сомневался в опасности ситуации: горящая спичка все равно взорвет бак с бензином, даже если тот прибыл из прошлого. Конечно, лучше всего было бы затаиться, уйти в лес, не делать глупостей и не вызывать огонь на себя. Раф не верил в сверхъестественное. Он верил в законы физики. И еще — в собственную логику. А она ему подсказывала, что «гостей из прошлого» держит здесь временное поле, и за его пределами они просто не смогут существовать. Исчезнут, вернуться в свой сорок первый или какой там год. Естественно, определенный риск существовал: могут и не вернуться. Вот тогда и следовало что-то предпринимать. Но вероятность «невозвращения», по мнению Рафа, едва ли составляла пять-шесть процентов.

Однако со Старковым не поспоришь: он уперся на своем и не отступит, пока сам не убедится в ошибке. Ну что ж, пусть убедится. Предоставим ему такую возможность. Тем более, что колхозников и вправду надо предупредить: даже пять процентов вероятности могут принести беду.

Конечно, можно было бы сразу отключить поле и тем самым проверить прочность железной логики Рафа. Но здесь он понимал и Старкова: пять процентов могли вполне превратиться в сто. Не исчезни «гости», так их потом не вернешь никакими силами: попробуй настрой генератор так, чтобы временное поле совпало именно с тем временем, которое властвует сейчас в зоне экранов. Нет, спокойней подождать, пока один из этих экранов потреплет настройку и перегорит, а тогда исчезнет и поле. Раф полагал, что произойдет это скоро. И может быть, его миссия даже не понадобится и он до конца срока практики будет ходить у колхозников в роли Иванушки-дурачка.

Впрочем, роль эта не слишком волновала Рафа: дурачок так дурачок. Гораздо важнее, чтобы «дурачку» все-таки поверили. Хотя бы на треть. Чтобы никого не застали врасплох эти чертовы пять процентов.

Раф даже поежился от мысли, что «пришельцы» могут добраться до деревни. Глупая мыслишка, нелогичная, но страшноватая. Он отогнал ее, отмахнулся, стал прикидывать, как убедить председателя вооружить людей. Причем вооружить, не раскрывая истинной причины опасности...

Тут он осекся: а почему, собственно, не раскрывая? Пойдет вздорный слух? Ну, вздорный или нет, а слух пойдет все равно. В конце концов, колхозники должны знать правду об эксперименте и о его последствиях. Но, может быть, не сразу, не сейчас. Правду должен узнать председатель — мужик умный, воевавший вместе со Старковым и лучше других осведомленный о его научной работе в здешних лесах. К тому же его слушаются и ему верят, и такой хозяин округи наверняка придумает что-нибудь надежное, чтобы предупредить людей о грозящей опасности. Еще лучше помогли бы выстрелы — автоматные, автоматные — у гитлеровцев «шмайссеры», а не дробовики, но на семикилометровом расстоянии их не услышишь...

Раф выбрался наконец на дорогу, тяжело побежал, скользя на липкой глине, свернул по траве к председателю дому; хорошо, что председатель жил здесь, а не на центральной усадьбе. И хорошо, что сегодня воскресенье, а стало быть, он дома, а не в поле или на ферме. Должен быть дома...

Раф не ошибся: председатель был дома. Он сидел в комнате под старомодным фикусом и смотрел телевизор. Председательское семейство, состоящее из двух близнецов десяти лет, жены и тещи, сидело чуть поодаль от фикуса и тоже смотрело передачи. Телевизор был новый, недавно купленный, сверкающий коричневым лаком и никелированными ручками. Показывали металлургический завод. На экране лился расплавленный металл, гремел прокатный стан и сновали рабочие с мужественными лицами. Председатель был очень увлечен передачей и не сразу заметил Рафа, остановившегося на пороге. А когда заметил, сказал приветливо:

— Здорово, студент. Садись и смотри. Интересно.

Он прекрасно понимал, что Раф явился вовсе не за тем, чтобы изучать жизнь металлургов. Но в деревне не принято было эдак с бухты-барахты приниматься за дело.

Сначала требовалось некоторое вступление, так сказать интродукция, и телепередача вполне подходила для этой цели. Но сейчас Раф не имел права соблюдать веками установленный сельский этикет. Он подошел к председателю, оставляя грязные следы на крашеном полу, наклонился, сказал на ухо:

— Беда, Петрович. Вырубай шарманку. Времени на разговоры нет.

И сумел он сказать эти будничные слова так, что председатель не стал вспоминать об этикете, протянул руку, выключил телевизор, спросил в наступившей тишине:

— Случилось что?

— Случилось, случилось, — быстро проговорил Раф.

Председательское семейство настороженно молчало, ожидало продолжения. Раф с сомнением посмотрел на них, потом перевел взгляд на председателя. Тот понял.

— Пойдем со мной, — сказал он.

Встал и пошел в другую комнату; подождал, пока туда вошел Раф, плотно прикрыл дверь.

— Говори.

И опять Раф заколебался: с чего начать? Не придумал ничего лучше, как бухнуть сразу:

— Фашисты в лесу, Петрович!

— Ты сегодня температуру мерил? — Голос председателя звучал спокойно, но слышались в нем угрожающие нотки: как так из-за дурацких шуточек человека от воскресного отдыха отрывать!

— Да не вру я! — заорал Раф и вдруг успокоился, пришел в себя: — Опыт мы ставили. Знаешь?

— Ну, знаю. Старков рассказывал. Время хотите вспать повернуть...

Раф усмехнулся про себя: примитивно, но в общих чертах верно.

— Уже повернули.

— Удался, значит, опыт?

— Даже слишком. В общем, такие дела, Петрович, наш генератор создает границу между нашим временем и прошлым. На этот раз мы попали, видимо, в сорок второй год.

— Самое пекло здесь было, — сказал председатель. — Вместе с твоим Старковым фашистов били. Я — партизанским «батей», он — в моем отряде. Каратели тогда две

соседние деревни сожгли. Одни печи остались. Лучше и не вспоминать.

— Придется вспомнить, — жестко сказал Раф. — Чего-то мы не учли в расчетах, и сквозь эту временную границу проскочили наши «гости» из прошлого. А какие — сказал уже.

Председатель задумался.

— А может, все-таки ошибка? Может, марево? В болотном тумане всякое показаться может.

— Не тяни, Петрович, — отрезал Раф. — Все самое настоящее. Увидишь Старкова — подтвердит. Да и наш Димка с дерева наблюдал. И машины немецкие, и форма немецкая. Как в кино.

— В кино по-всякому одеть можно, — вздохнул председатель: очень уж ему трудно было поверить в старковское чудо.

— Мы тоже сначала подумали, что кино, — сказал Раф, — только это, отец, совсем не кино.

— Может, рабочим каким немецкую форму выдали? — все еще сопротивлялся председатель. — Со складов, чтоб зря не лежала.

— С каких складов? — уже рассердился Раф. — Из «Мосфильма» или из театра какого-нибудь? И настоящие автоматы выдали? Интересно, зачем?

— Да-а... — протянул председатель, полез в карман, достал смятую беломорину, коробок спичек, закурил, пустил дым к потолку.

Он никогда не торопился с решениями, долго обдумывал, взвешивал, примеривался, а уж когда решал, то — прочно и твердо. Он курил и молчал, и Раф молчал. Молчал и думал о том, что делается в лесу. Не хотел думать, не верил в то, что думалось, и все-таки думал, думал, думал, и сжималось что-то в груди, натягивалась струночка — не порвать бы...

— Вот что, студент, — сказал наконец председатель. — Сколько их там?

И Раф вздохнул облегченно: поверил-таки. Да и не мог не поверить. Не такой мужик председатель, чтобы не понять, когда шутят — пусть глупо, пусть подло, — а когда всерьез говорят. Понял он даже не то, что произошло на самом деле, а то, что и вправду пришла беда и что с бедой этой можно сладить только сообща, как и тогда, в

настоящем сорок втором, когда председатель — ровесник Старкову — ушел в партизаны.

— Человек тридцать, — быстро сказал Раф. — Грузовик и маленькая легковушка с офицерами.

— А вас трое... — не то спрашивая, не то утверждая, проговорил председатель, и Раф перебил его:

— Да не в том дело! Для наших опасности нет: лес большой, да и не полезет Старков на рожон (тут он сам не очень верил в свои слова). Главная опасность в том, если фашисты в деревню прорвутся.

— Могут... — опять не то спросил, не то подтвердил председатель, и опять Раф вмешался:

— Маловероятно: это не чужое время. Оно существует только в пределах действия генератора, а значит, «пришельцы» не смогут из этих пределов вырваться.

Но председателю непонятны были доводы Рафа. Он в науке не слишком разбирался, зато точно знал: есть машина, есть тридцать человек со «шмайсерами», и никакой дробовик их не остановит.

— Мало или не мало, — сказал он, — а людей предупредить надо. Не поверят, конечно, в ваши штуки со временем. О бандитах говорить будем, о бандитах в бывшей немецкой форме. Где-нибудь старый трофейный склад ограбили, а теперь в село идут. Не очень мудро придумано, но если на серьез брать — поверят. Главное, чтобы подготовились к встрече.

— Вот и я о том же! — закричал Раф. — И побыстрее.

— Горячку не пори. — Председатель встал, взял со стула дождевик. — Пошли по дворам.

Они прошли через комнату, где председательское семейство ожидало окончания таинственного разговора.

— Вот что, бабы, — на ходу распорядился хозяин, — тут дела такие, что лучше вам из дому не показываться. Заприте двери, ставни закройте и сидите тихо. — Подумал, что надо бы объяснить не очень понятный приказ, и добавил: — Тут в округе банда объявилась. Милиция из города выехала уже, по следу идут. Так что лучше погодить. Понятно?

И, не дожидаясь ответа, вышел в сени; сорвал со стены двустволку, взял сумку с патронами, сунул под плащ.

— Теперь они носа не высунут, — шепотом сообщил он Рафу. — Тут меня вроде слушаются — и дома и в народе... Ты вот что: иди по левой стороне улицы, а я — по правой. Говори: председатель зовет, дело есть. Пусть ружья берут. Через десять минут — на окраине.

— Послушайте... — сказал Раф. Он не умел и не любил о чем-нибудь просить, а тут надо было, нельзя не просить: что же он, хуже других? — Послушайте... У вас лишнего ружья не найдется?

— Кому?

— Мне. Не взял из Москвы, — соврал Раф. — Забыл, понимаешь. А как же сейчас без оружия?

— Да, брат, без оружия сейчас нельзя. — Председатель вроде бы поверил наигранной беспечности Рафа, а может, и нет — кто знает хитрого мужика, — только снял с плеча двустволку свою: — Держи.

— А ты, Петрович?

— Я у Фрола возьму. У него несколько. Да бери, бери, тебе говорят! — И только спросил невзначай: — Ты с этой системой знаком?

Раскусил он, раскусил напускную беспечность студента, только не хотел обижать сомнениями: знал, что не время сейчас — может быть, бой впереди. И Раф понял это и был благодарен тактичности председателя, который — известно было — и кричать любил и мог высмеять неумеху. А тут смолчал. И Раф не стал что-либо объяснять или оправдываться, кивнул в ответ: знаком, мол. Да и видел он не раз, как легко обращался с такой же двустволкой Димка — дело нехитрое, — закинул небрежно за плечо, толкнул дверь на улицу.

— Пошли...

А председатель остановился вдруг, посмотрел на него просительно:

— Парень, а ты не разыгрываешь?

— Тогда идите домой, — зло сказал Раф, — и досматривайте телевизор. И спокойно, и понятно, и чертовщины никакой нет. А то, что наши в лесу — трое против тридцати, — так это так, между прочим, пошутил, значит.

— Эх, не понял ты меня... — Председатель даже рукой махнул. — За такие шутки я б тебе голову свернул! Я же поверил тебе, не мог не поверить. Только наука ваша для меня — китайская грамота. Вот она, моя наука: когда

сеять да когда жать. А выше — ни-ни... Ты не злишь, парень. Мы же как в поговорке: пока рукой не пощупаем — не поймем... Ну да ладно, давай поторопимся.

7

Старков ошибался: война не была объявлена. То ли за ревом двигателя не слышен был выстрел, то ли еще какая-нибудь причина, только дверца машины хлопнула, и долговязый шофер наклонился над колесом.

— Что там еще? — крикнул ему кто-то из передней машины.

— Должно быть, прокол, — виновато ответил шофер, ощупывая покрывку.

Старков поймал его на мушку — удобная мишень, — задержал прицел и... опустил карабин. Подумал: не время сейчас, получена новая отсрочка, причем совсем уж неожиданно. И сам усмехнулся: хитришь, солдат, испугался по живой мишени хлопнуть, отвык за тридцать лет. Отсрочка отсрочкой, а вот что будешь делать, когда и она кончится?

А отсрочка явно получалась недолгой. От все еще сидевшей в грязи машины донеслись лающие немецкие крики. Старков мысленно перевел.

— Ефрейтор, слышал выстрел? — спросил кто-то из легковушки.

— Никак нет, господин оберштурмфюрер, — ответил ефрейтор, не вылезая, однако, из теплой кабины грузовика.

Это явно не понравилось офицеру.

— Ко мне! — приказал он.

Рыжий ефрейтор выпрыгнул из кабины и, смешно переваливаясь на коротких ногах, побежал по глине к легковушке. Он остановился около нее, согнулся угодливо, и Старков подумал, что его обтянутая черным кителем спина — тоже неплохая мишень. Он-то лишь подумал об этом, усмехнулся про себя — сдержал эмоции — и вздрогнул от грохота выстрела. Черная спина ефрейтора дернулась, он неестественно выпрямился, схватился за брезентовый верх легковушки и, не удержав своего тяжелого тела, медленно сполз на дорогу.

— Кто? — в ярости повернулся Старков и осекся: ему улыбался Олег.

— Как я его? Теперь начнется...

«Теперь начнется», — тоскливо подумал Старков.

И еще подумал, что парень, в общем-то, не виноват: немецкого не знает, потому и не понял, что только сейчас получил в подарок минут пятнадцать отсрочки, и вот отказался от подарка, накликать беду...

В общем не виноват. А в частности? Старков смотрел на лицо Олега, перезаряжающего ружье, и думал о той необычайной легкости, с которой молодой парень только что убил человека. «Да не человека же, — сам себе возразил Старков, — гитлеровца, убийцу. Но это ты знаешь, что он — садист и убийца, ты его помнишь или не его — ему подобных, ты их знаешь, а Олег? Для Олега все эти понятия — теория, страница из учебника, и тем не менее...»

Старков отмахнулся от этой мысли, забыл о ней. Начались дела поважнее...

— Ахтунг! — крикнул эсэсовец, выскочивший из своей легковушки и уже спрятавшийся в кустарнике. — Партизанен. Файер!

И Старков тоже полувыкрикнул, полусшепнул:

— Огонь!

Эсэсовские каратели прыгали из кузова и ныряли в лес. Старков поймал на мушку одного — в прыжке, — выстрелил: есть! Еще один, еще, еще... Рядом стрелял Олег, то и дело перезаряжая «тулку», вполголоса приговаривая:

— Попал... Попал... Ах, черт, мимо...

На Димкиной стороне было тихо, а может, это только показалось Старкову; он и разбираться не стал — некогда, — перезарядил карабин, припал щекой к ложу.

Фашисты из-за кустов открыли по ним огонь. Звонко и раскатисто лаяли автоматы, где-то над головой — прицел неточен — свистели пули, и, собственно говоря, отвечать уже не было смысла. Срезанные выстрелами «пришельцы» остались лежать у машины, а остальных просто не было видно. А стрелять по звуку — пустая трата патронов.

Черномундирный оберштурмфюрер тоже не был профаном. Автоматные очереди сразу же прекратились, и

внезапная тишина, повисшая над лесом, показалась Старкову странно нереальной, будто кто-то выключил звук, а изображение на экране осталось: та же разъезженная дорога под горкой, те же кусты орешника на обочине, брошенные машины и трупы около них.

Старков посчитал: трупов было семь. Четырех срезал он сам, а трое, стало быть, приходится «на долю» ребят. Скорее всего, Олег; Димка, кажется, вовсе не стрелял — то ли испугался, то ли не успел.

— Быстро отходить! — шепнул Старков и, пригнувшись, побежал в глубь леса, петляя среди деревьев.

Он понимал, что их торжество долго не продлится. Звук выстрела из автомата или карабина не спутаешь с выстрелом из охотничьего ружья. А плохо вооруженные партизаны вряд ли сильно напугают карателей. Сейчас Старков не сомневался, что они выловили из прошлого именно взвод карателей. Вот таким же мокрым осенним днем лет тридцать назад ехал этот взвод по такой же мокрой осенней дороге, может быть, так же застрял на полчаса, может быть, тоже встретил партизан — настоящих! — а может быть, и прорвался к деревне. Если так, то кто-то из колхозников наверняка сохранил память об этом заурядном, но страшном эпизоде минувшей войны.

Минувшей? Опять оговорка. Кто знает, точно ли совпадает время в настоящем и в прошлом и равняются ли два часа, проведенные карателями в дне нынешнем, двум часам дня давно минувшего. А может быть, вернувшись в сорок второй год — Старков все-таки верил в это возвращение! — кто-то из карателей обратит внимание на то, что их время с т о я л о, что вернулись они в ту же секунду, из которой отправились в долгое путешествие по временной петле. Кто знает капризы времени, его неясные законы, его поведение? Да кто, в конце концов, знает, что такое световремя? Никто не знает, думал Старков, а его теория — лишь робкая попытка постучаться в толстую стену, за которой — неизвестность, загадка, ночь...

— Стойте! — вдруг шепнул Олег. — Слышите?

Где-то позади хрустнула ветка, зашуршали о траву капли с потревоженного кем-то дерева.

Старков бесшумно шагнул за куст, за ним — Димка и Олег. Через несколько секунд на маленькую полянку,

где они только что стояли, осторожно вышел человек в черной эсэсовской форме. Он озирался, сжимая в руках мокрый от дождя «шмайссер», потом шагнул вперед — и захрипел в не слишком вежливых объятиях Олега.

— Штиллер! — сказал ему по-немецки Старков, уткнув в грудь немцу дуло своего карабина. — Во зинд андере? — И прибавил по-русски: — Остальные где?

Немец отрицательно покачал головой, скосил глаза на старковский палец, застывший на спусковом крючке. Старков понял его и медленно повел крючок на себя.

— Найн, найн! — быстро сказал немец и поднял руки.

— Эс ист бессер, — одобрил Старков. — Мы тебя не уьем. Нихт эршляген. Ты откуда? Фон во?

— Бо-ро-ви-чи. — Немец тщательно выговорил трудное русское слово. — Айн кляйне штадт. Гестапо.

— Районный центр, — сказал Старков и снова спросил: — А сюда зачем? Варум, варум? — и обвел рукой вокруг.

— Их вайс нихт.

— Не знает, — перевел Олегу Старков и снова пошевелил пальцем на спусковом крючке.

— Аусфалль. Штрафэкспедицион, — пояснил немец.

— Вылазка. Карательная акция, — повторил по-русски Старков.

Немец явно не врал. Командование обычно не посвящало солдат в подробности операций. Карательная акция — достаточное объяснение, тем более что подобные акции — обычное дело для таких вот черномундирных «орлов», нахально храбрых с безоружными женщинами и детьми и трясущихся от страха под дулом карабина или автомата.

Старков достал из кармана носовой платок, критически осмотрел его. Платок был далеко не первой свежести, но гигиена здесь необязательна.

— Открой пасть, — сказал Старков немцу и показал, как это сделать.

Тот послушно ощерился, и Старков забил платок ему в рот, потом, вытянув из его брюк ремень, кинул Димке:

— Свяжи руки.

Связанного немца положили под елку, и заботливый Димка прикрыл ему лицо пилоткой.

— Чтобы дождь не мочил, — объяснил он.

— Можно, я возьму его автомат? — спросил Старкова Олег.

— Возьми, конечно. Запасные обоймы они держат в подсумке.

— Нашел, — сообщил Олег.

— Вот что, ребята, — подумав, сказал Старков. — Судя по этому викингу, они решили прочесать лес поблизости. Грузовик почти вытащили, но явно еще задержатся. Поэтому пробирайтесь-ка навстречу Петровичу с его отрядом — два лишних бойца пригодятся. Старайтесь обойти карателей с тыла — лес знаете.

— А вы? — почти одновременно спросили Олег и Димка.

— Пойду к немцам.

— За пулей в голову?

— Все пули мимо нас, — засмеялся Старков. — Считай. По-немецки немного умею, но вида не покажу. Постараюсь задержать их подольше — может, какой-нибудь из экранов сорвется.

— Как это задержать? — удивился Олег.

— Найдем способ, — усмехнулся Старков и добавил отрывисто: — А вы идите, как условились. Это приказ.

8

Отдав свое ружье ребятам — в последний момент Старков решил, что карабин ему не понадобится, — он снял исподнюю рубашку и, размахивая ею, как белым флагом, пошел наперерез через кусты к застрявшему грузовику.

Увидя человека, размахивающего рубашкой, эсэсовцы, кроме тех, что разбрелись по лесу в поисках партизан, угрожающе подняли автоматы.

— Хальт! — скомандовал один из них.

— Шпрехен зи руссиш? — крикнул Старков.

Из легковушки вылез уже знакомый издали оберштурмфюрер с длинным прямым носом и клоком рыжих волос, спускавшихся по-гитлеровски на лоб. Он иронически оглядел застывшего с поднятыми руками Старкова.

— Кто ты есть? — спросил он. — Партизан? Мы не разговаривать с партизан. Мы их эршиссен. Пиф-паф.

«Могут и расстрелять, — подумал Старков. — Без переговоров. Пиф-паф — и все. Да нет, пожалуй, не расстреляют так сразу. Покурю, хотя бы из любопытства. Оно у носатого на морде написано. А мне важно затянуть канитель. Задержать, задержать их во что бы то ни стало... Да подольше, пока не полетят к черту экраны».

Он уже рассуждал не как ученый Старков, а как партизан Старков, под дулами нацеленных на него автоматов придумывавший что-нибудь заковыристое.

— У меня есть сообщение, господин офицер, — сказал он нарочно дрожащим от страха голосом, хотя страха-то у него и не было: не все ли равно как помирать, если приходится помирать.

— Со-об-ще-ние, — повторил по слогам носатый. — Миттейлунг. Хорошо. Геен зи хир. Близко. Еще близко.

Старков подошел чуть прихрамывая — у него уже было на этот счет свое соображение — и не опуская рук.

— Говори, — услышал он.

Ну как говорить с призраком? Даже не с призраком, а с искусственно материализованным покойником. Да и покойники-то не ведают, что они уже тридцать лет как покойники, а если кто и жив сейчас, так не знает, что ему сейчас придется «эршиссен» Старкова. Странное состояние полусна-полуреальности охватило его. Но дула автоматов отразили искорки солнца, выглянувшего на мгновение из-за свинцовой пелены туч. Сталь этих автоматов была совершенно реальна.

— Я сказать: говори. Заген, заген, — повторяет носатый.

— В лесу партизан нет, — сказал Старков. — Была только группа разведчиков. Трое вместе со мной. Двоих вы кокнули.

— Что есть «кок-ну-ли»?

— Пиф-паф, — ответил, стараясь не улыбаться, Старков.

— Во ист партизанен групп? Отряд, часть? — добавил носатый.

— Ушли к железной дороге. В деревне одни старики и дети. А штаб отряда за Кривой балкой. Примерно там. — И Старков показал в противоположную от деревни сторону. — Сорок минут туда и обратно.

Он нарочно выбрал не слишком удаленный отсюда

район. Потерять час-два на проверку носатый бы не рисковал. А сорока минут вполне достаточно. Да и до деревни надо потом добраться, клади еще тридцать минут по такой грязи. Никакие экраны столько не выдержат. Правда, его, Старкова, могут и расстрелять, когда вернутся ни с чем из-за Кривой балки посланные туда солдаты, но что ж поделаешь: людей в деревне надо сберечь. И опять думал это не физик Старков, а партизан Старков образца сорок второго года.

Носатый посмотрел в указанную Старковым сторону.

— Дорт? — удивился он. — Повтори.

— За Кривой балкой.

Носатый пошевелил губами, достал из нагрудного кармана в несколько раз сложенную карту, приложил ее к дереву и, пошарив глазами, ткнул пальцем в какую-то точку.

— Штаб? — повторил он. — Вифиль зольдатен? Сколько охранять?

— Человек десять.

— Цеен. Зер гут. — И тут же усомнился: — А если ты врать, почему я верить? Где автомат?

— Бросил в лесу, когда бежал к вам.

— Зачем к нам?

— Всякому жить хочется. Я один, а вас тридцать. И леса не знаю. Чужой я здесь.

— А почему партизан?

— Силком взяли, когда из города уходили. А я беспартийный, да еще белобилетник.

— Что есть «бело-би-летник»?

— Освобожден от военной службы по причине негодности. Хромаю. Немцы говорят: «ламе».

— Пройти мимо.

Старков, припадая на правую ногу, прошел под навешенными на него автоматами мимо носатого и вернулся на место, где стоял раньше.

Эсэсовец подумал, еще раз взглянул на карту, позвал ефрейтора и быстро проговорил что-то, из чего Старков понял, что двадцать человек направляются к Кривой балке, а его особу будут сторожить два автоматчика.

Носатый взглянул на часы и пролаял на своем искалеченном русском:

— Если нет штаба — эрхенген. Сук видеть? — Он кив-

нул на толстый осиновый сук над головой Старкова. — Висеть, ясно?

— Ясно, — вздохнул Старков и спросил: — А закурить дадите?

Эсэсовец швырнул ему сигарету. Старков поймал и закурил от предложенной автоматчиком зажигалки. Дрянная сигарета, но курить можно, и он не без удовольствия затянулся.

Сорок минут. А там кто знает, может быть, и поле исчезнет со всей вырванной из прошлого мразью.

9

Лес они действительно знали: каждый кустик, каждый холм, каждую тропинку в зоне экранов исходили за четыре месяца — хоть кроки по памяти составляй. Поэтому и Олег и Димка точно представляли себе, как и куда им нужно добраться. В двухстах метрах отсюда пролегал неглубокий овраг. Если пройти по нему до конца, можно выйти к дороге там, где она тянется из леса к деревне. Туда прочесывающие кустарник эсэсовцы, конечно, пойдут не сразу. Не найдя «партизан» поблизости, они вернутся к машине.

Расчет оправдался. По оврагу ребята прошли без приключений: как они и предполагали, каратели не стали всерьез прочесывать лес, постреляли по кустам, где погуще, и пошли назад. Тем более, что «партизаны» на огонь не ответили. Словом, все шло по плану, задуманному Старковым.

Они уже добрались до опушки, где дорога сворачивала к деревне. Только бы не нарваться на гитлеровцев! За кого могли их принять, если у Олега висел на груди автомат, отобранный у пленного «гостя»? Значит — сражение, а исход его неизвестен. И неизвестно, будет ли выполнен приказ Старкова.

Вдали снова заурчала машина. Олег замер: должно быть, вытащили. Тогда каратели обгонят их через десять минут и прорвутся к деревне. Даже предупрежденные Рафом колхозники подойти не успеют. Значит, надо что-то придумать. И Олег неожиданно предложил:

— Пробирайся к деревне один. Одному сподручнее и

скорее. Меньше шума. Пройдешь в кустах по опушке — не заметят.

— А ты куда? — удивился Димка.

— Вернусь к машинам.

— Так ведь Старков приказал...

— Не всякий приказ следует понимать буквально.

Старков приказал присоединиться к вооруженным колхозникам. Мы и присоединимся. Только по отдельности. Сначала ты, потом я. Если Старкову не удастся задерживать машины, попробую я.

— Каким образом? — Димка все еще ничего не понимал.

— Во-первых, у меня «шмайссер»; во-вторых, стреляю я без промаха. В-третьих, меня беспокоит судьба Старкова. Словом, спорить не о чем и некогда. Сыпь к деревне напрямик сквозь кусты. А я пошел.

Димка хотел вмешаться, но не успел. Где-то далеко в лесу раздавались короткие автоматные очереди, преследующие единственную цель — напугать до сих пор не обнаруженного противника и успокоить себя. Кто-то кричал, кто-то ругался по-немецки, но слов разобрать было нельзя. Да Олег и не знал немецкого. Его интересовало только поведение Старкова.

До машин он добрался быстро. Пригнувшись, побежал вдоль стены орешника, поравнялся со стоявшей на дороге легковушкой и, почти бесшумно раздвинув кусты, взглянул на дорогу. Эсэсовский офицер со сплюснутым длинным носом и рыжим вихром на лбу сидел на пенечке в расстегнутом кителе. Против него, покуривая, стоял Старков, а в стороне два автоматчика. Один из них намертво держал его под прицелом своего «шмайссера», другой обменивался сигаретами с вышедшим из открытой легковушки шофером. Еще три автоматчика позади уже выкарабкавшегося из трясины грузовика отдыхали на поваленной бурей сосне. Солдаты помалкивали, время от времени озираясь по сторонам. Ясно было, что невольная задержка всех раздражает. И быть может, оберштурмфюрер уже жалел, что отослал отряд куда-то за Кривую балку — название, которое на немецкий и перевести невозможно. От сорока минут осталось всего четверть часа. Тогда он повесит этого партизана и двинется с отрядом в деревню. Носатый еще раз взглянул на часы и зевнул.

Вот тут-то Олег и принял решение. Мгновенной короткой очередью он срезал двух автоматчиков и шофера. Другая прострочила зевавшего оберштурмфюрера. Все это произошло так быстро, что растерявшиеся эсэсовцы, отдыхавшие позади грузовика, не успели ничего предпринять. Олег перемахнул через кювет с водой и прыгнул в открытую легковушку, что-то крикнув Старкову. Тот, не успев удивиться, сразу понял, что от него требовалось. Вырвав из рук убитого автоматчика его «шмайссер», он дал очередь по эсэсовцам, которые залегли за стволом сосны. «Ко мне!» — крикнул из легковушки Олег, и Старков в два прыжка очутился в машине. Двигатель завелся сразу, с пол-оборота. Олег врубил вторую передачу и нажал на акселератор. Машина взвыла — много газа, — пробуксовала секунду и рванулась вперед.

Быстрота всего происшедшего исчислялась мгновениями. Но эсэсовцы уже опомнились и открыли огонь по машине. Поздно! Страх перед неожиданным налетом «партизан» парализовал их так, что они едва успели воспользоваться прикрытием сосны, чтобы открыть огонь, теперь уже бесполезный. Они даже не сообразили, что в их распоряжении еще оставался освобожденный от грязевых тисков грузовик, и, петляя между кустами, палили уже совершенно беспечно по уходящей вперед легковушке — кучка потерявших командира, смертельно испуганных солдат.

10

Оставшись в одиночестве, Димка медлил не долго. Приказ есть приказ. Не понимая и даже не пытаясь понять, что задумал Олег, Димка знал одно: как можно бесшумней, скорей и верней связаться с колхозниками. Продираясь сквозь заросли орешника, он вдруг услышал выстрелы. Где-то впереди, видимо на дороге. Он остановился — заскрипели сломанные кусты. Сквозь них он увидел, как промчалась по проселку взбесившейся кошкой желто-зеленая пятнистая легковушка. Почему одна, подумал Димка, ведь без грузовика с солдатами она станет легкой добычей колхозников. Но раздумывать над этим не приходилось: догоняли выстрелы. Совсем рядом

просвистели пули, и он отметил, что стреляли из леса. Остановился, обернулся, не целясь выстрелил по черной пилотке, мелькнувшей в глубине леса, побежал дальше.

...Он не слишком хорошо соображал, что делал. В нем жила только ярость, но не слепая и пылкая, а холодная и расчетливая. Она, и только она, руководила его поступками. И может быть, потому, что они потеряли привычный здравый «гражданский» смысл, ярость придала им странную, незнакомую доселе логику: спрятаться за кустом, выстрелить, сменить патроны старковского карабина, короткая перебежка и снова выстрел. Вероятно, так же рождалась логика боя в партизанских отрядах — тогда, в Великую Отечественную. Ведь в отряды эти приходили не кадровые военные, порой такие же мальчишки с «гражданским» здравым смыслом. И смысл этот так не уступал место холодной ярости, ненависти к врагу, а значит — мужеству, бесстрашию, подвигу.

На дороге уже никого не было. Выстрелы раздавались из леса со всех сторон, кроме той, куда уехала легковушка. Она уже, наверно, вышла из зоны экранов: тут метров двести до границы поля — не больше. А что с Олегом, со Старковым? Может быть, это они участвуют в сражении, от которого ушел Димка? Может быть, это их, а не его ищут автоматные очереди эсэсовцев? Он спрятался за ствол дуба, выглянул из-за него. Метрах в двадцати среди мокрой зелени листьев мелькнула черная куртка. Димка выстрелил, перебежал к другому дереву, выстрелил еще раз и вдруг услышал крик за спиной:

— Хальт! Хенде!

Медленно поднял руки вверх — в правой карабин, — обернулся. На него смотрел черномундирный немец, выставив вперед дуло пистолета.

И снова Димка подумал, что ему не страшен ни этот эсэсовец, ни его пистолет. Подумал и удивился: как же это? Ведь эсэсовец — не артист кино, не призрак, и пули в его пистолете настоящие — девять граммов свинца...

Димка отвел правую руку назад и с силой швырнул карабин в нациста. Потом сразу пригнулся, прыгнул в сторону, и вдруг что-то ударило его в бок, потом в плечо, обожгло на секунду. Он остановился удивленный, прижал руку к груди, смотрел, как расплывается под пальцами черно-красное пятно, мокрое и липкое. И все кругом ста-

ло черно-красным и липким, погасли звук и свет. И Димка уже не услышал ни грохота еще одного выстрела, ни шелеста шагов поблизости, ни монотонного шума дождя, который припустил сильнее и чаще.

11

Председатель с удивлением смотрел на убитого эсэсовца в ненавистном черном мундире, на его нелепо скрюченную руку, сжимающую черный «вальтер», на ствол своего дробовика, из которого еще вился синий дымок.

А Раф бросился к Димке, тормозил его, что-то кричал и вдруг умолк, с ужасом увидев темное пятно крови на груди и тонкую малиновую струйку, ползущую на подбородок из уголка рта.

— Димка, Димка... — бессмысленно прошептал Раф и заплакал, ничего не видя вокруг себя.

И даже не понял, когда председатель грубо оттолкнул его, а просто сел на мокрую землю, грязным кулаком размазывая слезы по лицу. И председатель привычно — с сожалением, что пришлось вспомнить эту старую привычку, — наклонился над Димкой, прижал ухо к груди, послушал сосредоточенно и улыбнулся:

— Жив!

Потом рванул штормовку, ковбойку, пропитавшуюся кровью майку. Сказал Рафу:

— Эй, парень, приди в себя. У вас в сторожке бинты есть?

— Какие бинты? — всхлипнул Раф. — Ведь бой идет...

И вдруг осекся: кругом стояла тугая, непрозрачная тишина, по которой гулко били частые капли дождя.

— Что же это? — изумленно спросил он, посмотрев туда, где только что лежал труп убитого гитлеровца: трупа не было.

Лишь трава на том месте, где он лежал, еще осталась примятой. И валялся рядом выброшенный председателем использованный ружейный патрон.

— Сбежал, что ли? — спросил Петрович. — Не похоже: я не промазал...

Сзади захрустели кусты. Раф обернулся и вздохнул

облегченно: на полянку вышли Старков и Олег. Возбужденные, взволнованные, похожие на стайеров, закончивших многокилометровый пробег нога в ногу, почему-то радостные и в отличие от стайеров совсем не усталые. И у того и у другого болтались па груди немецкие автоматы. И тут они увидели Димку на траве и председателя, стоявшего перед ним на коленях.

— Что с ним? — Старков бросился вперед, склонился над раненым.

— Жив, жив, — сказал председатель. — Не суетись. Пусть лучше кто-нибудь добежит до сторожки, бинты возьмет. Или простыню, на худой конец...

— У нас есть бинты, — быстро сказал Олег. — Я сейчас сбегаяю.

Пока он бегал, Старков с председателем осторожно раздели раненого Димку. Все еще всхлипывающий Раф принес во фляжке воды из ручья, и председатель умело промыл раны.

Димка в сознание так и не приходил, только постанывал сквозь зубы, когда председатель бинтовал ему грудь и плечо.

— Хотя рана и не опасная, но парня в больницу надо, — сказал председатель. — И побыстрее. Кто за машиной пойдет?

— А зачем за ней ходить? — откликнулся Олег. — Мы ее рядом оставили. У реки.

— Что оставили? — удивленно спросил председатель.

— Легковушку. Мы ее у фашистов отбили.

Старков с любопытством посмотрел на него. Вообще теперь, когда состояние Димки уже не вызывало особых опасений, Старков мог спокойно размышлять о том новом, что открылось в его ребятах. И пожалуй, Олег «открылся» наиболее неожиданно.

— По-твоему, машина тебя так и ждет? — спросил Старков.

— Ждет, куда денется, — лениво протянул Олег.

Он тоже успокоился, увидев, что Димка жив, и теперь явно наслаждался своим преимуществом: он что-то знал, а Старков — нет. Более того: от его знания что-то зависело, очень важное. Но этим «что-то» была Димкина жизнь, и Олег, не ломаясь по обыкновению, объяснил:

— Я, когда за бинтами бегал, видел ее.

— У реки? — спросил Старков, и Олег понял смысл вопроса, кивнул согласно:

— Точно. Метрах в ста от зоны экранов. — Потом кивнул на Димку: — Несите его к дороге, а я машину пригоню.

Легковушка оказалась целехонькой, только верх ее во многих местах был прострелен.

Председатель сунул палец в одно из отверстий пониже, спросил Олега:

— В рубашке родился, парень?

— Ага, — хохотнул тот, — в пуленепробиваемой. — И к Рафу: — Садись, плакса, на заднее сиденье, поможешь мне...

Он тронул машину и осторожно повел ее по дороге, стараясь объезжать кочки и рытвины. И даже выехав из леса, не прибавил скорости: лишние четверть часа не играли для состояния Димки особой роли, а тряска по плохой дороге ощутимее на большой скорости.

— Лихо, парень, — сказал председатель. — Такие в войну особо ценились. Так сказать, в первую очередь.

— И гибли тоже в первую очередь, — откликнулся Старков.

— Ну не скажи: этот умеет осторожничать. Смотри, как раненого повез — не шелохнул.

— Умеет, — подтвердил Старков.

Олег действительно умел. Умел рисковать — на самой грани, на тонком канате, когда спасает только чувство баланса. У Олега было оно, это чувство, и он отлично им пользовался. Как в цирке: канатоходец под куполом качнется в сторону, и публика ахает, замирая от страха. И не знает дура публика, что все это — только умелый ход, хорошо рассчитанный на то, чтобы она ахнула, чтобы взорвалась аплодисментами — цените маэстро! Он рисковал, этот канатоходец, — еще бы! — но чувство баланса, умение быть осторожным на грани не подводит. Почти не подводит.

— А куда фашисты подевались? — осторожно спросил председатель: он, видимо, считал, что ученый имеет право не отвечать на наивные для него вопросы.

Старков так не считал и охотно объяснил:

— Их время кончилось. Какой-то из экранов не держал, сгорел, временное поле исчезло, а вместе с

ним — и гости из прошлого. Полагаю, что они сейчас находятся в этом же лесу, только в сорок втором году.

— Живые?

— А может, и мертвые, если нарвались на партизан.

— Так мы же и партизанили в этих лесах.

— Не одни мы. Возле этого села могли орудовать и другие.

— Значит, исчезли... — повторил задумчиво председатель. — Назад вернулись. А как же машина?

— Машина вышла из зоны действия поля, поэтому оно и не захватило ее.

Председатель все еще не понимал.

— А если б они вышли, как ты говоришь, из этой зоны, то и они могли бы остаться?

— Могли, — кивнул Старков. — Только мы им помешали.

— Это верно, — согласился председатель. — Правда, по-твоему, по-ученому, я понимать не могу. В голове не укладывается.

Старков усмехнулся:

— У меня тоже не укладывалось.

А если честно, так и сейчас не укладывается. Как в добрых старых романах: проснуться и сказать: «Ах, какой страшный сон!» Но добрые старые романы мирно пылятся на библиотечных полках, а «трофейная» машина с простреленным кузовом везет в райбольницу парня рождения пятидесятого года, раненного пулей, выпущенной в сорок втором.

— А что ты колхозникам сказал? — спросил он.

— Про банду в старой немецкой форме. Ограбили, мол, где-то трофейный склад. Говорят, есть такой в городе. Для кино.

— И поверили?

— Кто ж не поверит? Раз сказал — значит, так. Доверяют мне люди.

— Так ведь обнаружится же, что банды никакой нет. Разговоры пойдут, милиция встрепетается, а бандитов как ветром сдуло.

— Вот ты и растолкуешь, чтоб зря не болтали. Я народ созову, а ты объясняй. Завтра в клубе и соберемся. Я расскажу, почему про банду соврал. Кстати, и не соврал: была банда. Разве не так?

— Так-то оно так, — согласился Старков, — только поймут ли меня?

— А ты попроще, как бывало... помнишь? Ты комиссар, всегда с народом умел разговаривать. Если не забыл, конечно. Милицию тоже позвать придется. Дело такое — не скроешь.

Старков кивнул согласно, пожал руку, пошел не торопясь к сторожке: генератор надо выключить — зря электроэнергию не переводить да ребят подождать. Вспомнил реплику Петровича о милиции. «Верно ведь: дело-то уголовное по мирному времени. Ну что, подследственный Старков, как оправдываться будем?»

А оправдываться придется. За опасный эксперимент. За «отсутствие техники безопасности» — так пишут в инструкциях? За Димку. За Рафа с Олегом. За себя, наконец...

А что за себя оправдываться? Перемудрил, переусердствовал ученый муж. Как там в старом фокусе: наука умеет много гитик. Ох и много же гитик — не углядишь! За ходом опыта не углядел, за ребятами не углядел. А результат?

Есть и результат — никакая милиция не опровергнет. Теория доказана экспериментально, блестяще доказана — от этого результата не уйти!

...Старков дошел наконец до сторожки, где по-прежнему гудел генератор. Только самописцы писали ровную линию — на нуле, и на нуле же застыла стрелка прибора, показывающего напряженность поля. Напряженность — ноль. Старков выключил ток, посмотрел на индикатор экранов: опять седьмой полетел, никак его Олег не наладит.

Он сел на табуретку, подобрал с полу английский детектив, брошенный Рафом. С пестрой обложки улыбался ему рослый красавец с пистолетом в руке. Старков вспомнил: красавец этот ни разу не задумывался перед выстрелом. Стрелял себе направо и налево, перешагивал через трупы, улыбался чарующе. Ни разу в жизни не выстреливший — наверное, даже из «духовки»! — Раф почему-то любил это чтиво. И любил с увлечением пересказывать похождения очередного супергероя. Вероятно, психологи назвали бы это комплексом неполноценности: искать в книгах то, чего нет и не будет в самом себе.

Нет и не будет? Психологи тоже люди, а значит, не застрахованы от ошибок. По существу, Раф должен заводить Димке или тем более Олегу — их сегодняшним подвигам. А ведь сам он сделал не меньше: его миссия была потруднее лихой перестрелки, затеянной в лесу. Он сумел убедить Петровича собрать и вооружить людей, заставил его поверить в случившееся, хотя оно было невероятней, чем все слышанные когда-то председателем сказки, да еще и вооружился сам, никогда не стрелявший, не знавший даже, как прицелиться или нажать курок. Он знал только, что готовился к бою, к жестокой военной схватке, о которых лишь читал или слышал на школьных уроках. Знал и остался в деревне вместе с детьми и женщинами, а пошел в бой с дробовиком против «шмайссеров».

Кстати, два из них остались у Старкова с Олегом вместе с «трофейной» машиной из прошлого. Все это придется, конечно, сдать. А жаль. Машина им пригодилась бы, да и Олег уж очень лихо ею управляет.

Лихой парень Олег. Отчаянный и бесшабашный. Старкова почему-то всегда коробила эта бесшабашность. И пожалуй, зря коробила. Радоваться было надо, что не перевелись у нас храбрецы, которыми так гордились в годы войны и которые, если понадобится, повторят подвиг Матросова и Гастелло. Это в крови у народа — героизм, желание подвига. Так и не думай о том, что твоих студентов в школе этому как следует не учили. Когда политрук подымал взвод или роту в атаку, он не читал солдатам длинных и продуманных лекций. Он кричал охрипшим голосом: «Вперед! За Родину!» — и люди не ждали других слов, потому что все другие слова были лишними. А подвиг боится лишних слов, отступает перед ними. Подвиг ведь не рассуждение, а действие. Таков и подвиг Олега. Он не знал, что седьмой экран на пределе, что поле, а вместе с ним и «гости» из прошлого вот-вот исчезнут. Он принял единственно верное решение — совершил почти невозможное.

О своем подвиге Старков и не думал. А ведь если бы экран не сдал, то через какие-нибудь полчаса вернувшиеся ни с чем из-за Кривой балки гитлеровцы повесили бы его на том же суку, под которым он стоял, уверяя, что партизанского штаба в деревне нет. Сейчас он даже не вспо-

мнил бы об этом: какой еще подвиг — просто ожила спрятанная где-то в душе «военная косточка», которая давалась людям не в семилетке или десятилетке, а прямо на поле боя. Ведь и тебя, Старков, и председателя никто, в сущности, не учил воевать, а просто взяли вы в руки винтовки и пошли на фронт. И здорово воевали — такие же мальчишки, как Димка, Раф и Олег. Так вот и оказалось, Старков, что нет никакой разницы между тобой и твоими студентами: бой показал, что нет ее. Нет стариков и нет мальчишек — есть мужчины. Проверка боем окончена...

Он встал и вышел из сарая. Дождь кончился, и серая мусть облаков расплзалась, обнажая блекло-голубое небо. Где-то в лесу знакомо урчал «трофейный» автомобиль, и Старков медленно пошел ему навстречу.

„ВЕДЬМИН СТОЛБ“

Фантастическая повесть



ПРОБА ПЕРА. БЕРНИ ЯНГ

Не было ни Франкенштейна, ни Дракулы, ни порождений Хитчкока¹.

Но был ужас. Нидзевецкий умер. Мы выжили. Впрочем, начинать надо не с этого.

Лучше перепишу с магнитофонной ленты часть моей беседы с репортером Леймонтского телевидения, так и не появившейся на телеэкранах.

Телеобозреватель. Мы очень заинтересованы в этой беседе, господин Янг. Может быть, разрешите вас называть просто Берни?

Я. Называйте.

Телеобозреватель. Вы считаете это параллельной цивилизацией?

Я. Что значит «параллельной»?

Телеобозреватель. Ну, расположенной по соседству, в другом пространстве.

Я. Не убежден.

Телеобозреватель. Ну, скажем, разумной жизнью.

Я. Не знаю.

Телеобозреватель. Но вы же видели все, как говорится, своими глазами?

Я. Очень точно сказано: не своими глазами я, конечно, видеть не мог. Но, кроме меня, то же самое видели и другие.

¹ Франкенштейн — чудовище из одноименного английского «готического» романа, Дракула — герой романа и фильмов о вампирах в Англии и США, Хитчкок — американский кинорежиссер, автор «фильмов-ужасов».

Телеобозреватель. Вы же единственный ученый-физик, побывавший за пределами земного пространства.

Я. Во-первых, я не ученый-физик, а простой лаборант, а во-вторых, я не убежден, что был за пределами земного пространства.

Телеобозреватель. Ну, скажем, видимого и ощущаемого нами пространства.

Я. Допустим.

Телеобозреватель. Так я и хочу представить вас нашим телезрителям. Не будьте таким колючим, Берни. Вас слушают тысячи заинтересованных.

Я. Никто меня сейчас не слушает, кроме вас. Вы производите телезапись, а потом будете или не будете передавать ее на телеэкраны.

Телеобозреватель. Почему не будем? Будем! Обязательно будем. Не стесняйтесь, Берни. Рассказывайте все, что вы видели и чувствовали.

Я. Я уже не раз это рассказывал. Зачитайте вашим телезрителям вырезки из леймонтских газет.

Телеобозреватель. Но официальная наука не подтвердила газетных высказываний.

Я. Тем менее у меня оснований опровергать мнение официальной науки.

Телеобозреватель. Значит, вы ничего не расскажете нашим телезрителям?

Я. Оставьте меня в покое.

Телеобозреватель. Вы пожалеете об этом, Берни.

Но я не пожалел об этом, я просто вычеркнул все переписанное с магнитофона... Опять не с того начал.

А начинать надо было с бездомного человечка по имени Кит. О нем я тогда не знал, как и никто в городе, кроме полицейского учетчика в леймонтском въездном участке. Человечка остановил на шоссе полицейский патруль на мотоциклах и предупредил учетчика по радио, чтобы тот задержал бродягу, если он появится в городе. Но Кит до города не дошел. На шоссе у обочины остались лишь его стоптанные ботинки, которые он снял, чтобы отдохнуть усталые ноги. Куда и почему он пошел босиком, так и осталось неизвестным, да и спрятаться было негде. По обеим сторонам шоссе тянулись огражденные колючей проволокой пастбища, пустынные из-за выжженной солн-

цем травы, да стенды выгоревших и слинявших реклам. Конечно, о бродяге тут же забыли.

Но о нем вспомнили неделю спустя, когда на шоссе возле брошенных и посеревших от пыли ботинок нашли пустой четырехместный «вольво», принадлежавший генеральному прокурору Леймонта Флаймеру, вернее, его разведенной дочери Юлии, уехавшей развлекаться с тремя приятелями — сыновьями леймонтского банкира Плучека, братьями-близнецами Люсом и Люком и их прихлебателем, прозванным Красавчиком за женственный вид и длинные, как у средневекового паж, платиновые волнистые волосы.

О пропаже Красавчика, разумеется, никто не жалел, но исчезновение отпрысков влиятельнейших в городе личностей встряхнуло всю полицейскую сеть Леймонта. Были опрошены водители всех проезжавших мимо машин. Многие видели автомобиль, управляемый Юлией, некоторые заметили пустую, стоявшую у обочины шоссе машину, но никто ничего не мог сказать об ее исчезнувших пассажирах. На полтора миль в округе каждый метр земли был обследован, и нигде не обнаружено ни малейших следов пропавших. Только кружевной носовой платок Юлии валялся в полуметре от запыленного ботинка Кита, что, однако, не объяснило причины, зачем ей и ее друзьям понадобилось выходить из машины. Пешком они уйти не могли: слишком далеко отъехали от города, да и обстановка кругом не располагала к пешеходным прогулкам. Убийство с целью ограбления тоже исключалось, так как убить и бесследно перетащить трупы четырех человек, скажем, в другую машину было трудно, да и сумочка Юлии с крупной суммой денег была обнаружена нетронутой на ее водительском месте. Отпадала и версия о похищении, потому что ни прокурор, ни банкир не получали никаких требований о выкупе.

Во время третьей или четвертой полицейской экскурсии на месте исчезновения произошла еще одна сенсация: исчез полицейский, зачем-то задержавшийся у так и не убранных ботинок бродяги. Исчез он буквально у всех на глазах, растаял, как мыльный пузырь: шагнул человек, и не стало человека. И найти его не смогли, сколько ни бегали и ни кричали прибывшие с ним полицейские. Это было уже просто чудом, загадочным и необъяснимым.

Я не читаю полицейской хроники, но леймонтские газеты буквально все полосы заняли таинственными исчезновениями. Высказывались католические прелаты, отставные полковники, бакалавры оккультных наук, спириты и маги. У нас в институте новых физических проблем лениво поговаривали о супер- и гиперпространстве, но в прения не вмешивались. Зато целые столбцы в газетах были посвящены декларации городских ведьм; оказывается, были и такие в Леймонте, преимущественно старые девы. Муниципальные власти оказались так предупредительны к их собранию в Большом концертном зале Леймонта, что не только не сожгли их на костре, но даже согласились на их требование воздвигнуть на месте исчезновений предупреждающий столб с прибитой к нему черной доской, на которой белой краской было выведено:

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

ОПАСНОСТИ

ИМЕННО ЗДЕСЬ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ.

Из любопытства я съездил на своем «фордике» к этому столбу, торчащему вопреки здравому смыслу среди пустынного земельного уныния. Я даже походил вокруг него, но не исчез и благополучно вернулся в Леймонт, так и не раскрыв взволновавшей весь город тайны. Меня, конечно, несмотря на все мое презрение к псевдонаучной газетной болтовне, она не оставила равнодушным. Я был заинтересован. Не выдумками вроде летающих блюд и зеленых человечков из космоса, а самим фактом бесследного исчезновения живой органической материи. Как мог исчезнуть, раствориться в воздухе человек? Может быть, распад атомов, вызванный неизвестным космическим излучением, или действительно шаг в супер- или гиперпространство? Некая калитка в Неведомое. Я даже представил себе, что кто-то увидел эту калитку, скажем, в дымке тумана или в столбе пыли. Вероятно, Юлия. Она вышла первая, что-то заметив возле стоптанных бродяжьих ботинок. Вышла и пропала, растаяла в воздухе. Затем, вероятно, выскочили Люк и Люс. Калитку они тоже увидели, но войти не осмелились. Возможно, они решили поставить эксперимент на Красавчике. Тот отнекивался, прот-

стовал, но его втолкнули первым. Я представляю себе, как они бегали и кричали: «Юля! Юля! Ау!», как переглянулись понимающе и согласно и втолкнули Красавчика в пылевой столб. А когда тот исчез, им ничего не оставалось, как проследовать за ним сквозь калитку в Неведомое. «Рискнем, Люк?» — «А может, все же вернуться?» — «Неудобно, не по-рыцарски. Юлька дочь как-никак прокурора и вообще невредная. Неудобно все-таки оставить ее без помощи». — «Да и любопытно, пожалуй...» — «Ну, рискнем так рискнем». И рискнули.

В моем пересказе все это выглядит как фарс, а не трагедия. Но я не Шекспир, трагически мыслить не умею. Да и у нас в институте никто не мыслил трагически. Болтали так, между прочим в пивном баре за ленчем. А за работой и болтать было не с кем и некогда. С научным руководством мы не общались. То был другой класс, другой круг, другой уровень мышления и благосостояния. Да никто из профессоров института, по-моему, и не относился серьезно к леймонтской сенсации. Я слышал слова: «болтовня», «вздор», «сбежали куда-нибудь спьяна», «газетная трескотня». Потом трескотня утихла. От сенсации остался только «ведьмин столб» на Леймонтском шоссе. Мимо него проезжали, не обращая внимания и не останавливаясь. Об исчезновениях людей на дороге забыли, как о летающих блюдцах и сигналах из космоса.

Но я еще не знал тогда, что очень скоро мне придется об этом вспомнить.

КАЛИТКА В НЕВЕДОМОЕ. ЯКОВ СТОН

Сорокапятилетний, сухой, чуть сутулый и всегда чисто выбритый Яков Стон был вполне здоровым человеком, никогда ничем не болевшим, кроме давно забытых детских болезней. В организме у него была только одна аномалия: сердце его билось не слева, а справа, но всегда нормально, не нуждаясь ни в валидоле, ни в других сердечных лекарствах. «У вас бычье сердце, мой друг, — сказал ему как-то заинтересовавшийся доктор, — с таким сердцем живут до ста лет, а то, что оно расположилось на другом месте, это только случайная ошибка господ

бога. Вам она не мешает». И сердце никогда не подводило Якова Стона в его беспокойной и пестрой жизни.

Рано потерявший отца и мать, исключенный из колледжа за участие в какой-то афере, он за два десятилетия переменял много профессий. Был репортером, барменом, профессиональным карточным игроком, массажистом и даже сыщиком. Правда, не в полиции, а в частном сыском агентстве, занимавшемся промышленным шпионажем. Не женился, потому что был расчетлив, а заработки слишком резко колебались от случая к случаю. К колебаниям этим он относился философски: иногда идет карта, иногда не идет. Сейчас не шла. И он выбрал для новой партии Леймонт, как не очень крупный провинциальный город, где считают на миллионы, а не на миллиарды, где меньше людей влиятельных, меньше полицейских, меньше жуликов и ловких деловых хищников.

Он знал двух-трех людей в городе, от которых тянулись ниточки в так называемое «высшее общество» и в так называемые «низы».

На стареньком «торнадо» с новым мотором он доехал до гостиницы «Веселый тюлень», получил номер и навестил одного из своих знакомцев.

Разговор был дружественный, но деловой.

— Кто есть кто в городе, я уже приблизительно знаю.

— От кого?

— От бармена Тони.

— Информация точная. Тони вполне надежен.

— Только не вполне откровенен. Предпочитает держать язык за зубами.

— А есть рискованные вопросы?

— Есть. Например, берет ли прокурор Флаймер?

— Только крупно и не лично, а через «жирную Инесу» в баре «Олимпик». Предвидишь дело?

— Смотря какое. Пока присматриваюсь.

— Бар или бильярдную?

— А если кегельбан?

— Не пройдет. У нас таких штук не знают.

— А как прикрыtie?

— Если метать банк, то без Джакомо Спинелли и колоды не распечатаешь.

— Говорят, у него два телохранителя?

— Не два, а четыре.

— А чем интересуется Джакомо Спинелли, кроме денег? Женщины?

— Их у него полно. Камни.

— Какие?

— Чистой воды и не менее пяти каратов.

— Значит, придется ограничиться баром.

— Тут без Флаймера не обойтись. У него тесть начальник полиции. Только с Флаймером придется подождать: психует. Так что на «жирную Инессу» не надейся. У него дочь пропала.

— Сбежала или похитили?

— Нет, просто исчезла. Таинственно и необъяснимо.

— С помощью Джакомо Спинелли?

— С его помощью не исчезают бесследно. Остается дырка в черепе. А тут как в цирке: раз-два — и готово. Ты что, не слыхал разве о леймонтских исчезновениях? Милых в тридцати по шоссе от города к западу. Там и «ведьмин столб» стоит с надписью: «Здесь исчезают люди». Неужели не видел?

— Я ехал с востока. А что за исчезновения?

— Сначала бездомный бродяга, потом прокурорская дочка с сынками банкира Плучека и их прихлебателем и один полицейский. Растаяли в воздухе, как мороженое.

— Вранье, наверно.

— Я тоже не верю, но «ведьмин столб» видел.

— Почему ведьмин?

— Его поставили по требованию общества ведьм. Милые, в общем, девицы и не без влияния. Между прочим, приличный взнос в их общество может помочь и в наших греховных делах.

— Бред.

— В Леймонте многое кажется бредом. Сам увидишь. Кстати, съезди-ка на тридцатый километр к этому столбику. Я ездил.

— И не исчез.

— Как видишь. Впрочем, я не рискнул выходить из машины.

— Боялся?

— Нет, конечно, а рисковать не хотелось. Внушительный столбик. И мыслишка мелькнула: не зря же его поставили.

На следующее утро Яков Стоп в церковь, конечно, не пошел, хотя было воскресенье и уважающие себя леймонтцы важно прошествовали под окнами, приодетые и умытые. Но Стоп в своих делах привык обходиться без помощи божией. Не слишком довольный вчерашним разговором, он объехал город, ничего нового для себя не увидел, сыграл три партии на бильярде в крайнем заведении, выиграл шесть засаленных, измятых бумажек, три пропил в соседнем баре и от нечего делать отправился на тридцатый километр за городом. Там он остановился, несмотря на предупреждение. Столб был внушительный, розоватый, буковый, с назидательной надписью. Равнодушный к назиданию, Стоп с несвежей от проглоченного спиртного головой подошел к нему и потрогал: крепко. Обошел: ничего не случилось. Потом отошел в сторону и прищурился. И тут ему показалось, что воздух, одинаково прозрачный на милю в окружности, в полуметре от столба словно чуть-чуть потемнел, как стакан воды, в который капнули молоком. Будто прямоугольник с закругленными углами, слегка припудренный пылью. Оглянулся: рыжая засохшая трава, оголенная колючей проволокой, нигде не украшалась присутствием человека. Не раздумывая, потому что думать от виски и жары не хотелось, Стоп шагнул к запяленной прозрачности и пропал.

Вернее, пропало все окружающее: трава, проволока, столб, земля и небо. Стоп очутился в темноватом коридоре с упругими, но не проницаемыми стенками с тропинкой посреди, по бокам которой идти было трудно, потому что края ее закруглялись кверху. Позади была темнота, впереди не слишком далеко, но и не рядом маячил тусклый, беловатый, словно бы дневной, свет. Стоп пошел вперед, ощущая как бы два воздушных потока: один — встречный от света слева, другой — подталкивающий справа из темноты. Соприкасаясь, они образовывали, как он догадался впоследствии, некую химическую реакцию, воздействие которой он уже ощутил, пройдя десяток шагов вперед. Вся левая сторона его тела как бы немела, становилась чужой, рука сгибалась с трудом, нога еле двигалась. Прижимаясь к правой стороне коридора, он пошел дальше; стало чуть легче, немело теперь только левое плечо и рука. Через два-три

шага он наткнулся на распластанное тело полицейского: он был мертв, но тело не разложилось, даже запаха, характерного для морга, не было. Еще через два шага он увидел тело бродяги и возле него трех мертвых парней, которые, видимо, пытались его сдвинуть. А чуть поодаль, опрокинувшись на спину, лежала девушка, тоже мертвая и тоже не разложившаяся, хотя, как запомнил Стон, эпидемия исчезновений на Леймонтском шоссе произошла уже более месяца назад. Все тела были холодные, как тела мертвецов, но не тронутые разложением,—как куклы в музее восковых фигур.

Осторожно, прижимаясь к правой пружинящей стороне коридора, он вышел на свет и чуть не ослеп от нестерпимого блеска. Именно блеска, а не света, сияющего сверкания, ударившего по глазам, как тысяча молний. Стон уже не мог стоять даже с закрытыми глазами: левая нога его совсем одеревенела. Сознания он не потерял, он знал, что жив, только исчезла мысль и память о случившемся. Он видел что-то цветное, сменяющееся и яркое, видел не открывая глаз, будто на вращающейся ленте. Запомнить ничего было нельзя, как после выставки произведений абстрактного искусства: пятна и линии, линии и пятна. Потом все исчезло; он вспомнил, что случилось, и чуть-чуть приоткрыл глаза. Блеск был по-прежнему сильный, но глаз уже привыкал. Стон приподнялся, и ему стало больно: он лежал на россыпи битого стекла и острые, колющие осколки впивались в тело. Кругом простирался как бы кокон, совсем не цветной и не прозрачный, словно его сделали из чисто вымытого горного хрусталя. Не было того, что мы называем землей и небом, картиной или ландшафтом. Все вокруг было замкнуто, как кишкообразный пузырь, из которого выпустили часть воздуха, стенки его сплошь покрылись морщинами, ямами и выступами, которые вблизи были похожи на невысокие утесы и скалы. Естественные грани их были отшлифованы, словно потрудились тысячи гранильщиков, усилив сверкание их до бриллиантового блеска. Кокон был велик, в нем легко поместился бы поваленный набор небоскреба, и дышать в этом замкнутом и едва ли проветриваемом пространстве было легко и приятно, даже лучше, чем на шоссе возле пресловутого «ведьмина столба»: никакой пыли

здесь не было и никакой жары, как на палубе большого океанского парохода.

Стон, повернувшись, машинально сгреб из-под себя горсть похожих на острые стекла камешков, поднес их к глазам и обмер... То было совсем не стекло. Ему не раз в его многопрофессиональной и пестрой жизни приходилось иметь дело с драгоценными и дорогостоящими камнями, он знал, что такое караты, и держал в руках фальшивые и настоящие бриллианты. То, что захватила его ладонь, было множеством именно настоящих, а не фальшивых драгоценностей,—не осколков горного хрусталя, а многокаратных камней, за которые буквально дрались бы перекупщики на любом ювелирном рынке. Внимательно, очень внимательно осмотрев их, он разглядел и то, чем отличались они от окружающих его скал и утесов. Те тоже сверкали, как бриллианты, но только еще ярче, как бы подсвеченные изнутри электрическим светом в несколько тысяч ватт. Их сверкающий блеск был живым и грозным, а камешки на ладони были просто камнями, чистой воды алмазами, к которым еще не прикасалась рука гранильщика. Несколько часов профессиональной работы, и горсть на его руке превратится в сокровище стоимостью в десятки или сотни тысяч бумажек в любой самой прочной валюте.

Он сунул камни в карман, и все кругом снова волшебным образом изменилось, как в сказке. Уже не бриллиантовый кокон окружал его, а вполне земная обстановка, только внезапно изменявшаяся с каждой минутой. Сознание его как бы раздвоилось: с одной стороны, он был вне видимого пространства и жизни, способный осмыслить и объяснить виденное, с другой стороны, был тем, кого видел в изменяющейся обстановке. Сначала он видел себя на столе, покрытом белой клеенкой, только что родившимся младенцем, и этому младенцу было неудобно и больно, и его содрогал рвавшийся из горла крик. В ту же минуту он наблюдал и первое кормление свое, и первую соску, и первую погремушку, когда чьи-то руки прижимались к нему, крошечному Стону, и большой Стон как бы впервые переживал свое рождение и рост. Он рос с чудовищной быстротой, почти не видя переходов от года к году, пил, ел, спал и болел, целовал чье-то женское лицо, что-то думал при этом, только никак не мог пой-

мать эти думы. Он вообще с трудом разбирался в этих менявшихся со скоростью звука кадрах. Именно кадрах. Перед ним как бы разворачивалась кинолента его жизни, чудо оператора, фиксировавшего в ней каждый час, минуту, мгновение. Большой Стон видел себя уже мальчиком, выписывающим мелком буквы на черной классной доске, буквы сменялись цифрами, одни лица сливались с другими во что-то дьявольски безобразное и неповторимое. У нынешнего живого Стона смертельно ломило голову, замирало сердце, перехватывало дыхание. Более мучительного состояния он никогда не испытывал. Какие-то картины запоминались, выхваченные крупным планом в этой бессмысленной киночертовщине. Вот он проваливается на экзамене по истории, вот его ухватили за руку, когда он выбросил из рукава второго туза, вот в него целится оливковая Иветта из Джипси-бара, и только апельсиновая корка, на которой он поскользнулся в эту секунду, спасает его от пули. Он уже забыл о юноше, он уже взрослый, потрепанный жизнью и неудачами человек, а лента все еще бежит перед ним, цветная, стереоскопическая, сотканная из подлинно живых картин и картинок, в глазах рябит, невыносимо болит голова, а биение сердца кажется трескотней теле-тайпа. Слов уже нет, ничего не слышно, потом вдруг, как на магнитофонной катушке, повторяется разговор о лей-монтских исчезновениях, и тот, другой Стон, опять смеется, закуривая сигару,— все так и было еще вчера. И как обрыв киноплёнки погружает зал в темноту, так и он падает в эту черную одурь и точно так же, как в кино-зале, вдруг вспыхивает свет до боли знакомым уже бриллиантовым блеском. Он все еще валяется на острых осколках в каком-то хрустальном ангаре среди подсвеченных изнутри утесов и скал.

«Еще немного, и я бы умер,— подумал Стон,— и как выбраться отсюда, если выхода нет?» Он оглянулся и сразу увидел за спиной темно-серый прямоугольный выход из коридора, сквозь который он проник сюда. «Странно, до этой свистопляски его не было, кокон был замкнут со всех сторон»,— мелькнула мысль. Он попытался подняться и дойти до этого манящего пятна. Оно темнело в воздухе, в той же хрустальной прозрачности, абсолютно нематериальное, и все же он знал, что это

выход. Кое-как спотыкаясь, он добрался до него и шагнул в никуда.

И сразу изменилась обстановка. Бриллиантовый кокон исчез, позади была темнота, а впереди в конце коридора где-то маячил тусклый, сумеречный свет. Коридор словно повернули: он в точности повторял тот же, по которому Стон пришел сюда, и снова сливались в середине два встречных воздушных потока, и так же слева немело плечо, нога и пальцы левой руки. Неужели он снова шел в бриллиантовый мир, который был сзади; ведь он только что добрался сюда с бриллиантовых россыпей. Нет, не может быть, впереди должен быть выход на шоссе в привычном земном мире, где одиноко торчал «ведьмин столб» у такой же полутемной прозрачности в воздухе. Стон сразу сообразил, что надо прижаться к правой резиновой упругости, иначе левая сторона совсем онемееет. Теперь он понял, почему исчезали люди. Они умирали в этом противоестественном коридоре, потому что с онемением левой стороны тела переставало работать и сердце. Его спасла физическая аномалия, поместившая при рождении его сердце не слева, а справа.

Почти вжимаясь в правую стенку, Стон добрался до перегораживающих коридор трупов и, не задерживаясь, перешагнул через них, на этот раз не останавливаясь и не дотрагиваясь до мертвых тел. Наконец маячивший впереди бледный свет вывел его на знакомое шоссе, где у «ведьмина столба» все еще стояла его машина. Когда он сел за руль и оглянулся, серо-голубой прямоугольной прозрачности уже не было.

Хлебнув виски из бутылки, оставленной на сиденье, он сразу почувствовал себя лучше, хотя левая рука еще не сгибалась. «Ну что ж,— подумал он,— попробуем теперь оценить добычу».

ЯКОВ СТОН. ПУТЬ К МИЛЛИОНАМ

Когда Стон добрался до гостиницы, уже стемнело — значит, он отсутствовал более восьми часов. Есть не хотелось, но он все-таки зашел в бар и заказал полстака-на коньяку и соленую булочку. Бармен, с которым он

познакомился еще вчера и который подавал ему завтрак утром, увидев его, обомлел:

— Что с вами, господин Стон?

— А что? — зевнул Стон.

— Вы красите волосы?

— С ума сошел! Зачем?

— Я думал, попали в дождь и краска сошла. У вас половина волос седая.

— Дай зеркало.

Бармен вынул из-под стойки маленькое круглое зеркальце, подышал на него, протер и подал Стону. На него взглянул изможденный, худой старик, черные волосы которого густо смешались с проседью.

— Случилось что-нибудь? — участливо спросил бармен.

— Случилось, — сказал Стон, — краска сошла. Только лучше об этом помалкивай.

Он выпил залпом коньяк, откусил кусок булки и поднялся к себе в номер. Там, не раздеваясь, как был в пиджаке и туфлях, плюхнулся на незастеленную кровать и мгновенно заснул. На рассвете проснулся, разделся, принял ванну и снова лег. Только теперь он не спал.

Он думал о том, что с ним произошло вчера, как это объяснить и можно ли вообще объяснить. Вероятно, нельзя. Даже его незаконченное образование позволяло ему предположить, что произошел некий физический казус, явно противоречащий законам Эвклида и Ньютона. На Леймонтском шоссе у «ведьмина столба», справедливо предупреждающего смельчака об ожидавших его опасностях, открылся вход в другое пространство или часть пространства, в котором ничто не походит на земной или лунный пейзаж. Вход открывается и закрывается, в какие сроки — неизвестно, но его можно увидеть, если в подходящий момент хорошо всмотреться в окружающий воздух. Вход ведет в коридор, по которому можно войти в замкнутый, неудобный и, по земным масштабам, крохотный мир гигантски увеличенных алмазов, не отсвечивающих, а самостоятельно излучающих свет. Живые они или мертвые, сказать трудно, но с них, как с человека кусочки засохшей кожицы, спадают мелкие алмазные осколки, которые, если над ними потрудится грагильщик, превратятся в бриллианты чистейшей воды.

Однако по заповедному коридору нормальный человек пройти не может: соприкосновение встречающих воздушных потоков создает реакцию, парализующую сердце, точнее, всю левую половину тела. Стон прошел только потому, что сердце его находилось на неподобающей ему стороне.

Стон прошел, но обратно уже не вернется: слишком мучительна была эта пытка оживленной памятью о прошлой жизни. Так и умереть можно. Еще разок — и сдохнешь на этих осколках от кровоизлияния в мозг. Нет, теперь за алмазами пойдут другие. Надо только их завербовать, а таких ненормальных, как я, вероятно, можно найти в Леймонте. Не такая уже редкость — сердце справа и хорошее здоровье плюс молодость. За большие деньги пойдут, надо только заполучить эти деньги, купить этот участок близ шоссе, вырвать к черту «ведьмин столб», отпугивающий людей, поймать серый прозрачный прямоугольник и пустить туда одного за другим. Надежных, верных, нуждающихся в заработке.

Стон вытряхнул из валявшихся рядом брюк горсть принесенных алмазов и задумался. Самые мелкие из них не меньше десяти каратов, а крупные потянут на сто и больше. Таким на земле дают собственные имена — настолько они знамениты во всем мире, почитающем драгоценности. Их в Леймонте, пожалуй, и не продашь — придется подождать более крупных деловых связей и более солидного положения в финансовых кругах. Но все остальное надо продать в Леймонте: в большом промышленном городе его с потрохами сожрут, останешься с брюхом, перерезанным автоматной очередью. Здесь же у него есть Мартенс и Звездич, которые во всем помогут и все оборудуют, только обоим придется взять в дело. Звездич возьмет много, но от пяти-шести миллионов, которые рассыпаны сейчас по столу, останется далеко не малая толика, так что можно рискнуть и на десять процентов. Мартенс обойдется дешевле — он жулик мелкотравчатый, но в мелкотравчатом мире связей у него предостаточно. Именно через него он и найдет грагильщика, который будет молчать и сделает все в лучшем виде.

Найти Мартенса было не легко. Стон объехал почти все бары и залы игровых автоматов, пока не наткнул-

ся на него в одной полубильярдной-полубаре за стойкой с горячим. Мартенс был уже в подпитии, но соображал и запоминал все.

— Привет в Леймонте,— выдохнул Мартенс.— Поседел здорово. Или уже прошли золотые деньки?

— Их и не было,— сказал Стон.— А сейчас начинаются. Потому и приехал.

— Зря приехал. Профессионалов карточной игры здесь больше, чем бакалавров наук. На чистую рубашу не заработаешь.

— Карточная игра меня не интересует. Есть дело повыгоднее.

— А мне это ни к чему. Я у Джакомо Спинелли работаю.

— Телохранителем?

— Не, стрелять не люблю, да и настоящей меткости нет. Так себе, разные поручения.

— Комиссионные?

— Бывают и комиссионные.

— Говорят, Джакомо камешками интересуется?

— А ты уже знаешь, что говорят?

— Знаю, если приехал. Товар подыскиваешь?

— Тут люди покрупнее меня работают. Вот ювелира подходящего подыскать могу.

— А гранильщика?

— Есть товар? — заинтересовался Мартенс.

Стон подумал о пределе откровенности с Мартенсом и решил не открывать карт.

— Необходима личная встреча с мастером, который умеет держать язык за зубами.

— А что получу я? — спросил Мартенс.

— Если гранильщик не болтун и если он выполнит работу за несколько дней, получишь, скажем, тысячу.

Мартенс задумался.

— Подходящая цифра, спорить не о чем,— сказал он.— Сколько времени даешь на розыск и когда должна состояться встреча?

— Когда открывается этот бар? — спросил Стон.

— В полдень.

— Так вот в полдень через два дня. Интересы Джакомо Спинелли здесь не затрагиваются, так что можешь ему не докладывать. И учти: если со мной что-нибудь

случится, ты просто исчезнешь, как люди у «ведьмина столба».

— Ты же меня знаешь, Стон.

— Потому и пришел к тебе. А теперь прощай, у меня еще один нужный визит.

— К Звездичу?

— Ты слишком догадлив, Мартенс,— сказал Стон,— а догадливые люди долго не живут. Значит, через два дня в полдень. Пока.

К Звездичу Стон поехал вечером, захватив с собой несколько мелких и крупных камешков — их можно было показать ему и без огранки. Звездич человек опытный, сразу определит, что это не фальшивки. Остальные камни для безопасности Стон поместил в специально заказанном сейфе Центрального банка в Леймонте, открывавшемся только ему одному известным шифром.

Для визита к Звездичу Стон приделался и причесал красящей щеткой волосы — ведь он был у него только позавчера, и внимательный глаз приятеля и соучастника многих стоновских авантур сразу же заметил бы происшедшие изменения. Пришлось бы врать, объясняя необъяснимое.

Звездич принял его в пижаме и туфлях. Он был лыс, жирен и, должно быть, плохо спал ночью.

— Ну как, присмотрелся? — спросил он.

— Не только. Уже решил.

— Что именно?

— Есть предложение.

— Мелкие дела меня больше не интересуют,— сказал Звездич, открывая бутылку рома.

— Дело не мелкое.

— Смотря по чьей мерке.

— Даже по твоей.

— На тысячи или десятки тысяч?

— Бери выше.

— На сотни? — спросил Звездич уже удивленно.

— Еще выше. На миллионы.

— Ограбление банка или фиктивные акции? — ухмыльнулся Звездич.— Для таких авантур я уже стар, дружище, да и тебе не советую.

Стон помолчал, как бы решая, рассказывать все или нет. Потом сказал:

— Пока ты прихлебывал на кухне у Спинелли, я не дремал в кресле-качалке. Я был в Южной Африке у Людевиц на алмазной зоне побережья.

— Кому врешь? Я же знаю, что зона запретна и туристов туда не пускают.

— Я был не как турист. А что я вывез, смотри.

Он вынул из кармана бумажный конвертик и высыпал на стол его содержимое — десятка полтора алмазов чистейшей воды, прозрачных и не окрашенных посторонними примесями. Даже без огранки они стоили бы немало, причем самый мелкий весил не меньше десяти каратов.

— Возьми лупу. Посмотри на свет. Я фальшивками не торгую, — сказал Стон.

Поблудневший от волнения Звездич трясущимися руками взял один из камней и поднес к глазам. В такой позе он простоял не менее двух минут.

— Настоящие, — сказал он. — Даже ювелирной экспертизы не нужно. Это все?

— Нет, только четверть вывезенного и спрятанного в сейфе. После огранки это будут бриллианты, достойные королей. Хотя короли урана и нефти и не носят корон, но драгоценные камни любят и ценят.

— У тебя уже есть гранильщик?

— Нашел одного через Мартенса.

— Сколько дал? Я имею в виду Мартенса.

— Тысячу.

— Можно было дать и дешевле. Найти гранильщика много легче, чем покупателя. Особенно здесь, в Леймонте.

— Потому я и пришел к тебе.

— А сколько получу я?

— Десять процентов. Рассчитывай на миллион. Думаю, не меньше.

Звездич задумался. Сделка была стоящей, самой крупной в его жизни. Миллиона три даст Спинелли, миллионов пять банкир Плучек, остальные выложат воротилы помельче.

— Все камни такие?

— Есть и крупнее. Экспертизу давай любую. Я знаю, что экспертиза понадобится: миллионы так просто не отдают. Только без болтовни. Бриллианты не краденые: я

сам нашел россыпи. А россыпи старательские — никто преследовать не будет.

— Придется все же продешевить, — вздохнул Звездич. — Источник товара неясен. А разяснять не желательно. Мои условия миллион, а тебе, я думаю, еще шесть-семь останется. В самом худшем случае. А может, и больше.

Стон не спорил: Звездич не болтун и ситуацию знает, а шесть-семь миллионов — это уже конец скитаниям, авантюрам, аферам и мелкому жульничеству...

И Стон не ошибся. Спрятав самые крупные бриллианты, продавать которые через Звездича было уже рискованно, он продал все остальное за восемь миллионов. После расчета со Звездичем у него осталось семь плюс еще пять-шесть камней такого размера и веса, что они сделали бы его одним из королей мирового ювелирного рынка.

Однако он предпочел стать единственным и всемогущим владыкой этого рынка. Нужно было только снова открыть калитку в Неведомое.

Первым шагом на этом пути была покупка у фирмы «Кроул и Кроул. Песок и гравий» земельного участка, примыкавшего к шоссе как раз там, где все еще высился «ведьмин столб». Он не только не мешал, он был даже нужен Стону, как вежа, вблизи которой открывалась и закрывалась ел видимая калитка. Оставалось немного: найти кандидатов на путешествие по опасному коридору, проверить их годность, завербовать, проинструктировать и обеспечить сохранность всего ими вынесенного.

С этого Стон и начал.

БЕРНИ ЯНГ. ДАРЫ ДАНАЙЦЕВ

Timeo danaos et dona ferentes. Боюсь данайцев, дары приносящих.

Так строчка из «Энеиды» Вергилия вошла в лексикон современного интеллигента.

Первый дар я получил в виде очень странного объявления, напечатанного в «Леймонтской хронике»:

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ
РАБОТУ

лица от 20 до 40 лет

с единственным условием, что
при нормально-оптимальном состоянии здоровья сердце у
них находилось бы не слева, а справа.

Работа кратковременная, но может стать постоянной, требует от приглашаемого некоторого мужества и бесстрашия, но опасности для жизни не представляет. Ни в чем не противоречит она и законам государства, равно как и моральным принципам.

В случае кратковременности за несколько дней инструктажа и один день работы приглашаемому выплачивается наличными или чеком пять тысяч долларов в любой валюте.

Лица с нормальным положением сердца в грудной клетке могут не беспокоиться. Обман будет немедленно установлен специальными медицинским обследованием.

С предложениями и запросами обращаться в юридическую контору «Винс и Водичка» на Мейсенской улице, дом 22.

К объявлению в городе отнеслись, как к курьезу или мистификации, за которой последует рекламное разъяснение с восхвалением нового сорта зубной пасты или туалетной бумаги.

— Читал? — спросил меня владелец табачного киоска, где я обычно покупал сигареты. — Пять тысяч! Дураков ловят.

В пивном баре за утренним завтраком соседи, наскоро глотая кофе с поджаренной булочкой, тихонько посмеивались:

— Ерундистика. Завтра какой-нибудь тип с сердцем справа будет показывать карточные фокусы или ходить по канату на Старомушкетной ярмарке.

— Или носить объявление какого-нибудь знахаря о пересадке сердца слева направо без хирургического вмешательства.

— Зачем?

— Чтобы получить пять тысяч.

— В Юридической конторе на Мейсенской улице.

— В конторе, которой нет.

— Кажется, есть. Я видел вывеску.

— Просто кинотрючки. Ищут людей для безопасной инсценировки побоища.

У говоривших было левостороннее сердце и хороший аппетит.

У меня же как раз сердце справа, а не слева, об этом знали мои родители, старый доктор Шмот, коллеги из лаборатории и даже невеста, брак с которой так и не состоялся. Но аппетита у меня не было. Магические цифры — 5000 и день работы заслоняли мир.

В лаборатории меня встретили с интересом.

— На Мейсенской улице был?

— Не был? Зря. Для тебя работка.

— И однодневная.

— Дни инструктажа прибавь.

— Все равно кратковременная. Возьми отпуск за свой счет, если примут. Скажи: тетка при смерти или что...

— А почему вы думаете, что его примут? — вмешался Жилинский, самый занозистый наш лаборант. — Одного правостороннего сердца мало. Читали? Работа требует мужества и бесстрашия. А откуда у него мужество и бесстрашие? В автогонках не участвовал, на скалы не лазил, драться не умеет. Дадут по носу — сразу сникнет.

Появление профессора Вернера мгновенно рассеяло митинг. Лаборанты вспорхнули к своим местам. Меня ни о чем не спросили и ничего не советовали: профессор Вернер «Леймонтской хроники» не читал.

Но я читал и перечитывал и по окончании работы в институте послал из ближайшего почтового отделения письменное предложение юридической конторе «Винс и Водичка». Послал и стал ждать.

Но ждать пришлось не долго. Дня через три почтальон принес мне карточку с приглашением явиться в частную клинику доктора Харриса для специального обследования.

Приняла меня медицинская сестра, похожая на голливудскую «звезду» в белой наколке, прочла карточку и проводила без вопросов в кабинет Харриса. Доктор был ни на кого не похож. Толстый, с модной черной бородкой, очень вежливый и незаинтересованный: никакого гонора ему от меня не причиталось. Он сначала прослушал сердце, потом выключил свет в кабинете и втиснул меня между створками рентгеновского аппарата для просвечивания грудной клетки.

— Все в порядке. Подходите, — изрек он и добавил: —

Правда, остается еще кардиограмма и запись электрической активности мозга.

Но и эти процедуры не подвели. Ленты с записями аппаратов подтвердили диагноз.

— Порядок, — повторил доктор Харрис. С этой запиской, — он сунул мне в руку что-то вроде рецепта, — явиться в контору «Винс и Водичка» на Мейсенской улице.

Мной играли, как мячиком. Хмурый мужчина лет под пятьдесят, не то Винс, не то Водичка, избегая смотреть вам прямо в глаза, прочитал записку доктора Харриса, задал несколько вопросов об уровне моего образования, благосостояния и профессиональной обученности и позвонил кому-то по телефону.

— Есть еще один от Харриса. Берни Янг, физик-лаборант в Институте новых физических проблем. Подходит по всем данным. Может взять отпуск за свой счет на потребное время. Поэтому лучше всего вам поговорить с ним лично.

Получив ответ, он предложил мне явиться в офис Якова Стона на Блайдерской площади в многоэтажной резиденции торгово-промышленных городских воротил. Это был еще один данайский дар: «подходит по всем данным». Третий и, видимо, последний должен был мне предложить неведомый Яков Стон.

В изысканно старинном кабинете без стекла и пластика меня принял худощавый, с густой проседью в волосах, неопределенного возраста человек с глубокими морщинами у губ, какие оставляет трудный путь наверх. Вероятно, Стон родился и вырос далеко не таким состоятельным человеком, чтобы купить контору в небоскребе торгово-промышленной резиденции. Но это меня совсем не касалось. Обо мне уже доложили, и я спокойно ждал вопросов, которые мне будут заданы.

— Берни Янг? — спросил Стон.

Я пожал плечами:

— Вероятно, вам об этом уже сказали.

— По специальности физик?

— Об этом я уже писал в юридическую контору.

— Меня зовут Яков, вас — Берни. Это упрощение снимает официальность с нашего разговора. А он будет долгим, если не возражаете.

Я снова пожал плечами. Какие же могут быть воз-

ражения, я пришел по объявлению и ждал разъяснений. А времени у меня было достаточно.

— Вы уже четвертый, которого я нанимаю для этой работы, и единственный, который может по-настоящему оценить обстановку, где придется эту работу выполнять. У меня два гуманитарника и один совершенно невежественный субъект, шофер по выучке и уголовник по склонности. Вы же человек с научно подготовленным мышлением.

— Не преувеличивайте, — перебил я, — обыкновенный физик-лаборант, отнюдь не элита.

— Я и не думал, что на мое предложение откликнется представитель научной элиты. Но мыслить научно вы можете и оценить обстановку тоже. А обстановка весьма необычная.

Стон прошелся по комнате, не позволив мне встать, и продолжал с интонацией скорее застольного собеседника, чем нанимателя-шефа:

— Вы слышали об исчезновениях людей на Леймонтском шоссе?

— Читал в газетах, — сказал я равнодушно.

— И не пытались искать объяснения?

— У нас что-то говорили о супер- или гиперпространстве, то есть о пространстве, лежащем за пределами нашего трехмерного мира, но я как-то не задумывался над этим. Не склонен к фантастике, да и в исчезновения не верил. Могли же люди куда-то уехать и где-то скрываться. А полиция часто делает из мухи слона.

— Полиция констатировала только факт исчезновения, но люди не исчезли. Они все умерли, Берни. Я сам видел их трупы. Они и сейчас там лежат.

— Где?

— В вашем гиперпространстве у «ведьмина столба».

У меня, вероятно, был вид идиота, так что Стон даже улыбнулся, наблюдая мою реакцию на его слова.

— «Ведьмин столб», — сказал он, — был врыт там, где стояли когда-то старые башмаки бродяги Кита. Он их снял, прежде чем нырнуть в гиперпространство. Не упрекайте меня в терминологии: мне ваше определение очень понравилось. Оно, пожалуй, точнее всего определяет и все последующие исчезновения. Я тоже побывал там. Только не умер, как видите.

Я молчал, ничего не понимая.

— Сейчас объясню, — продолжал Стон. — Иногда — далеко не всегда и не часто, мы это проверили, — у «ведьмина столба» появляется туманность, легкий дымок, сквозь который можно пройти. Вопрос: куда? За дымком недлинный коридор, этак метров тридцать, не больше. Человек может пройти по нему не сгибаясь. Окружающий мир исчезает в сумеречном свете, проникающем не сзади, откуда вы вышли, а спереди. Коридор не широк, посреди тропа, в зоне которой немає вся левая сторона тела — очевидно, реакция двух встречных воздушных потоков. Немает полностью, парализуя всю сердечно-сосудистую систему. Но у меня сердце справа, а не слева, к тому же я шел, прикасаясь, вернее, прижимаясь вплотную к правой стене, невидимой, но упругой на ощупь. Всех исчезнувших я нашел в коридоре, но почему-то не разложившимися.

— Может быть, они еще живы? — спросил я.

— Нет, сердце не билось и дыхания не было. К тому же прошло столько времени, что говорить об оживлении их бесполезно. Трупы не разложились из-за, вероятно, стерильной обстановки. А умерли они потому, что у них не было сердечной аномалии, которая сохранила мне жизнь... Сохранит она жизнь и вам, если вы, приняв мое предложение, пройдете по этому коридору туда и обратно в наш мир, к ожидающему вас авто на шоссе.

— Зачем? — спросил я.

Стон посмотрел на меня пронзительно и угрожающе: видимо, в том, что он собирался сказать, и заключалось самое главное — последний данайский дар.

— Чтобы получить пять тысяч монет, — отчеканил он.

Я по-прежнему ничего не понял. Научный эксперимент? Подготовка эпохального, равного эйнштейновскому, открытия? Тогда зачем четверо подручных, не только научно не связанных, но и различных по своему образованию людей? И для чего секретность эксперимента и необычайно высокий для участия в нем гонорар?

— Выйдя из коридора, — продолжал Стон, — вы попадете в ограниченное пространство, вроде параллелепипеда с закругленными углами, этак метров четыреста на сто, чуть побольше стадионов в Лондоне и Мюнхене, оформленного скалами и утесами вместо трибун, травы

и неба. А вместо солнца ярчайший свет из каждого утеса или скалы, словно в них были источники света мощностью в несколько тысяч ватт. Вы едва не ослепнете от нестерпимого блеска, онемевшая левая нога не позволит вам идти дальше, и вы хлопнетесь, как и я, на россыпи острых хрустальных осколков на клочке земли вроде фермерского садика по своим размерам. Сознания вы не потеряете, но увидите нечто другое, не то, что вас окружает, — это вы рассмотрите после. Я, например, увидел сначала ленту как бы из цветных стеклышек, сумбурную и пеструю, вроде живописи абстракционистов, потом — реальность, живую человеческую жизнь, фактически свою жизнь от рождения до смерти, вернее, до путешествия в этот каменный сверкающий кокон. Не скажу вам, что это приятно. В моей жизни было немало дней и часов, о которых не хочется вспоминать, а галлюцинация воспроизвела их с полным совпадением ощущений. Вот почему я не иду сам вторично, а посылаю других, которые, как и я, могут пройти. Может, у вас была более спокойная и не трудная жизнь, вспомнить которую даже приятно; если нет, мужество и бесстрашие, конечно, необходимы. Воспоминания иногда болезненны, потому я и плачу так много.

В комнату без стука тихо, как кошка, вошел или, вернее, скользнул широкоплечий, коренастый, похожий на отставного боксера человек в модном клетчатом пиджаке и палевых брюках. Седоватый, коротко стриженный ежик волос, как и у Стона, не говорил о молодости, но лоснящееся лицо его без единой морщинки никак уж не принадлежало старцу. А его оливковый цвет явно выдавал южанина, как и густые черные, словно подкрашенные брови над маленькими глазками-льдинками, смотревшими прямо, не избегая вашего взгляда.

— Привет, мальчики, — сказал он, плюхнувшись в кресло напротив, — я всегда вхожу без стука, хотя постучать есть чем. — Он выразительно оттопырил боковой карман пиджака, в котором сверкнула синяя сталь пистолета. — Надеюсь, не помешал деловому разговору?

Стон чуть-чуть скривил губы, явно не слишком довольный этим самочинным вторжением, однако недовольства не показал. Вежливо улыбнувшись, он тотчас же представил меня:

— Берни Янг. По специальности физик. Веду переговоры по нашему делу.

— Сердце справа? — спросил клетчатый, не называя своего имени.

— Харрис считает, что он подходит по всем данным.

— Интеллигент? — не то спросил, не то констатировал клетчатый.

Я обозлился:

— Вы не ошиблись, синьор безымянный.

— Синьор, это верно. Так меня звали в Палермо, а то, что безымянный, так ты, мальчик, ошибся. Джакомо Спинелли знает весь город. — И отвернувшись от меня, как будто бы меня и не существовало вовсе, он по-хозяйски скомандовал Стону: — Значит, четвертый. Народу хватит. Пора начинать.

— Начнем, — согласился Стон.

— Чтоб я знал день и час. Ясно? Без моих парнишек все равно не управитесь. Сколько нужно?

— Четверых хватит. Плюс две машины. День и час сообщу, как условились.

— Ладно, — сказал клетчатый и встал так же бесшумно, как и вошел. — А ликвидированных интеллигентов, милый, — обратился он ко мне, — у меня больше десятка по списку. И ни одного процесса. Вот так.

Он вышел, не прощаясь со Стоном, и даже не обернулся. Я не выдержал:

— Кто же руководит экспериментом, вы или этот тип?

— Я бы не стал так говорить о Джакомо Спинелли, — заметил, опустив глаза, Стон. — Он получает шесть-семь миллионов в год одних дивидендов, не считая биржевых операций. А из этой суммы не менее четырех миллионов наличными.

— Из какого же мешка он их черпает?

— Из тайных игорных домов, игровых автоматов, бильярдных и баров. Нет ни одного заведения в Леймонте, которое не отчисляло бы львиную долю Джакомо Спинелли.

— Какое же отношение он имеет к науке?

— К какой науке? — не понял Стон.

— Я полагаю, что до сих пор шла речь о вашем научном открытии.

Стон даже не улыбнулся, он просто заржал, если так можно выразиться о человеке, мне прямо в лицо.

— Вы идиот, Берни! Действительно, Джакомо прав: трудно с интеллигентами. Ведь я вас посылаю совсем не для того, чтобы вы, четверо, подтвердили мое открытие какого-то супер- или гиперпространства. Наоборот, если вы хотите воспользоваться пятитысячным гонораром, вы должны молчать, как мертвец. Иначе вы им и станете. Джакомо Спинелли отправил на тот свет не один десяток людей. И вы сами слышали: ни одного процесса! Примете вы или не примете моего предложения, вы должны молчать даже о том, что от меня услышали. Во-первых, вас засмеют, а во-вторых, с вами может случиться несчастье: подколют где-нибудь в переулке или печаянно собьет въехавший на тротуар грузовик. Потому я и откровенен с вами, Берни, что не боюсь огласки.

— За что же вы платите непомерный по нынешним временам гонорар, Стон? — спросил я.

— За то, чтобы каждый из вас вынес чемодан с хрустальными осколками, на которых вы проваливаетесь несколько часов в этом диковинном гиперпространстве. Очнетесь, набьете осколками чемодан и вернетесь назад к «ведьмину столбу» на шоссе. И никакого баловства с камешками. Парнишки Спинелли вас обыщут, возьмут чемоданы и доставят вас в контору на Мейсенской улице. Там вы и получите свои пять тысяч чеком или наличными. И болтать не станете. У доктора Харриса, кроме кардиограммы, хранится и энцефалограмма — запись нервной деятельности вашего мозга. А запись эта подтвердит, что вы болтун, враль, фантазер, человек с неустойчивой психикой. Так что, если вы и сболтнете что-нибудь в вашем институте или в газетах, я привлеку вас к суду за клевету и процесс выиграю. И это еще в лучшем для вас случае, интеллигент Берни Янг. Вот так, как говорит мой друг Джакомо Спинелли.

— Пять тысяч, — машинально проговорил я.

— Совершенно точно, Берни. Можете их мысленно уже заприходовать.

— А если я откажусь?

— Получите только сто за процедуры у доктора Харриса. И забудьте обо мне. Только зачем же отказываться от пяти тысяч?

— *Timeo danaōs et dona ferentes*¹, — процитировал я без перевода.

— Латынь или греческий? К сожалению, не знаю. Только, по-моему, не стоит пренебрегать моим предложением. Вы подходите. Нервная система в порядке: коридор пройдет без труда. Когда о галлюцинациях предупреждают, они не столь беспокоят. Чемодан небольшой, хотя и вместительный. А до репутации Эйнштейна вам все равно не дотянуться. Даже газеты предварительно обратятся ко мне. А ученые? Вы же знаете наших ученых. Тут вам ни Лобачевский, ни Эйнштейн не помогут.

Я помолчал. Логика Стона обезоруживала. Если я расскажу о нашем разговоре, скажем, в «Леймонтской хронике», то вместо дискуссии в научных кругах меня в лучшем случае ожидает койка в психиатрической клинике. Ведь кроме так называемых научных традиций, верных Эвклиду и Ньютону, есть и миллионы Стона, и «парнишки» Спинелли, и грузовики, что иногда сшибают прохожих, если те неосторожно ступают на край тротуара.

Я вздохнул и сказал:

— Я согласен на ваше предложение, господин Стон.

Он чуть-чуть приподнялся над столом с чарующей улыбкой банкира, принимающего вклад выгодного клиента.

— Я был уверен в этом, Берни. Умница. Только не слишком откровенничайте с будущими коллегами. Они знают только то, что необходимо знать, чтобы вынести чемодан на шоссе.

БЕРНИ ЯНГ. КОЛЛЕГИ ПО ЭКСПЕРИМЕНТУ

Половина восьмого.

Вечер, когда город затихает перед уикендом.

Прохожих почти нет: магазины закрыты. Автомашин на улицах вдвое меньше: они уже увезли за город владельцев собственных вилл и коттеджей. Служащие си-

дят в пивных и барах или играют дома с детьми. Некоторые решают кроссворды — эти уже поужинали.

Поужинал и я с двумя молчаливыми «парнишками» в пиджаках с оттопыренным левым бортом, не отходившими от меня даже на полминуты. Мне разрешили только позвонить хозяйке меблированных комнат, объяснив, что я уезжаю по делам на несколько дней, а юридическая контора «Винс и Водичка» взялась оформить в институте мой отпуск. «Парнишки» молча довели меня до машины, один сел рядом, другой за руль.

— А вы не глухонемые? — поинтересовался я.

— Мы все слышим и видим, а когда нужно, принимаем меры, — сказал сидевший рядом. — Только разговаривать не положено. Упражняйся в одиночку.

И это было все, что он сказал за тридцать—сорок километров пути по шоссе к белому коттеджу с черепичной крышей и двойной оградой. Между первым и вторым ее рядом, преодолеть которые без специальных приспособлений было бы нелегко, нас встретил яростный лай собак, свободно носившихся по огороженному пространству, видимо, для того, чтобы никто не мог пересечь его безнаказанно. За внутренней изгородью на пустой лугуvine, окружавшей коттедж с симметрично расположенными рядышком бассейном и теннисным кортом, никого не было, кроме двух охранников, таких же «парнишек», как и мои в машине. Один открыл ворота, щеголяя беззубой ухмылкой, — зубы ему, должно быть, выбили еще в ранней юности; другой продолжал кейфовать в соломенном кресле у входа, рыжий и заросший, должно быть, и не знавший, что существуют на свете такие инструменты, как бритва и ножницы.

— Смена прибыла, — прошамкал беззубый, — теперь погуляем.

— Погоди. Еще нагуляешься, пока хозяин не посвистит, — буркнул один из моих «парнишек». — Вот отведем гостя в положенные ему хоромы, а там уже будет видно, кто, где и куда.

Я молча вылез и пошел к дому. Рыжий «зимовщик», даже не взглянув в мою сторону, только указал большим толстым пальцем на дверь. Меня провели по лестнице на второй этаж и не слишком вежливо просунули в одну из открытых белых дверей. Как только я вошел, дверь

¹ Боюсь данайцев, дары приносящих.

закрылась, и я остался один в обстановке обычного гостиничного номера, какие снимают средней руки дельцы и актеры с ангажементом. Две комнаты с коврами и ванной, обставленные дорого и пестро. Все это я уже видел; только странный белый врез в стене—что-то вроде скрытого сейфа или бара—отличал комнату от сотен ее гостиничных двойников. Я попробовал открыть врез-дверцу, и она легко поддалась, обнажив металлическую пустоту примерно полуметровой емкости. Я закрыл ее и подошел к столу, на котором, кроме телефона, был и селектор, могущий связать меня в одиночку или одновременно с администратором, дежурной горничной, барменом и лицами под номерами от одного до пяти. Три из них светились, два были выключены. Я нажал кнопку с надписью «Бар» и услышал мелодичный голос динамика:

— Что желает господин Янг?

— Черный кофе без сахара и рюмку коньяку.—После обильного ужина с «парнишками» Стона есть не хотелось.

— Через три минуты откройте белую дверцу в стенке, и получите требуемое. Туда же вернете пустую посуду.

Я так и сделал. Белый сейф подал мне по лифту из бара коньяк и кофе, и я мог наконец в одиночестве обдумать все происшедшее.

И опять ошибся: «одиночество» не состоялось. В комнату без стука, как Джакомо Спинелли, и даже без условно принятых вежливых реплик вроде «разрешите», «можно», «извините, я на минуту», вошел человек лет пятидесяти, а может быть, и моложе, судя по его внешнему виду: не сед, не лыс, не обрюзг, не ожирел. Только морщины у глаз и у губ свидетельствовали об извечной работе времени. Да и зубы вставные, сверкнувшие слишком белой пластмассой, не говорили о молодости.

— Нидзевецкий,—представился он, подойдя ближе, но не протягивая руки,— для друзей Стас. Отправляюсь вместе с вами сегодня-завтра зарабатывать по пять тысяч на брата.

— Садитесь,—сказал я,—здесь хороший французский коньяк. Сейчас закажу бутылку.

— Уже освоили?—усмехнулся он.—Но мне ближе

к заветной кнопке,—протянул руку к селектору и в ответ на вкрадчивый шепот динамика скомандовал, как в строю:—Господину Берни Янгу требуется еще бутылка и второй бокал...—А когда заказ был уже сервирован, соизволил наконец обратиться ко мне:—Вы хорошо знаете, куда и зачем нам придется идти?

— А вы?—спросил я в ответ, помня предупреждение Стона не откровенничать.

Нидзевецкий ухмыльнулся, как школьник, подсмотревший ответ в подстрочнике.

— Честно говоря, я не верю в эту неевклидову геометрию. Ни в четвертое, ни в пятое измерение. Есть дырка в шахту, только замаскированная. Какой-нибудь оптический фокус. В определенный день определенного месяца, в определенный час на рассвете или на закате дырка эта видна простым глазом. Ныряй—и все как в цирке, только без клоунов.

— Я тоже не верю, только не столь уж решительно,—сказал я.—Неевклидовы геометрии есть и будут, а Эйнштейн опроверг и Ньютона. Так что, пока не пришлось нырнуть в эту дырку, не будем обсуждать ее местоположение в пространстве.

Нидзевецкий погрел коньяк в кулаке и выпил. Он не выглядел ни пьяным, ни охмелевшим, только глубокие темные глаза его чуть блестели.

— Значит, ученый-физик Янг не собирается ставить никаких научных экспериментов,—процедил он не без иронии.—Его, как и нас грешных, интересуют только пять тысяч в местной валюте?

Я пожал плечами: ни спорить, ни поддакивать Нидзевецкому мне не хотелось.

— И физики и лирики одинаково в ней нуждаются.

— Я не лирик,—зло сказал Нидзевецкий,—я неудачник. Врач-недоучка, фельдшер. В армии не дослужился выше поручика. Потерял два литра крови, совесть, честь и надежду на будущее. На большее, чем прилично водить машину или сделать укол камфары умирающему, не способен. Не выучился.

— Так почему же вы не вернетесь на родину?—спросил я.—Там, говорят, легко найти и работу и уважение. В любом гараже нужен шофер, в любой больнице—фельдшер.

— Не знаю,— вздохнул Нидзевецкий.— Засосало болото. Привык думать, что без денег ты никому не нужен. А тут сразу пять тысяч кредиток. Есть смысл рискнуть.

— И так же думают все наши коллеги?

— Гвоздь вообще ничего не думает — не обучен. Умеет стрелять без промаха или без выстрела — кулаком в переносицу, и добывать деньги у ближнего своего одним из этих двух способов. А за пять тысяч головой рискнет, если есть шанс выжить. И у Этточки вы ничего не узнаете, хоть и говорит она на трех языках, но так плохо на каждом и с таким угнетающим произношением, что смысл не улавливается.

— Кто же она по национальности?

— Этта Фин? Не знаю. Легче всего назвать ее мисс Фин, но подойдет и мадемуазель Фин, и фрейлейн Финхен.

Нидзевецкий залпом выпил бокал коньяка и налил другой.

— Много пьете,— сказал я.— Военная привычка?

— Отчасти. А сейчас, если хотите честно, пью со страху.

— Перед экспериментом?

— Если называть это экспериментом. Пройти тридцать метров по коридору и вернуться обратно — как будто не так уж сложно. А странный односторонний паралич — в клинике, где я стажировался, называли его латеральным — вызывается обычно обмороживанием или кровоизлиянием в мозг. Стон уверяет, что это — воздействие пока еще необъяснимой реакции двух встречных потоков воздуха. Но, сохранив сердце, не утратим ли мы какие-то клетки мозга? Мне показалось, что у Стона, например, левое плечо отведено назад и жесты левой руки чуть-чуть замедленны.

— Преувеличиваете. Со Стоном я разговаривал около часа. Он вставал, двигался, закуривал, сбивал коктейли. И жестикуляция и походка его совершенно нормальны.

— Тогда почему он не идет с нами?

— Черную работу он в состоянии предоставить другим.

— И заплатить за нее по пять тысяч?

Я не успел ответить. Нидзевецкий встал и, как мне

показалось, с тоской взглянув на остатки коньяка в бутылке, молча повернулся и вышел не прощаясь. Я не остановил его: говорить нам было уже не о чем.

Не о чем оказалось говорить и с другими моими спутниками по предстоящему путешествию, с которыми я встретился утром за завтраком. Гвоздь вообще молчал, поглощая еду в тройном против нормы количестве. Он походил на «парнишек» Спинелли, только был постарше и побогаче опытом. Коротко стриженный бобрик, шрам на лбу, обтянутые оливковой кожей скулы и потемневшие протезы вместо выбитых когда-то зубов все это подтверждали.

Этта была суха, замкнута и застенчива, на все вопросы отвечала: «да», «нет», «не знаю», «простите, не помню», «не видела», «не замечала». Вопросы задавал ей Нидзевецкий, видимо, для того, чтобы подтвердить данную ей вчера характеристику. Я же прислушивался не столько к ее ломаному языку, сколько к интонациям и произношению.

— Не спрашивайте Этту о ее национальности,— засмеялся Нидзевецкий.— Это тайна.

— Я просто не люблю говорить о себе,— ответила Этта.

Фраза прозвучала неграмотно, но с хорошим произношением согласных и гласных. Еще раньше, прислушиваясь к репликам Этты, я подметил не только нарочитое искажение этимологии и синтаксиса, но и знакомые языковые интонации. Зачем она это делала? Для самоизоляции и некоммуникабельности?

— Хорошо стреляешь? — вдруг спросил Гвоздь.

— Не знаю,— сказал я.— Давно не практиковался.

— Зря. Я на всякий случай захвачу с собой хлопушечку.

Этта, допив кофе, встала, не проявив к разговору ни малейшего интереса. У дверей я догнал ее.

— Вы хорошо знаете язык,— сказал я, поклонился и прошел мимо.

Через полчаса в мою комнату постучали.

Этта! Я не мог скрыть удивления.

— Я вам все объясню,— сказала она, усаживаясь с ногами на диван. Сейчас она была простой и приветливой, без актерства и отчужденности.— Там я не могла

говорить иначе. Отсюда и этот разгаданный вами трюк с ломаным языком.

— Вы плохо его ломали.

— Вероятно. Но разве они поймут? У меня нет и не может быть с ними ничего общего. Чем меньше слов — тем дальше от близости.

— Высокомерие не украшает человека, тем более учительницу.

— Это не высокомерие, а привычка с детства. Жизнь в мире хищников порождает настороженность. «С волками жить — по-волчьи выть» — говорит поговорка. Но я хочу не выть, а быть готовой к отпору. В особенности на охоте за этими таинственными стекляшками.

— Чем же пленила вас эта охота?

— Тем же, чем и вас. Жалованье учительницы невелико, а гонорар Стона сказочный. Да и занятия еще не скоро: в школе каникулы.

Она говорила откровенно, без принуждения. И я еще добавил:

— Так, значит, в мире хищников для меня сделано приятное исключение?

— Я уже слышала о том, что вы физик, но и по лицу можно определить интеллигентного человека. Деньги вам нужны не для того, чтобы открыть ссудную кассу.

— Джакомо тоже это определил. Только с ухмылочкой.

— Кто это Джакомо?

— Торговый партнер или хозяин Стона.

— Мне страшно, Берни. — Она впервые назвала меня по имени, я не возражал.

— Уже второй раз слышу это. Сегодня от вас, вчера от Нидзевецкого.

— Он боится опасностей путешествия.

— А вы? Таинственных стекляшек?

— Если хотите, да. Что это за камни-осколки, которые мы должны вынести из какой-то неведомой шахты? Судя по обещанному нам высокому гонорару, они сами по себе представляют большую ценность или их используют для каких-то очень важных опытов. Но каких? Может быть, опасных для человека, если добыча их обусловлена такой строгой секретностью? Вы над этим не задумывались?

— Нет, — честно признался я. — О другом думал. Мне любопытна сама география того гиперпространства, в которое нам придется проникнуть.

— И вы верите в это гиперпространство? Нидзевецкий и Гвоздь не верят.

— Им обоим не хватает воображения.

Я посмотрел на Этту. Тоненькая, с каштановой челкой на лбу и большими синими глазами, она походила сейчас на студентку, которой предложили на экзамене непосильную ей задачу. А если я расскажу ей все, что открыл мне Стон? Что последует? Отступит ли она перед Неведомым и откажется ли от похода, тем самым создав для себя и меня дополнительные трудности и опасности? С ней рассчитаются за отказ, со мной — за болтливость. А может быть, мой рассказ все же зажжет в ней огонек любопытства?

И я рискнул, рассказав ей все услышанное от Стона.

— А вы поверили? — помолчав, спросила она.

— Почему бы и нет? Вы ведь слышали о таинственных исчезновениях на Леймонтском шоссе? Их не сумели объяснить ни полиция, ни наука. А Стон объяснил. И довольно правдоподобно. Он даже видел неразложившиеся тела в неизвестном нам коридоре. И это объяснил. Убивающая воздушная струя одновременно создавала и стерильность среды, предохраняющую мертвое тело от разложения. Возникновение невидимой щели-коридора — самое странное, но при некотором избытке воображения и это можно объяснить, отождествив ее с невидимой горловиной или шейкой, соединяющей наше трехмерное пространство с замкнутой ячейкой другого, лежащего за пределами привычных трех измерений. Это легко обосновать математически, физически можно представить, а геометрии требуется проверка. Теперь о замкнутом хрустальном коконе и его осколках. Пожалуй, это самое интересное в предстоящем нам путешествии. Но прежде чем делать выводы, необходимо проверить данные. С этого и начнем.

— Фантастика, — все еще недоверчиво откликнулась Этта. — Возможно, мистификация.

— Объяснить необъяснимое может только ученый или фантаст. Стон ни то ни другое. Он делец. А какой делец будет платить по пять тысяч за мистификацию?

В глазах Этты я прочел сомнение, колебание и наконец решение. Любопытство победило.

— Только будем держаться вместе,— сказала она.— Вы чуточку впереди, я — сзади. И не давайте мне отклоняться влево.

ПО ДОРОГЕ В НЕВЕДОМОЕ. ЭТА ФИН

После разговора с Берни я пожалела, что не рассказала ему все о себе. Перед трудной и, может быть, страшной дорогой в Неведомое мы должны лучше знать друг друга — тверже будет поддерживающая рука, яснее мысль. А я не рассказала ему, что я не англичанка и не американка по рождению, что отец мой жил в Германии и считал себя коренным немцем до тех пор, пока ревнители расовой чистоты не заставили его носить желтую звезду. Отца я не знаю — его застрелили в сорок втором году на улице охранники Кальтенбруннера, а родилась я несколько месяцев спустя уже в седьмом женском бараке Штудгофа, где содержались немки, не пожелавшие бросить мужей-неарийцев, и несколько десятков французенок и англичанок, застрявших в Германии до начала войны. «Враждебные иностранки» — так именовались они в списках концлагеря — помогли мне родиться, вырастили меня и вывели после смерти матери в сорок третьем году от заражения крови. К каким только ухищрениям ни прибегали они, часто подвергаясь смертельной опасности, чтобы сохранить в тайне мое существование от лагерной охраны, инспекторов и надсмотрщиков. Берлинская воровка Лотта, «капо» женского барака, была подкуплена, кормили меня все оптом, отдавая часть своего скудного лагерного пайка, англичанка-врач, хорошо говорившая по-немецки и потому допущенная на работу санитаркой в привилегированном госпитале для лагерного начальства, ухитрялась доставать молоко и нужные лекарства. И я все-таки выжила без солнечного света и свежего воздуха, ничего не видя, кроме барачных нар и никогда не мытого бетонного пола. Небо и солнце, трава и лес были для меня такими же атрибутами сказки, как эльфы и гномы, да и жизнь на свободе

казалась такой же сказкой, какую рассказывают на ночь, чтобы видеть счастливые сны.

Эти годы я помню смутно — человек редко помнит свое раннее детство, как бы тяжело оно ни было. Знаю только по рассказам приемной матери, именно той англичанки-врача, которая сумела спасти меня от неминуемой дистрофии и которая после освобождения увезла меня с собой в Шеффилд. Так я стала англичанкой и по языку и по воспитанию, и все детство мое, восьмилетнее и десятилетнее, о котором человек всегда помнит, было типично английским. Потом мы перебрались в Канаду, жили в Австралии, а затем — уже без матери, которая вышла замуж в Аделаиде за местного скотовода, — я скорее по воле случая, чем по выбору, очутилась здесь в роли учительницы частной леймонтской школы. Обо всем этом я так и не успела рассказать Берни Янгу: слишком короткой была наша встреча перед дорогой.

Дорога началась неожиданно, через два часа после завтрака, у меня в комнате, где я читала старый французский роман. Посошок на дорогу предложил мне сам господин Стон, снизошедший до столь ничтожной личности, как я. Он, как и полагается господину, вошел без предупреждения, но с любезной улыбкой на синеватых губах и наполовину опорожненной бутылкой шампанского — очевидно, где-то она успела уже побывать. Молча, почти священнодействуя, он наполнил два бокала на столе и, заметив мой французский роман, сказал по-французски:

— Садитесь, мадемуазель. Разговор у нас напутственный.

Я удивленно присела.

— Вы удивлены, что я знаю французский? Старых международных бродяг обычно не стесняют языковые барьеры.

— Я удивляться не этому... — начала я привычно ломать язык.

— Может, будем разговаривать на вашем родном языке?

— Мой родной язык вам все равно неизвестен.

— Ну хотя бы биография вкратце.

— Зачем? Самое интересное для вас в моей биографии — это сердце справа.

— Допустим. А что же вас удивляет?
— То, что вы с Олимпа спустились ко мне.
— На Олимп пойдете вы. Хлебните шампанского — это подкрепит перед дорогой. Сейчас мы отвезем вас к энному столбу на Леймонтском шоссе.

— Одну? — спросила я.
— Не пугайтесь. Поедете с Берни Янгом. Подружитесь. Он наиболее интеллигентный из ваших спутников и потому наименее надежный в достижении цели. Он может усомниться в реальности увиденного и неразумно вообразить невообразимое. Мне же нужны трезво мыслящие, разумные исполнители. Такие, как вы.

Мне почему-то не понравился его комплимент.

— Значит, мне, разумной, опекать неразумного?
— Именно. Я убежден, что вы первая наполните свой саквояж. Янг, когда опомнится, сделает то же самое.

— А другие?
— За них я не боюсь. Это профессиональные авантюристы. Сделают все и вернуться. Не скрываю: путь труден и конец его может смутить.

Стон смотрел на меня чуть прищурясь, как смотрят на лошадь покупателя, словно прикидывая: не прогадать бы.

— Сейчас выезжать? — оборвала его я, не притронувшись к бокалу с шампанским.

Он понял и встал.

— Вас уже ждут у машины.

Машин было две, стоявших гуськом у внешних ворот виллы: старенький «форд», в котором уже восседали с пустыми чемоданами Нидзевецкий и Гвоздь, сопровождаемые «парнишками» в выцветших джинсах и белых картузиках — один из них сидел за рулем, — и чуточку позади «мерседес» с шофером в таком же картузике. Берни Янг меланхолично стоял у открытой дверцы автомобиля. Он предупредительно пропустил меня и сел рядом, оставив переднее место для Стона.

Но Стон и не собирался ехать.

— Дополнительное условие, Берни, — сказал он, придерживая открытую дверцу, — если у вас возникнут какие-либо гипотезы об увиденном, не обращайтесь с ними ни к ученым, ни к репортерам. Мы с Джакомо не любим газетной шумихи.

Захлопнув дверцу машины, он скрылся за оградой. А мы с Берни, так и не обменявшись впечатлениями, быстренько доехали до впервые увиденного мной «ведьмина столба», аккуратно обтесанного и несколько не устрашающего. Он был обнесен чугунной кладбищенской оградой с массивной, запирающейся калиткой. Открыв ее, наш шофер, по-видимому старший из «парнишек», втолкнул нас по очереди за ограду и, не входя, произнес напутственно:

— Видите эту еле заметную туманную дымку в полуметре от столба? Смело шагайте в нее — и все.

Первым шагнул ближайший к ней Берни и пропал. Это было так удивительно и неожиданно страшно, что я невольно замешкалась у колонки чуть замутненного воздуха.

— Не задерживай, девка, — буркнул сзади Гвоздь и легонько подтолкнул меня в Неведомое.

Сначала был полумрак и протянутая назад ко мне правая рука Берни.

Она прижималась к чему-то невидимому, туго натянутому и упругому, как батут. Янг подхватил мою руку и потянул вперед.

— Шагайте смело — под ногами никаких камней, нигде не споткнетесь. Так по крайней мере уверял меня Стон, — проговорил он каким-то свистящим шепотом. — И главное, старайтесь не отдаляться от упругой невидимой «стенки». Чувствуете, как сзади что-то подталкивает нас вперед? Это поток воздуха, должно быть, из нашего мира. Что-то гонит его — вероятно, разность давлений. Теперь отведите руку к центральному стержню прохода. Сильно дует навстречу, чувствуете? Это встречный поток из другого пространства. Опустите руку, старайтесь не попасть в стык двух потоков. Ближе, ближе к «стенке». Вот так. Думаю, пройдем благополучно. Чем мы хуже Стона?

Я сделала три-четыре шага и осмотрелась. Коридор был неширокий и темный. Не ночь, а вечерние сумерки сквозь туман или пыльную дымку. Берни обернулся и спросил:

— Плечо немеет?

— Немножко.

— Прижимайтесь к «стенке».

— Не торопитесь, ребята! — крикнул из темноты Гвоздь. — Лучше ползти, как черепаха, чем сдохнуть.

Мы прошли еще несколько метров, и я чуть не упала, натолкнувшись на что-то, преградившее путь. Берни мазнул лучом электрического фонарика по земле и осветил трупы людей, похожих на восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Я зажмурилась: не могла смотреть.

— Вот они, исчезнувшие голубчики, — сказал сзади Нидзевецкий. — А мы, спасибо сердцу, еще живем. Только левая рука у меня, кажется, отнимается.

Гвоздь, идущий за ним, только хмыкнул. Видимо, он не шел, а полз по «стенке», широко переставляя ноги.

— Доберемся, — сказал опять Нидзевецкий. — А ты, Гвоздь, ползи не ползи — все равно здесь останешься. У тебя зад выпирает.

Впереди что-то светилось или, вернее, поблескивало отраженным светом. Чем ближе, тем ярче. Мы осторожно обогнули труп лежавшей наискосок девушки — еще одна не тронутая временем восковая фигурка. Я внутренне содрогнулась: Неведомое начиналось с кладбища.

Левую руку и плечо, несмотря на все мои ухищрения, я почти не чувствовала, их словно и не было. Берни впереди молчал, только наши крепко сцепившиеся руки напоминали о том, что мы еще держимся. Двадцатый или тридцатый шаг — я уже их не считала, — еще рывок, спешим, волочимся и наконец бросок в дневное окно впереди. Жестокий, как молния, свет ослепляет, я машинально, ничего уже не видя, делаю несколько шагов и падаю на что-то сыпучее и колкое, как щебенка.

Так я провалялась минуты две или три, пока не прошло оцепенение, охватившее левую половину тела, — должно быть, я все-таки не так глубоко врезалась в упругую «стенку» коридора, как это делал Берни. В первые секунды я ничего не чувствовала, потом мало-помалу острые камешки начали колоть левый бок, онемение проходило, и я даже сумела приподняться на локте и открыть глаза.

Меня окружал хрустальный сияющий мир, ломаная геометрия стекла, сверкавшего всеми цветами спектра, на которые оно разлагало исходивший от него свет. Солнца не было. Было только одно стекло или что-то похожее на него в причудливых формах каньона, замк-

нутого на себя вроде кокона, как охарактеризовал его Стон. И все это горело и переливалось, ослепляя и подавляя, словно со всех сторон посылали свой свет тысячи ложных солнц. Я оглянулась кругом и поразилась, как это мы вошли сюда: ни входа, ни выхода не было видно.

— Убедились? — скривился сидевший на корточках Нидзевецкий. — Я уже давно это заметил. Сезам не открывается.

Гвоздь, валившийся чуть поодаль, тоже открыл глаза, посмотрел вокруг и крикнул. Берни очнулся и сидел, приложив руку к глазам козырьком.

— Светит да не греет, — сказал он. — Обратите внимание: температура нормальная, даже прохладно. Градусов восемнадцать, наверно. А смотреть — глаза болят.

— Королевство кривых зеркал, — усмехнулся невесело Нидзевецкий. — Что ж будем делать?

Пустые наши чемоданы лежали рядом.

— Что делать? — повторил Гвоздь, указывая на чемоданы. — Что велено. Набивай и выноси.

— А куда? — ухмыльнулся Нидзевецкий.

Гвоздь, как и я, оглянулся кругом и обмер:

— Где ж это мы?

Никто не ответил.

— Обманул, гад, — прохрипел Гвоздь. — Вернусь — сочтемся.

И опять никто не ответил. Стон был далеко.

Берни машинально набрал горсть блестящих камешков, пристально разглядел их и проговорил неуверенно:

— Похоже на бриллианты.

— Это и есть бриллианты, — сказал Гвоздь.

— Фальшивые.

— Стали бы нас посылать за фальшивыми и платить тысячи по курсу доллара. Алмазы чистейшей воды, только не раненые.

— Я говорил вам, что это шахта, ловко загримированная. И алмазные россыпи в ней! — воскликнул Нидзевецкий.

Берни Янг грустно вздохнул:

— Вы ошибаетесь, Нидзевецкий. Ни в Южной Африке, ни в России нет таких шахт. Алмаз — это особая

кристаллизация угля в условиях высоких давлений. Они не встречаются в таких россыпях. Их добывают из-под земли.

— А может быть, мы и находимся под землей?

— А свет? — спросил в ответ Янг. — Откуда под землей источник такого яркого, я бы сказал, немыслимо яркого света?

И опять молчание. Если физик не находил объяснения, что могли сказать мы? Каждый набрал такую же горсть хрустальных осколков или алмазов, по мнению Янга, и разложил их на ладони. В них не играло отраженное или скрытое солнце, но после обработки любой из них мог бы украсить витрины самых дорогих ювелиров мира.

А тут началось нечто еще более удивительное.

Вся изломанная поверхность окружавшей нас хрустальной пещеры, вернее, ее цветовая окраска пришла в движение. Гиперболы, параболы, зигзаги и спирали, поразному окрашенные и недокрашенные, бесформенные пятна и невероятные геометрические фигуры, вычерченные скрытым источником света, побежали во все стороны, сливаясь, сменяя, сгущая и перечеркивая друг друга. Мне даже показалось, что в этой движущейся цветной какофонии был какой-то скрытый смысл, какая-то разумная повторяемость тех или иных цветовых комбинаций. Ведь даже веками непонятную египетскую клинопись расшифровал в конце концов человеческий разум. Но такого разума среди нас не нашлось, хотя Берни и подхватил мою рискованную и, вероятно, неверную мысль.

— В этой пляске светящихся красок и линий, пожалуй, есть какая-то система, — сказал он.

— Вздор, — возразил Нидзевецкий, — только глаза болят от этой пляски.

Гвоздь вообще тупо молчал, прикрывая глаза руками.

— Еще ослепнешь, — прибавил Нидзевецкий и тоже закрыл глаза.

Но мы с Берни, хоть и щурясь, смотрели.

— Вон, глядите: эти синие и малиновые спирали опять повторяются и этот пятнистый кратер справа, — сказал Янг.

— Добавьте и эту голубую штриховку по желтому, — подметила я.

— А что, если это сигналы?

— Чьи?

— У меня есть одна сумасшедшая идея, Этта, я, кажется, уже говорил вам...

— Пришельцы? — издевательски хихикнул Нидзевецкий.

— Не говорите глупостей! — вспыхнул Берни. — Какие пришельцы? Просто мы в другом мире, где свои законы и своя жизнь.

— Бред, — фыркнул Нидзевецкий и уткнулся лицом в россыпь сверкающих камешков.

— Сигналы, — повторил Берни, — может быть, даже речь...

— Вы не преувеличиваете? — осторожно спросила я.

— Не знаю.

Прищурясь, Гвоздь сплюнул на камни.

— Кончай трепотню, — выдохнул он со злобой. — Не о том думаешь. Как выбирать будем, подумал?

Он посмотрел на сжатые в кулаке осколки и сунул их в карман. Тут же все краски неэвклидовой геометрии кокона потускнели и стерлись. Остался только лучистый бриллиантовый блеск.

В глазах у меня потемнело, несмотря на хрустальное сияние вокруг.

— Что происходит? — с какой-то странной интонацией спросил Берни.

— Пейзаж меняется, — сказал Нидзевецкий.

ЭТТА ФИН. ЛАГЕРНАЯ РАПСОДИЯ

Пейзаж действительно менялся у нас на глазах. Как в кино одна картина медленно наплывала на другую, стирая ее очертания и трансформируя облик. И мы уже не лежали на сверкающей россыпи. Мы шли. Шли по рыжей выцветшей глине, укатанной вместе со щебенкой дорожными катками. Шли между двумя рядами перегибающейся колючей проволоки... Шли к воротам, за которыми виднелось серое приземистое двухэтажное

здание, возглавлявшее такие же серые, но уже одноэтажные и безглазые ангары или бараки. Сияющий хрустальный кокон исчез, за бараками низко висело однотонно-свинцовое небо. Я даже не помнила, когда мы поднялись с россыпи и куда исчезли Нидзевецкий и Гвоздь. Мне почему-то казалось, что мы с Берни только что вышли из машины, которая осталась где-то позади, куда не хотелось оглядываться, тем более что ожидавшие нас ворота уже раскрывались с тяжелым железным скрипом, а из будки справа навстречу шел не то солдат, не то офицер в черном, хорошо пригнанном мундире и с большой свастикой на рукаве... Боже мой, в каком фильме я это видела?

Я посмотрела на Берни, которого ощущала рядом, но не оборачивалась к нему, и у меня буквально подкосились ноги. Он был в таком же черном мундире, с такой же свастикой и в фуражке с высокой тульей, которая бог знает уже сколько лет мозолила глаза на экранах кино.

— Почему ты в этом мундире, Берни? — спросила я.

— А ты в каком?

Я оглядела себя и увидела сапоги, черную суконную юбку и черный рукав такого же мундира, как и на Берни.

— Ничего не понимаю, — прошептала я.

Может быть, мне это объяснит подхалимский к нам солдат с автоматом?

— Аусвайс! — потребовал он.

Мы с Берни машинально, даже не подумав, с синхронностью автоматов извлекли из карманов мундира служебные удостоверения и предъявили охраннику. Тот прочел, сверил лица по фотокарточкам и крикнул ожидавшему позади патрулю:

— Гауптштурмфюрер Янг и шарфюрер Фин следуют в канцелярию начальника лагеря. Пропустить! — Он повернулся к нам и взметнул руку. — Хайль Гитлер!

— Зиг хайль, — небрежно козырнул в ответ Берни и пошел вперед к двухэтажному корпусу за патрулем. По бокам тянулась переплетенная в несколько рядов колючая проволока. Кроме патрульных с автоматами, ничто живое не возникло на вытоптанном плацу между серыми, как пыль, бараками.

И тут я сообразила. Подсознательная память воспроизвела в сознании то, чего не могла запечатлеть память сознательная. Мы были в Штудгофе, где я родилась и провела первые годы жизни до занятия лагеря американцами. Провела под нарами, не зная, что такое земля, трава, цветы, облака, небо, где это самое небо заменяли мне подгнившие доски нар, под которыми меня прятали от надсмотрщиков и охранников. Я не запомнила этот мир, память детства началась уже в Англии, куда меня вывезла моя приемная мать, врач-кардиолог Джанетта Фин. Окончание ее имени — Этта — и досталось мне: разноязычным и разноплеменным узникам легче было его выговорить. В доме мамы Джанетты никогда не говорили о лагере и страшных годах моего раннего детства, я никогда и ничего с этим связанного не видела — ни снимков, ни зарисовок Штудгофа, — и все же я узнала его в том, что сейчас увидела. Даже сам этот мир был только галлюцинацией, но то была моя галлюцинация, и Берни был не в своем, а в моем отраженном мире, вполне реальном, хотя в чем-то смещенном, остранным в каких-то своих аспектах, как живая суть в полотнах сюрреалистов. Именно таким остранным и был гауптштурмфюрер Янг, возникший здесь по прихоти моей галлюцинации, но движимый какими-то собственными, не понятными мне побуждениями.

— Ты бывал здесь когда-нибудь?

Он дико взглянул на меня.

— Когда? При Гитлере мне было всего восемь лет.

— Но у тебя звание гауптштурмфюрера, — продолжала я тупо, не понимая, что говорю.

Но он ответил совсем уже неожиданно:

— Оно мне пригодится, Этточка. А ты не находишь, что этот охранник у дверей странно похож на одного из «парнишек» Спинелли?

«Парнишка» с автоматом у входа поднял по-гитлеровски руку, но вместо положенного «хайль» произнес, глотая гласные:

— Хозн двно ждет пркзал прводить.

— Давно ждет? — переспросил Берни. — Тем лучше. А провожать не надо. Стой где положено. Обойдемся без ликторов.

Он пошел вперед так быстро, что я еле успела догнать его у дверей кабинета.

— Ведь это моя галлюцинация, Берни,— остановила я его.— Моя,— подчеркнула я твердо.— Почему же ты действуешь независимо?

— Потому что не ты запрограммировала свою галлюцинацию,— отрезал Берни, совсем чужой, не ласковый и внимательный Берни, каким я знала его накануне.

Он толкнул белую дверь кабинета и вошел. Я не увидела ни секретарей, ни сторожевых собак, ни охранников, только где-то (будто в тумане) в стороне — жирное человеческое лицо, лоснящееся и прыщавое, с черной челкой на лбу и глазами-маслинами над кривым носом. Лицо скривилось и хихикнуло.

— Кто это? — пролепетала я.

— Джакомо Спинелли,— равнодушно ответил Берни и махнул рукой.

Лицо исчезло, и туман исчез, обнажив огромный письменный стол, за которым сидел в своем обычном костюме и в больших дымчатых очках... Стон.

— Шарфюрер Фин нервничает,— сказал он.

Я не столько нервничала, сколько находилась в состоянии «грогги», как сорвавшаяся со снаряда гимнастка, которая уже не знает, что чувствует.

— Где камешки, Берни? — строго спросил Стон.

Берни вытряхнул из кармана горсть осколков, какие мы видели на бриллиантовой россыпи.

— Все? — спросил Стон.

— Все,— сказал Берни.

— Джакомо! — позвал Стон не вставая.

Джакомо Спинелли в таком же черном мундире со свастикой, какой носили и мы, запустил руку в горсть рассыпанных камешков.

— Хороши хрусталики,— восхитился он с дрожью в голосе.

— Выплати ему, как уговорились, пять тысяч,— сказал Стон.

— Никаких денег,— отрезал Берни.

— А что?

— Вернера.

— Какого Вернера?

— У вас в лаборатории при втором бараке находится заключенный Вернер,— твердо сказал Янг.

— Предъяви ему Вернера,— согласился Стон.

Джакомо пропал и вновь возник через какую-то долю секунды с исхудалым человеком в полосатой куртке лагерника. Единственное, что делало его человеком, были глаза, смотревшие из-за чудом уцелевших очков.

— Разговаривайте,— разрешил Стон.

— Я пришел освободить вас, профессор.

Исхудалый человек молча пожал плечами.

— Я не знаю вас и не верю вам,— наконец проговорил он.

— Мы работаем вместе в институте новых физических проблем в Леймонте,— сказал Берни.

— Вероятно, этот человек сошел с ума,— был ответ.

— Но вы же основали этот институт.

— Я не знаю такого института.

— Всё, Берни,— сказал Стон, прекращая, очевидно уже ненужный, диалог.— Пусть Вернер пройдет все круги ада, которые ему остались до прихода союзников.

И Вернер исчез.

— Ваша очередь, Этточка,— сказал Стон.

Я не поняла.

— Камешки, камешки, камешки,— нетерпеливо пояснил Стон,— очистите ваши карманы, шарфюрер Фин.

Я сделала то же, что и Берни, высыпав все хрустальные камешки из карманов.

— Есть стоящие,— похвалил Спинелли, перебирая их несгибающимися пальцами.— Что же вы хотите за них — иллюзию или валюту?

— Иллюзию,— сказала я.— Хочу видеть Джанетту Фин из седьмого барака.

— Повтори аттракцион, Джакомо,— зевнул Стон.— Предъявляй.

И перед нами возникла мама Джанетта, какой я запомнила ее в детстве, только исхудавшая и побелевшая от малокровия и недоедания, в чисто выстиранном, по заплатанном, испачканном и прожженном химическими реактивами халате лагерной санитарки.

— Вы не узнаете меня, мама Джанетта? — спросила я, зная, что задаю совершенно бессмысленный и ненужный вопрос.

— Боюсь, что фрейлейн принимает меня за кого-то другого,— услышала я заранее известный мне ответ.

— Я же Этта, мама, только взрослая и в неподходящем костюме.

Англичанка в халате санитарки брезгливо сделала шаг назад:

— Боюсь, что фрейлейн действительно в неподходящем костюме. А может быть, я ошибаюсь, и костюм самый подходящий для этого заведения? — Слова «неподходящий» и «подходящий» она подчеркнула не без иронии.

— Я принесла вам свободу, Джанетта-мама,— сказала я. — Можете взять с собой кого захотите. Ведь у вас же есть кто-нибудь, кого бы вам хотелось вырвать отсюда.

У Джанетты вдруг загорелись глаза.

— Я не знаю, о какой свободе говорит фрейлейн эс-эс, но мне уже знакомы многие формы свободы в гестапо. Я предпочитаю остаться в лагере.

— Сеанс окончен,— сказал Стон. — Остаются еще двое.

— Давай.

И столь же чудесно в комнате оказались Нидзевецкий и Гвоздь в том же виде, в каком я запомнила их на хрустальной россыпи. Нидзевецкий с перекошенным от страдания лицом пытался подняться на четвереньках с пола, а Гвоздь равнодушно ухмылялся, даже не пытаясь ему помочь.

Берни шагнул было к нему, но его остановил Стон.

— Минутку, Янг. Где камни, Нидзевецкий? — спросил он.

— У меня его камни,— сказал Гвоздь.

— Я опять полз на брюхе от немецких танков,— пробормотал Нидзевецкий,— не могу пережить это вторично!

— Благодарите своих соотечественников в Лондоне,— улыбнулся Стон, обнаруживая знание политической ситуации на Западе во время второй мировой войны.

— Червоны маки на Монтекассино...— не слушая его, не то пропел, не то прохрипел Нидзевецкий и упал ничком.

— По-моему, он уже мертв,— сказал, склонившись над ним, Берни.

Он опять стоял на алмазной россыпи. Стон и Спинелли пропали вместе со столом, нас окружал по-прежнему сверкающий кокон.

Нидзевецкий, как и две минуты назад, поднялся и простонал. Неужели ожил? Но я ошиблась. Сцена повторилась, как в переключенном магнитофоне.

— Червоны маки на Монтекассино...— снова хрипло пропел Нидзевецкий, точь-в-точь как и раньше оборвав строчку.

— По-моему, он уже мертв,— повторил, склоняясь над ним, Берни.

— Почему вы все повторяете? — истерически закричала я. — Мы только что все это видели.

— Это? — удивился Берни. — Я вижу и слышу все это впервые.

— Но ведь две, всего две минуты назад...

Он не дал мне закончить.

— Две минуты назад мы с вами, Этта, видели нечто другое.

НОВОЕ В КРИСТАЛЛОГРАФИИ. БЕРНИ ЯНГ

Я действительно видел другое.

Сначала бриллиантовый кокон погас, потом побелел и сузился до узкого белого коридора леймонтского института новых физических проблем. В конце коридора темнела дверь лаборатории профессора Вернера, и к этой двери неспешно шагал я. Неспешно, но сознательно. Без всякого удивления от изменившейся обстановки, без малейшего ощущения неожиданности, а как бы движимый заранее обдуманной мыслью и предвиденным ходом событий. Не открывая двери, я прошел сквозь нее прямо к сутулой спине Вернера, разговаривающего с портретом молодого Резерфорда.

— Не мешайте,— сказал Вернер.

— Не могу,— сказал я.

— На работе я не общаюсь с живыми,— сказал Вернер, по-прежнему не оборачиваясь.

— Знаю,— сказал я, действительно зная, что дверь лаборатории Вернера всегда на замке.— Но это сильнее меня.

— Нельзя,— отрубил Вернер.

— Бывают случаи, когда в словаре нет слова «нельзя».

Вернер в белом халате наконец обернулся, очень похожий на парикмахера. Узкое лицо его еще более сузилось, почти достигнув двухмерности. Черная повязка на вытекшем левом глазу превратилась в рассекающую профиль диагональ. Эта повязка и треугольное тавро на щеке остались у него от лагерных дней в Штудгофе, куда загнал его Гейдрих.

— Покажите словарь,— сказал он.

Вместо ответа я положил на стол блистающий камешек величиною с орех.

— Что это? — спросил Вернер.

— Бриллиант, ограненный самой природой.

— Мне он не нужен.

— Вы ошибаетесь. Он нужен мне и вам (мы перебрасывались репликами, как шариком настольного тенниса), он нужен человечеству.

Кажется, я выиграл подачу: в глазах Вернера мелькнул тусклый огонек интереса.

— Нужно исследовать строение и физические свойства его кристаллической решетки,— пояснил я.

— Я уже давно оставил кристаллофизику,— сказал Вернер.

— Поскольку мне помнится,— отпарировал я,— тема вашей диссертации рассматривала кристаллизацию вещества в условиях сверхвысоких давлений.

— Не точная формулировка. Даже не болтовня первокурсника. Дремучее невежество.

— Если вы должным образом исследуете его кристаллическую решетку,— я ткнул пальцем в камешек на столе,— вы, может быть, увидите чудо. Если вы поймете его, то сделаете открытие, возможно даже более дерзкое, чем открытия Ньютона и Эйнштейна.

Вернер посмотрел на молодого Резерфорда. Казалось, портрет ободряюще подмигнул.

— Конкретно: направление исследования. Что предлагаете? — спросил Вернер.

— Что может предлагать дремучий невежда? Скажем, открыть новую науку, родную сестру кристаллофизики.

— Точнее?

— Биокристаллофизику.

Вернер еще более сузился. Сейчас он мог бы жить в двух измерениях.

— Вы думаете, это... живое? — недоверчиво спросил он, посмотрев камень на свет.

— Думаю. Может, оно было живым. И даже более — разумным.

— А вы не сошли с ума?

Я только пожал плечами.

— А где же мы найдем средства для исследований? Здесь, к сожалению, это невозможно: воспротивится ученый совет института.

— Мы найдем противоядие. У меня есть еще камешки.

Я наскреб в кармане и рассыпал по столу горсть алмазных орешков поменьше, не повысив вернеровского любопытства ни на полградуса. Он только скользнул своим единственным глазом по рассыпанным хрусталикам и подождал разъяснений.

— Мы реализуем часть их на ювелирном рынке и создадим свою лабораторию для исследований.

— Не выйдет,— хохотнул откуда-то взявшийся Стон.

И меня опять это не удивило, как, впрочем, и Вернера.

— Почему? — спросил он, не повышая голоса.

— Потому что бриллианты добыты в моей шахте, на моей земле.

— Это не ваша шахта, это другой мир, господин Стон,— сказал я,— и это совсем не бриллианты.

— Это вы мне говорите, мне, единственному монополисту торговли драгоценностями в Леймонте. Леймонтского ювелирного рынка уже нет, это мой рынок, Янг. Теперь вы не получите ни камней, ни обещанных пяти тысяч.

— Вы украли у меня не пять тысяч, а пять миллионов,— сказал я.

— Может быть, и больше,— хихикнул Стон.

— Мне не надо ваших миллионов, Стон,— проговорил

ла выступившая из гнездящейся у стен темноты Этта Фин,— у меня тоже есть камни.

— Советую их сдать моим «парнишкам», фрейлейн.

— Твоих «парнишек» уже нет, — сказал еще один голос.— Они у «ведьмина столба» остались. Трех пришил.

Загадки возникали одна за другой. На этот раз — Гвоздь и Нидзевецкий. У Гвоздя — автомат, крепко прижатый к бедру.

— У меня здесь не миллионы, а миллиарды,— усмехнулся Гвоздь, тряхнув чемоданом.— А им и горсточка хватит,— добавил он, кивнув на меня с Эттой,— пусть строят свою лабораторию.

Стон, не отвечая, воззрился на Нидзевецкого:

— А где же ваш чемодан, Нидзевецкий?

— Меня здесь нет. Я остался там, в шахте.

Смутные стены лаборатории Вернера раздвинулись и снова засверкали далекими и близкими гранями кокона. Нидзевецкий лежал ничком на алмазной россыпи, впиваясь дрожащими пальцами в похрустывающие осколки.

— Я опять полз на брюхе от немецких танков, но не могу пережить это вторично!— с трудом выдохнул он.

С последним усилием он приподнялся на руках и не то пропел, но то всхлипнул:

— Червоны маки на Монтекассино...— Свистящий вздох его оборвал строчку.

Я склонился над ним, приложил ухо к груди. Сердце его молчало.

— По-моему, он уже мертв,— сказал я.

— Почему вы все опять повторяете? Это же не кино!— вскинулась Этта. В глазах у нее прыгали сумасшедшие искорки.— Ведь только две, две минуты назад мы все это слышали!

— Разве? — удивился я.— Я вижу и слышу все это впервые.

— Но ведь вы же были со мной, рядом!

— Конечно. Но видели мы с вами нечто другое.

— И я,— засмеялся Гвоздь.— Представьте себе, тоже видел. Без вас, правда, но видел.

СВОДЯТСЯ КОЕ-КАКИЕ СТАРЫЕ СЧЕТЫ.

ХУАН ТЕРМИГЛО ПО КЛИЧКЕ ГВОЗДЬ

Вот именно, что без вас. Куда только делись вы, не знаю. Оглянулся назад — никого, вынырнул на божий свет — тоже никого. Один «ведьмин столб», выгоревший на солнцепеке. А у столба — машина. Вроде бы тот же «форд», на котором сюда приехал, а вроде бы и не тот. Обошел я кругом — ни души. Ни второй машины, ни «парнишек». Заглянул в окно к шоферу — баранка на месте, все остальное чин чином, только ключей нет. Как же, я думаю, тебя открою, коли у меня тоже ни ключей, ни отмычек. А дверь вдруг сама собой открывается — не рывком, не с отмаха, а вежливо, с приглашением. Должно быть, «форд» новый, с программным управлением, автоматический. Фотоэлемент какой-нибудь или реле: подошел, включилась механика, и дверца раздвинулась — и готово!

А тут еще голос, приятный такой, ласковый, как у адвоката, которого хочешь нанять за хорошие денежки. Неизвестно, откуда голос, только явственно приглашает: садитесь, мол, и чемоданчик не забудьте.

Ну, чемоданчик, набитый каратами, за которым меня Стон на смерть гонял, чемоданчик этот, понятно, я не забыл, между ног поставил и развалился позади пустого водительского кресла. А дверца сама собой мягко захлопнулась, и «форд» газанул, словно за рулем сидел шофер первого класса, к высоким скоростям привыкший, как гонщик на Кот д'Азюр.

— А куда же мы едем? — спрашиваю.

— На этот вопрос мне отвечать не положено. Едем, куда программа предписывает, и будет все как стеклышко — в общем, порядок.

Может быть, он и не так говорил, джентльменнее, вроде аристократа или директора банка, это я так пересказываю, потому что не обучался говорить книжно, да там, где обучали меня, даже Библию не раскрывали, только руку на нее клали, когда на суде подводили к присяге.

— А вы кто же будете? — спрашиваю.— Инженер-невидимка?

— Зачем,— говорит,— просто автомобиль. Машина с

программным управлением и с переводом на ручное, если пассажиру захочется.

— Компьютер? — Слово это я уже знал и произнес небрежно.

— Если хотите, да, только с ограниченным диапазоном мышления. Вы, конечно, не понимаете, что такое ограниченный диапазон мышления. Ну как бы вам сказать поточнее: привезти-отвезти, поговорить по-хорошему, показать, что захочется пассажиру.

— А мне,— говорю,— ничего не хочется, я город этот как облупленный знаю. Немало делов тут понаделано.

Да, много хороших делишек, за которые в сумме — вышка, не меньше, но в Брюсселе мне пластическую операцию сделали, в нос горбинку вставили, подбородок заострили, на висках кожу подрезали, отчего они вглубь запали. Совсем другим человеком стал — не Хуаном Термигло, которого Интерпол по всему шару разыскивал, а Гвоздем без фамилии — это так меня у наемников в Анголе прозвали, черт меня туда занес, должно быть, для практики, чтобы не забывал о дешевизне человеческой жизни. Это он догадался засунуть мне сердце не слева, а справа, отчего вынесла меня нелегкая на «ведьмин столб», с которого и началось нисхождение в Мальстрем. Нидзевецкий так наш поход называл; книжный был человек, жаль, что хоть справа сердчишко было, а не выдержало. Камни кругом, как реклама ночью, горели, да не просто горели, а пытали нас светом, как говорят, в гестапо пытали, да и в нашей контрразведке у наемников в португальской Анголе. Я-то привычный — вынес, а поляк погиб в конце концов, всё немецкие танки вспоминал: должно быть, пятки тогда горели.

А в Леймонте у меня немало дружков было... Слава богу, никто не узнал, даже Спинелли. Как-никак в «парнишках» у меня ходил, когда мы вчетвером ювелирную лавочку брали: «Франциск Тардые, самые дорогие в Леймонте кольца, серьги, ожерелья, кулоны». С нее все и началось. Пока мы с Гориллой и Кэпом прикрывали отступление, Джакомо весь багаж в неизвестном направлении увез; Гориллу прошила автоматная очередь, Кэп влип, а я еле-еле на полицейском мотоцикле ушел. Ну, а дальше все проще простого. «Парнишек» моих Джако-

мо перекупил, двухмиллионной выручкой поделился с кем нужно, а мне пришлось пластическую операцию делать, чтобы полицейские в Европе на меня не заглядывались.

Пришло наконец время сводить старые счета, пришло... В моем чемодане не два и не пять, а полсотни миллионов, если на глазок считать, а то и более выйдет. Уж я-то знаю. Слава богу, не интеллигент вроде этого лопоухого физика, могу чистый бриллиант отличить от стекляшки — столько их в свое время через мои руки прошло. Пусть без огранки, природа огранила их так, что красоту да подлинность даже полуслепой увидит. Ну, а профессиональных гранильщиков я найду; где искать, знаю не хуже Стона: догадываюсь, почему бывший карточный шулер всех в Леймонте в кулак зажал, даже Плучек-банкир, говорят, с ним первый раскланивается. Ничего, посчитаемся и со Стоном. Хуан Термигло и не таких припечатывал.

Тут машина моя останавливается прямо у лестницы беломраморной, широкой и с колоннами, как в Италии. Что кругом, не видно, только лестница да колонны, а там, где лестница поворачивает, серебряные рыцари в латах на страже стоят.

Слышу, как дверца, мягко щелкнув, открывается и голос почтительно приглашает:

— Проходите, господин Гвоздь. Приехали. Прямо по лестнице. Вас ждут и проводят.

Оглядываюсь, никто меня не ждет, пальмы да кактусы, синее небо, как в Акрополе, а серебряные стражи гремят металлическими доспехами и металлическими головами:

— Человек с чемоданом подымается наверх. Пропускать без вопросов.

Я всегда мечтал о такой автоматической жизни. Чтобы двери сами собой открывались, без лакеев и без охранников, мелодично и с музыкой или добрыми пожеланиями; чтобы лестницы, как эскалаторы, сами подымались и опускались, вежливо и дружелюбно подталкивая вперед; а если идет враг, чтобы невидимые дула брали его на мушку и молниеносные очереди без промаха отправляли его на тот свет. В моем действительном мире кулака и беззакония, пистолетов и полицейских, фальшивых документов и фальшивых друзей, бешеных

денег и бешеных волков с автоматами о такой управляемой жизни можно было только мечтать. И ребячьи мечты взрослого профессионала-мошенника расплатились со мной этой удивительной лестницей с разговаривающими дверьми, которые, приветствуя, почтительно направляли меня в кабинет шефа.

И вот наконец последняя дверь и ее предупредительное напутствие:

— Шеф ждет. Поставь у входа чемодан, когда войдешь; руки на затылок, когда сядешь.

Стон сидел за столом, похожим на саркофаг, с седым зачесом над тремя морщинами, рассекающими лоб, не старый и не молодой, а много, много поживший. Колючий взгляд его недобро встретил меня и не отступил, хотя у меня самого в глазах столько злости, что на семерых хватит. Но Стон смотрел не столько зло, сколько безжалостно, ледяной взгляд прокурора или судьи, уверенного в том, что приговор присяжных будет: виновен. На то, что я чемодана у дверей не оставил и рук на затылок не положил, он не обратил внимания, только спросил:

— А где остальные?

— Не следил,—говорю,— к столбу не вышли. Я один как был, так и приехал. Машина сама открылась, завелась, газанула да еще поговорила о том о сем.

Говорю об этом так, между прочим, словно ничего удивительного тут нет и говорящая автомашина для меня штука обычная, вроде магнитофона. И Стон тоже не удивляется и равнодушно, будто я ему не миллионы, а старые бутылки принес, кивает на дверь: чемодан, мол, отдай Джакомо Спинелли, а гонорар получишь, как договорено.

— Есть оговорочка,—поправляю я его,— договаривались о стеклышках для науки, а в чемодане алмазы для огранки. Потому и расчет будет другой.

— О расчете,—говорит,—разговаривать надо с Джакомо, я ему все дела передал. Как он скажет, так и будет.

А я смеюсь и похлопываю по автомату под мышкой: будет, мол, как я скажу, а с Джакомо у меня старые счеты: авось разберемся.

И тут стена поворачивается, как на шарнирах, и пе-

редо мной уже другой стол, а за столом не Стон, а Джакомо Спинелли. Меня он не узнал, как и в первый раз, когда я по объявлению пришел. Мы-то с ним одногодки, обоим под сорок, только я за эти семь лет разлуки в худобу подался, а он обрюзг. Из-под обтяжной трикотажки жиры выпирают кольцами, как автопокрышки, положенные одна на другую. Сидит передо мной таким живым Буддой и с моего чемодана, как удав с притихшего кролика, глаз не сводит.

— Полный? — спрашивает.

— Полный,—говорю.

— Пять тысяч твои,—радуется он,— как в банке. Хочешь чеком, хочешь наличными.

— А сколько ты взял за товар, который мы семь лет назад с витрин у Тардые увели?

— Не помню,—говорит,— такого случая.

— А я тебе напомним. Два миллиона моих ты взял плюс долю Гориллы и Кэпа. Вот и настало время баланс подвести.

Он даже осел, как тесто, которое встряхивают.

— Термигло?

— Он самый,—говорю.

— Не похож.

— А мне,—говорю,— в Брюсселе другую фотокарточку сделали.— И тут мне смешно стало, как его жиры-шины от страха заерзали.

Впрочем, он быстро оправился.

— Все равно,—говорит,— тебе не жить, Термигло. У меня сила, у меня деньги, на меня все твои «парнишки» молятся и весь город в кулак зажат. Оставь чемодан, бери десять тысяч и уходи, пока я не передумал.

— Как же я уйду,—говорю,— когда я семь лет об этой встрече мечтал. Ночи не спал, всю эту сцену играл, репетировал до утра, до рассвета.

— Ну и отыгрался,—хохочет он,— ты же под мышкой сидишь. А двинешься, так две встречные автоматные очереди сразу прошьют — вздохнуть не успеешь. У меня и нога на спусковом механизме.

Я знал, что он не блефует — кибернетика. Только у меня мозги в голове, а у него овсянка. На спусковой механизм он нажал, но поздно. Лишь мгновение, доля секунды, спасительная долька понадобилась мне, чтобы

нырнуть под стол. Ноги мои были уже на полу, как две обещанные очереди грохнули, встретились и отколошмели от пластмассовых стен. И под аккомпанемент их я сильно дернул на себя завалившееся в кресле тело. Джакомо даже не сопротивлялся, он просто ничего не понял, не успел понять до моего рывка, стащившего его под стол-саркофаг. И тут я зажал пальцами его горлошину. Он уже не дышал.

Не подымаясь, я отшвырнул ногой чемодан к двери, проверяя, не заговорят ли замаскированные огнестрельные дула. Но кибернетика на этот раз не сыграла: направленность выстрелов была однозначной, да и спусковой механизм уже не действовал. Тогда я вылезаю из-под стола и вижу... Нидзевецкого, распластанного на алмазной россыпи.

Он явно умирает, ему не хватает воздуха. Наклоняюсь к нему и слышу его любимую строчку о червонных маках на Монтекассино.

— Он уже мертв,— заключает растрепанный интеллигент-физик.

Девчонка плачет.

А надо не плакать, а бежать. Кто знает, а вдруг то, что мне почудилось, возьмет да получится. Я оглядываюсь и вижу темную дыру выхода в нескольких метрах от нас. Не задумываясь, набиваю чемодан камешками с россыпи — и кто их рассыпал здесь, как гальку на пляже? — и бегу.

— Выход,— кричу,— выход открылся! Не зевай, сердобольные! Труп все равно с собой не потянешь...

Добежал и нырнул в знакомую дымку прохода.

В РОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ЭТА ФИН

Я обернулась. Гвоздь, спотыкаясь и подпрыгивая, неловко бежал от нас по хрустящим осколкам. Бежал к темному облачку, похожему на дым от костра, какой бывает, когда мокрые сучья только дымят, а не разгораются. Мамочка моя! Да ведь это и есть выход, о котором он только что кричал, набив полный чемодан хрусталиков или алмазов. А я с Берни и внимания не обратила

на эту его выходку. Берни даже не оглянулся, прижался ухом к груди Нидзевецкого, словно все еще надеялся, что в нем не угасла жизнь.

— Берни,— позвала я.— Гвоздь бежит к выходу.

— К выходу? — не понимая, откликнулся он.— К какому выходу? Отсюда? Ты думаешь, это выход?

— А если да?

Берни растерянно оглянулся на мертвое тело товарища: что, мол, с ним будем делать? Я пожала плечами. Мертвого не воскресишь. А тащить его по этому страшному коридору, прижимаясь к упругой «стенке», все время стараясь уберечь себя от встречной воздушной струи? Сумеем ли?

— А что же делать? — спросил Берни.

— Ты уверен, что он мертв?

— Теперь да. Сердце остановилось. Ни дыхания, ни пульса нет.

— Так похороним его здесь. Засыплем этой хрустальной щебенкой.

Так мы и сделали, торопясь и все время оглядываясь, не исчезло ли облачко. Но серый дымок от невидимого костра в десяти метрах от нас все еще неподвижно висел, едва касаясь сверкающей под ним россыпи.

— Гвоздь полный чемодан ими набил,— сказала я, бросив на могилу последнюю горсть алмазов; тогда я все еще не знала, как называть эти похожие на неотшлифованные бриллианты камешки.

Берни с сердцем отшвырнул свой чемодан ногой.

— А мы не будем! Я тебе потом скажу, что это за камни. Боюсь, что сходство с бриллиантами, хотя и полное на первый взгляд, все-таки кажущееся. Я взял с собой для исследования горстку.

Я тоже сунула в карман жакета несколько камешков покрупнее, и мы побежали к дымчатому облачку, в котором только что исчез, буквально растаял Гвоздь. Оно сомкнулось и вокруг нас, но исчезли уже не мы, а все окружающее с почти невыносимым блеском хрустальных скал, уступов и россыпей, заменявших здесь и небо и землю. Мы же увидели знакомый темный тоннель с упругими, почти неощутимыми «стенами», к которым нельзя было прижаться, но в которые можно было вдавиться, втиснуться, как в поролоновый ковер, отвечавший мяг-

ким, упругим сопротивлением, едва вы ослабляли ваши усилия. Два встречных воздушных потока шли в том же направлении: слева — встречая нас, справа — легонько подталкивая сзади. Ощущение было то же, как и тогда, когда мы вошли в этот тоннель из нашего пространства и времени, словно эту длинную кишку повернули на сто восемьдесят градусов, и сердце снова спасало нас от участи остаться здесь навсегда. Я филолог, а не естествовед, и потому даже не пыталась искать объяснений этому феномену, столь же загадочному, как и все происшедшее.

В полутьме коридора Гвоздь уже не было видно, должно быть, он спешил, не оглядываясь и не окликая нас, торопясь скорее добраться до выхода. Но Берни не спешил. Удивительно чуткий и внимательный человек. Даже в самых необычных и рискованных ситуациях он прежде всего стремится помочь товарищу. Кто я ему? Не жена, не дама сердца — случайный попутчик, не больше, а он, прежде чем броситься в глубь коридора, взял меня за руку и сказал:

— Не торопись. Осторожность прежде всего. Прижимайся вплотную к «стенке», втискивайся в нее, дави — и так шаг за шагом. Не выпускай моей руки, мне будет трудно помочь тебе, если отстанешь.

Так мы шли, казалось, не минуты — часы. Я ни о чем не вспоминала, ничего не предполагала, ни на что не рассчитывала. Только ползла по странно зыбкой «стенке», как улитка. Впереди так же полз, переступая с ноги на ногу, Берни; я не слышала его слов — может быть, он и не говорил ничего, — только чувствовала судорожное, застывшее сжатие руки. Где-то впереди вдруг грохнул выстрел. И тут же другой, третий, мгновенная автоматная очередь. Гвоздь? Или в него? Мы ничего не видели, кроме смутного тумана впереди, прикрывавшего едва заметное окошечко дневного света.

— Гвоздь? — спросила я.

— Не уверен, — не сразу откликнулся Берни, он все еще прислушивался.

Снова автоматная очередь, потом еще одна, только глуше, отдаленнее. С какой стати расстреливать одного человека из нескольких автоматов? Может быть, идет бой? Равный или неравный?

— Видимо, они уколошили его, — сказал Берни.

— Зачем? — удивилась я.

— Убрать свидетеля. Чемодан взяли, а труп промолчит о сокровищах «ведьмина столба», да и пять тысяч кредиток останутся в кассе.

— Значит, и нам грозит та же участь?

— Возможно, — подумал вслух Берни. — У нас есть шанс выжить, если остаться у выхода, не переходя в наше пространство. Не у самого выхода, конечно, а подальше, где не достанут пули. Войти же внутрь никто не решится.

— Оставят охранников.

— Может быть, и оставят. Тогда попробуем продержаться дотемна. Охранники тоже люди — в конце концов сон свалит. Пошли.

Еще медленнее мы двинулись к выходу. Парализующая воздушная струя до сих пор не коснулась нас — ни одна мышца не онемела. Через трупы близ выхода мы перебрались, не отрываясь от «стенки». Прислушались: тихо. Берни, оставив меня, подполз, буквально подполз по земле — я говорю так просто по привычке, потому что грунт под нами не был ни землей, ни камнем, ни искусственным покрытием вроде пластика, — подполз к отверстию, сквозь которое уже просматривался пресловутый «ведьмин столб», и выглянул снизу наружу. «Сейчас грохнет», — подумала я, но выстрела не последовало.

— Сюда! — крикнул Берни и выскочил из коридора. Я — за ним.

Тут же мы чуть было не уперлись в деревянного ведьмина стража за чугунной оградой у края бетонной ленты шоссе. Коридор, из которого мы только что вышли, уже растаял в земном воздухе над высушенными луговинами, огражденными ржавой колючей проволокой. Чуть поодаль стоял привезший нас «мерседес», а позади него в лужицах уже застывшей и порывевшей крови лежали двое «парнишек», срезанных автоматной очередью. В этот момент они, должно быть, в ожидании нас «заправлялись» виски из пузатой бутылки, стоявшей в открытом багажнике машины. Водитель ее, наполовину вывалившийся из открытой дверцы, был убит, вероятно, второй очередью, которую мы слышали в межпростран-

стенном коридоре. Стрелял только один человек — Гвоздь, отнюдь не оборонявшийся, а нападавший и выигравший бой, видимо, без «потерь». Во всяком случае, вторая машина Стона, стоявшая рядом — след от нее виднелся на обочине шоссе в примятой колесами пыли, — теперь исчезла в неизвестном нам направлении. Гвоздь даром времени не терял.

— Все ясно, — сказал Берни, — у нас имеется только один выход: воспользоваться оставленным нам «мерседесом».

— Так нас же наверняка обвинят в убийстве или в соучастии.

— Все равно обвинят — и пеших и конных. Пока мы доберемся до ближайшего полицейского управления, а идти туда часа два, не меньше, трупы будут уже обнаружены и полиция предупреждена. Нас возьмут «тепленькими» прямо на дороге и церемониться не будут: вся полиция в городе на жалованье у Спинелли.

— Что же делать?

— Скрыться где-нибудь ненадолго и обдумать случившееся. Времени у нас мало: шоссе блокируют — и конец. Хорошо еще, что «мерседес» на ходу.

Мы вытащили тело водителя на дорогу и рванули в сторону от Леймонта. Чем дальше — тем лучше, пояснил Берни, нарвемся на пост, и доказывая потом, что отсиживались в известной только Стону межпространственной связке. Говорил Берни мало, вел машину на полной скорости, не отрывая глаз от дороги. Я вообще ни о чем не расспрашивала, хотя замысел Берни был для меня неясен.

Я сказала ему об этом.

— Почему не ясен? — проговорил он, не оборачиваясь ко мне. — Одна у нас надежда, одна-единственная. Ни Стон, ни Спинелли не заинтересованы в том, чтобы озnamоить человечество с тайной бриллиантовых россыпей. Им важно вернуть чемоданы, они считают, что мы их похитили. А виновник убийства им и так известен: профессиональная работа, не особенно их встревожившая. Гвоздь «свой», с ним и расправиться безопаснее и договориться легче. Ну, а с нами сложно: чемоданов нет и тайна — не тайна. Что предпринять? Вот над этим кроссвордом сейчас они голову и ломают. А у нас свой

кроссворд с той же загадкой: что делать? Только где мы его решим, где?

— Остановись за песчаным карьером, — сказала я, — километра за три от разработок. Мотель там прогорел и закрыт, но машину поставить есть где. Кстати, дорога там разветвляется и проследить наш путь будет не так-то легко. Попутных и встречных машин предостаточно, так что можно ускользнуть на любой и в любую сторону.

Берни обогнал цистерну с молоком, пропустил встречную гоночную с итальянским флажком и, скосив глаза, усмехнулся:

— У тебя в запасе еще вариант.

— Ты уверен?

— Слишком многозначительны эти «любой» и «любую». Не умеешь хитрить. На какой бы машине мы ни удрали, нас всегда найдут. Ты забыла о телефоне и радио.

— А я и не имела в виду машины.

— Я так и думал.

У меня «в запасе» действительно был еще один вариант. Прошлым летом во время каникул я давала уроки английского языка художнику Чосичу и даже гостила у него в летней резиденции — коттедже не коттедже, а просто в деревянной хижине на одном из здешних лесных склонов. «Бунгало», как почтительно называл ее художник, не охранялось ни заборами, ни решетками, а единственным ночным стражем был огромный черный ньюфаундленд с человеческим именем Славко, злобещего вида пес, весьма недоброжелательный к незванным гостям. Сейчас художник был за границей, «бунгало» дичало в пыли и безлюдье, а пса кормил проезжавший по утрам почтальон из Леймонта.

— Как добраться до хижины? — спросил Берни, выслушав мой рассказ.

— Тут же у мотеля мост через горную речушку-ручеек. Машину мы обычно оставляли в гараже — сейчас он пустой, — спускались к ручью и шли километра три-четыре по берегу до склона с редкой дубовой рощицей, а за ней к сплошным зарослям кустарника, полностью скрывающим приземистую лесную хижину. Добраться до нее можно по тропинке-лесенке, где каждый обна-

жившийся корень — ступенька, и по незаметной снизу дорожке через кусты к самому крыльцу.

— Неужели почтальон каждый день проходит все эти километры, чтобы покормить пса?

— Зачем? Он едет на велосипеде. По верху склона совсем рядом — проселок.

— В хижине есть кто-нибудь?

— Никого.

— А собака?

— Меня она помнит.

Берни долго молчал, что-то обдумывая. Мотель был уже за поворотом дороги.

— Оставим «мерседес» в гараже, как ты предлагаешь, — сказал он, — но спустимся к речке не сразу. Сначала потопчемся на развилке: если возьмут наш след, пусть думают, что мы дожидались попутной или встречной машины. Потом снимем обувь — и вниз к ручью. Воды в нем достаточно?

— Летом он обычно пересыхает, но теперь шли дожди.

— Тогда пойдем по воде. Дно не вязкое?

— Галька.

— Порядок, — повеселел Берни. — Собаки нам уже не страшны, кроме твоего Славко.

— Славко я беру на себя, — сказал я.

РЕШАЕМ КРОССВОРД. БЕРНИ ЯНГ

Речушка за мотелем почти высохла, но воды в ней все же оказалось достаточно, чтобы скрыть наши следы от полицейских. Пусть думают, что мы уехали на попутной машине — или вернулись в Леймонт, или умчались от него куда подальше. Нам же раздумывать не приходилось: тропинка-лесенка действительно ползла в гору к зарослям можжевельника, пробившись сквозь которые, мы очутились перед низенькой бревенчатой хижинкой с широченным дощатым крыльцом-верандой под черепичным навесом.

— Стоп, — остановила меня Этта, — ни шагу дальше, — и свистнула.

Из-под крыльца выползло нечто огромное, черное, мохнатое и, прикинувшись к земле для прыжка, зарычало.

— Славко! — крикнула Этта. — Славко, Славочка!

Мохнатое существо прыгнуло, но не яростно, а с восторженным собачьим визгом и чуть не свалило Этту, положив ей лапы на плечи. Спустя секунду оба катались по траве, обнимаясь и взвизгивая.

— Свой, Славко, свой! — предостерегала Этта, указывая на меня. — Шагай, Берни. Он не тронет.

Славко любезно пропустил меня вперед и даже хвостом повилял из вежливости. В хижине все было аккуратно прибрано, хотя и припорошено густым слоем пыли. В шкафу солидный запас сухих галет и консервов. Этта откуда-то выудила бутылку коньяку, кофе сварили на спиртовке и зажгли свет.

— А неплохо отдыхал твой Чосич, — сказал я. — Здесь вся его резиденция?

— Нет, комнаты для гостей рядом. Дверь за мольбертом, в углу.

— Уютное гнездышко.

— Не о том говорим, Берни.

— Не о том, — лениво согласился я.

От кофе и коньяка меня совсем разморило — говорить не хотелось. Да и о чем говорить? О том, что осталось позади, или о том, что будет с нами, если нас сцапают? Так я и сказал Этте.

— О будущем после. Найдут нас не скоро — время есть. А вот то, что осталось позади, объяснить надо. Это самое важное, — отрезала Этта.

— Как объяснить необъяснимое?

— Ты же ученый. Физик.

— Моя физика не занимается гиперпространством. Я даже не знаю, как еще назвать этот бриллиантовый кокон. То, что он за пределами нашего пространства, нам ясно, хотя способ входа совершенно необъясним: дыра в воздухе, абсолютный нонсенс. Геометрия коридора как будто тоже ясна, хотя вещество его основания и «стенок» загадочно. То ли это силовые поля, то ли уплотненный слой атмосферы, сказать трудно. Трудно понять и смену воздушных потоков по пути туда и обратно. Стол правдоподобно объяснил причину гибели всех пропавших у «ведьмина столба»: левый встречный поток смер-

телен. Но почему этот смертельный поток, который на обратном пути должен был стать попутным и правым, снова становится левым и встречным? Поворачивается коридор вокруг центральной оси? Зачем?

— Для того, чтобы выйти, как и войти.

— Кто же об этом заботится?

— Не знаю. Не могу себе даже представить.

— У меня есть одна идея,— замялся я,— бредовая, безумная нильсборовская идея, достаточно безумная, чтобы претендовать на истинность. Почти невысказанная. Почти,— подчеркнул я.

— Почему?

— Потому что были факты, странные факты, необъяснимые, ирреальные, но в совокупности ее подтверждающие. Во-первых, приспособленный для входа и выхода коридор, во-вторых — сны. Даже не сны, а наведенные галлюцинации, слишком реальные для сновидений, запрограммированные, я бы сказал, даже с одной для всех программой.

— Но мы видели не одно и то же.

— Мы очень кратко рассказали тогда о том, что мы видели. Расскажем подробнее.

Рассказали.

— Не находишь однолинейность виденного? — спросил я.

Этта задумалась.

— Все, что связано с камешками?

— Не только. Моделировались как бы наши мечты. Моя о привлечении Вернера к разгадке увиденного. Вернер химик в прошлом и со смелостью оригинальных решений. Я, вероятно, подсознательно стремился к разгадке тайны уже после беседы со Стоном. Бриллиантовый мир извлек это стремление из подсознания.

Этта все пыталась меня перебить.

— Но я же ни о чем не мечтала! Шла с тупым страхом перед неизвестностью.

— А разве ты не мечтала когда-то о выходе из Штудгофа? Из ада под нарами? Из мира погибающих заживо?

— В раннем детстве — да. Жалела мать больше, чем себя. Но все это было в далеком прошлом. Я даже не вспоминала о нем, тем более в нашей акции.

— Но мечта осталась. Где-то в тайниках подсознания. Кто-то вынул ее и смонтировал с настоящим, сознательным, личным. Оттого в лагере с тобой появились все мы — и я, и Гвоздь, и Стон, и покойный Нидзевецкий. Они возникли и в моем сне, лишь в других фантастических связках.

В глазах Этты отразились растерянность и непонимание. Мне стало жаль ее. Строгий рациональный мир ее не допускал ничего ирреального. И я знал, что вызову в ней еще большее смятение мыслей и чувств, когда расскажу все до конца.

— Ты сказал о мечте, что кто-то вынул ее из тайников моего подсознания. Ты не обмолвился?

— Нет. Я именно это имел в виду: извлек из твоего подсознания.

— Кто?

Я решил начать издали.

— А ты помнишь, что предшествовало нашим видениям? Помнишь игру красок и линий в нашем сверкающем коконе? В этой смене цветовых и геометрических форм была какая-то закономерность. Что-то повторялось, как в математических формулах или в наскальных рисунках. Потом всё исчезло, и заговорили мы.

— Во сне?

— Нет. В искусственно моделированных ситуациях.

— Слишком туманно. Кто же модельер?

— Разум.

— Наш?

— Нет.

Она не понимала. Но как объяснить этой по-своему умной, образованной, но рационально ограниченной женщине то, что требовало большой смелости воображения? Как рассказать, что, по моему разумению, загадочный бриллиантовый кокон — это существо, а не вещество. Не хаотическое нагромождение гигантских кристаллов, излучающих и отражающих свет, но мертвых, как всякое кристаллически твердое тело, а структура живая и мыслящая, разум, быть может находящийся на более высокой ступени, чем человеческий. Может быть, жизнь в этом земном варианте развивалась не в комбинациях биологических растворов, а в эволюции сверхплотных кристаллических систем. А какие у меня доказательства,

кроме предположений, которые вроде бы все объясняют? Но какой трезвый рациональный ум, вроде Этты, поверит в гипотезу, не подкрепленную авторитетом науки, для которой главное — факты, а не аргументы, не убеждающие в истине.

И Этта не поверила.

— У тебя слишком пылкое воображение, Берни. Где ты нашел следы жизни?

— Я искал не следы жизни, а следы разума. И я их нашел.

— В цветных волнах, пятнах, искрах и брызгах? Бред!

— Может быть, — уступил я. — Мне так показалось.

Она вынула из кармана несколько камешков и бросила их на деревянный стол. Они звякнули, как любые камни, только обычно тусклая алмазная поверхность их в свете настольной лампы засверкала бриллиантовой ограниченностью. А что, если их огранить специально?

Но Этта не заинтересовалась проблемой огранки.

— И это, по-твоему, живые существа?

— Не знаю, — вздохнул я. — Посмотрим, что дадут специальные исследования.

— Какие?

— Может быть, структурный анализ с помощью жесткого рентгеноизлучения. Может быть, микроисследования срезов или какие-то особые реакции. Спроси у химиков.

— Бред, — повторила она, подбросив поблескивающие камешки на ладони. — Камни и камни. Пусть драгоценные, но мертвые, как любой камень вулгарис. Не двигаются и не размножаются, ничего не поглощают и не выделяют.

— А ты уверена? Ведь это только осколки более массивных образований. Гигантских при этом. Может быть, это уже кристаллоорганика.

— Да тут нет ничего похожего на живую клетку. Откуда же разум?

Трудно спорить с человеком, лишенным воображения. Этта не могла перешагнуть за пределы общепринятого здравого смысла. Ну как ей объяснить, что мышление, память, творчество отнюдь не прерогатива только человеческого мозга и что можно допустить существова-

ние мыслящей материи и в других формах? Я попытался сделать это, но увы — бесполезно.

— Фантастика, — проговорила она с возрастающим раздражением. — Почему ты не пишешь романов?

— Я не художник.

— Ты сумасшедший. Ведь разум — основа любой цивилизации. А цивилизация — это комплекс. Наука, искусство, техника, социология — мало ли еще что.

— Мало. Все это только искусственная среда жизнедеятельности, созданная человеком. А если среда замкнута на себя и не нуждается в искусственных надстройках?

— Я не могу с тобой спорить, Берни. Не подготовлена, не хочу.

— Просто у тебя нет воображения, девочка. Отдадим камешки Вернеру, а там посмотрим.

— Интересно, когда это будет? — съязвила она.

И тут нам обоим стало ясно, что мы забыли о главном, о чем забывать было нельзя. Несколько часов прошло со времени нашего бегства. Вероятно, трупы уже давно обнаружены, Спинелли и Стон предупреждены, и нас ищут по всей трассе от Леймонта до Пембертона — городишки в семидесяти километрах южнее. Прочесывают мотели, бары, кафе, гостиницы и вокзалы. На квартире у нас — засада, в моем институте и в школе Этты — дежурный пост. У касс аэропорта шныряют сыщики. В эфире и по телефонным проводам гудят приказы, распросы, рапорты, донесения. Выходить из «бунгало» Чосича преждевременно и опасно — все дороги кругом блокированы.

— Не все, — предполагает Этта, — едва ли они подумали о проселке.

— Проселком воспользуемся завтра, — решаю я. — Ажиотаж поисков к утру выдохнется. Будет легче проскользнуть в институт — постового утром, должно быть, сменят, а может, и совсем снимут пост: глупо предположить, что мы с тобой сунемся туда, где найти нас легче легкого. А мы именно так и сделаем. Только пешком будет далековато.

— У Чосича есть велосипеды, — вспоминает Этта.

— Тогда рискнем.

Разогретый на спиртовке консервный гуляш стынет.

Сказать просто: доедем на велосипедах. Сначала по проселку через хуторок Кесслера, а затем по северо-восточной фермерской дороге в Леймонт. Велосипедистов там много. Возможно, и не обратят внимания на двух туристов с рюкзаками, в стареньких ковбойках и джинсах — этого добра, еще раз вспоминает Этта, на чердаке у Чосича навалом. Преступники, преследуемые полицией, используют автомашины, а не «вёлики». Но ведь любой полицейский может приметить и остановить. А дальше?

Старинные часы с боем, заведенные и поставленные по моим ручным, бьют одиннадцать. Даже коньяк не рассеивает тревоги.

«МЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ, ДЖАКОМО». ЯКОВ СТОН

Проводив путешественников в Неведомое, Стон вернулся к себе очень довольный. Он взвесил и подсчитал всё без ошибки, как электронно-вычислительная машина. Четыре чемодана бриллиантов — это уже фантастическое богатство. Владеть им полностью невозможно — не дадут. Но Джакомо Спинелли не опора в борьбе за мировой рынок. Требовался компаньон другого делового калибра: с крупным капиталом и международными связями. Такого компаньона он уже нашел и только ждал ответа на свое предложение.

Плучек позвонил ровно в полдень.

— Я согласен, господин Стон.

— Отставим «господина». Условия?

— Акционерное общество со смешанным капиталом.

— Отлично.

— Погодите. Не только.

— Что еще?

— Контрольный пакет акций...

— Но...

— Я еще не кончил. Контрольный пакет мы разделим между нами двумя.

— А Спинелли?

— С него достаточно четверти. Больше не стоит. Подсобное хозяйство.

— Он не так плохо обеспечивает сбыт.

— Для города, но не для мира. В машине он вполне заменяемая деталь. Учтите это на будущее.

— Пока не обеспечены рынки, его можно попридерживать.

— Подумаем. Кстати, о сбыте. Если мы выпустим в продажу только треть товара, цены упадут вдесятеро. И не только на камни. Полетят акции всех алмазных россыпей на планете.

— Даже в этом случае мы останемся в выигрыше. Важны рынки.

— Я обеспечу вам крупнейшие — амстердамский и лондонский.

— А заокеанские?

В трубке смешок.

— Не спешите. Доберемся и за океан. Подготовку вам одному не поднять. Я обеспечу финансирование без ограничения кредитов. Устраивает?

Стон вытянулся, как на параде.

— Вполне. Есть вопросы?

— Скорее, просьба. Я знаю источник ваших миллионов. Не тревожьтесь, я не претендую на изменение нашего соглашения. Но там тела и моих мальчиков. Я бы хотел похоронить их по-человечески.

— Пока это трудно, — отрезал Стон. — Экспедиция рассчитана только на извлечение товара.

Тихий вздох в трубке.

— Вы правы. Товар важнее.

Прошло еще два часа. Стон уже нервничал. Даже обедая у Шуайеза, он не соблазнился эффектами французской кухни. Филе фазана с шампиньонами едваковырнул вилок. Спинелли не было.

Только без четверти три он появился в пестром клетчатом костюме с видом боксера, выходящего из душевой после душа. «Нет вкуса у подонка, — подумал Стон. — Так одеваются только крупные и клоуны. Только почему он скис?»

Спинелли подозрительно отвел глаза.

— Скотч, — кивнул он официанту, плюхнувшись на затрепавший под ним стул, — двойной. Неудача, Стон.

— В чем? — насторожился Стон. — Что-нибудь с нашими агентами?

— С нами.

— Не говори загадками! — вспыхнул Стон.

— Не я их загадываю, — огрызнулся Спинелли. — Трое лучших моих парнишек валяются убитыми на шоссе. «Ведьмин столб» на месте, только калитка открыта. А машин нет.

— Каких машин?

— Твоих. На которых газанули наши сердечники.

— Все?

— Не знаю. Может, кто и остался. Спросить не у кого.

Только сейчас дошел до Стона зловеющий смысл происшедшего. Четыре чемодана алмазов. Десятки и сотни миллионов, может быть даже больше. Контрольный пакет акций. Бриллиантовая монополия в строю нефтяных и военно-промышленных. Имя Стон, звучащее, как Ротшильд. Золотые строки в сборниках «Кто есть кто». И все пропало... Чепуха! Не могут бесследно исчезнуть сокровища, пусть даже втиснутые в обыкновенные чемоданы. Леймонт не Чикаго. Найти четырех любителей кладов не составит труда. Стон сдержался, разжал пальцы, вцепившиеся в край стола, и только хрипло — единственный оставшийся след перенесенного шока — спросил:

— Подробнее. Как и когда это произошло? Что предпринято?

— У столба уже пост. Нас ждут. Поехали. — Из Спинелли трудно было сразу все выжать.

Садясь в машину, Стон сказал:

— У тебя дрожат руки. Справишься?

— Не от пьянки. Сойдет.

— Как могло это случиться? У них же не было оружия.

— А мы обыскивали?

— Кто мог заподозрить учительницу и физика?

— Они и не стреляли. Стрелял один человек.

— Гвоздь?

— Может, поляк. Психованный парень.

— Вот мы и просчитались, Джакомо.

— Не уйдут.

Больше они не разговаривали до прибытия на место. Три скорченных трупа лежали в песке у обочины бетонной ленты. Вокруг топтались сыщики в штатском во главе с Петерсеном — начальником окружной леймонтской

полиции. Спинелли, ни с кем не здороваясь, молча подошел к убитым, перевернул одного из них навзничь и почему-то потрепал по запекшимся в крови волосам.

— Лучший из моих ребяташек, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Красс. Смешное имя, правда?

— Красс был известным римским полководцем, — сказал Стон.

— Не тот, — откликнулся всерьез Спинелли, — этому в годы войны было одиннадцать, не больше.

Стон не стал отвечать. Он подошел к Петерсену.

— Профессиональная работа, — сказал тот, кивнув на убитых. — Автоматический кольт военного образца. Тем легче его найти.

— Вы уверены, что найдете?

— Непременно. Профессионала найти легче, чем любителя. На хуторах не скроешься, да их и прочесать можно. Остаются Леймонт, Пембертон и Сан-Крузье. Леймонт крупнее, с богатым и нищим подпольем, и потому, вернее всего, он заляжет именно тут. Все гостиницы, бильярдные, кафе и бары уже под зонтиком — возьмут, как только появится. Да и следы одной из машин определяют леймонтское направление.

— Какой машины?

— «Форда». «Мерседес» увели в противоположную сторону. Мы уже нашли его в заброшенном мотеле.

— «Форд»? — повторил Стон. — У этой машины старенький кузов и мотор с гоночной. Лишь профессионал мог предпочесть его «мерседесу»: стоило только открыть капот.

— Мексиканец? — спросил Петерсен.

— Он такой же мексиканец, как я француз. Говорит на пяти языках, и все родные.

— Я знал одного мексиканца. Опасный тип, — сказал подошедший Спинелли.

Стону хотелось выругаться, но он сдержался. Только сказал сквозь зубы:

— Ты же его курировал.

— Я о другом. А с этим просчитались мы оба. Тебе важно было, где его сердце, а я размяк. Доверился. А никому у нас верить нельзя. Никому.

«Запоздалые сетования, — подумал Стон. — Да и так ли уж они искренни? Прежде всего не верить следует

самому Спинелли. Не он ли и устроил весь этот снектакль? А вот физику лично он, Яков Стон, например, верит. И учительнице верит. Да и скрылись они, наверное, только из боязни оказаться в роли соучастников преступления. Интересно, что они сделали с чемоданами? Ведь при первой же попытке продать хотя бы один-единственный камешек тут же замкнулись наручники. Кроссворд. Суший кроссворд».

Домой Стон не поехал. Отправились закусить к Тони в «Аполло». Из ближайшей телефонной будки Спинелли позвонил к бармену и потребовал закрыть бар. Он не любил деловых разговоров при посторонних, при публике. А это был его бар, где он командовал, не стесняя себя порядками.

Тони встретил их за стойкой бара с радужными этикетками на пузатых и долговязых бутылках. На электрической плите поджаривались бифштексы. Тони знал вкусы хозяина.

От бифштексов Стон отказался, зато Спинелли потребовал два.

— Мне будут звонить сюда, землячок,— предупредил он бармена,— так вот во время разговоров выйди в подсобку и не подслушивай.

Звонили два раза. В первый раз Джакомо доложили о положении в округе.

— Ни в Леймонте, ни в Пембертоне, ни в одном из ювелирных магазинов никто не пытался продать бриллианты. Оптовые скупщики тоже молчат. Из Сан-Круа-зье пока сигналов нет.

Второй звонок сообщил о пропавшем «форде».

— Искомый «форд» с леймонтским номером «Д 77-90» был обнаружен час назад у аптеки на улице Желтых Роз. Водитель сразу же обнаружил слежку, и в переулках близ площади Кальвина ему удалось уйти. Почему он стоял у аптеки — неизвестно. Аптекарь уверяет, что в это время посетителей не было. Поиски продолжаются.

«А зря его Плучек недооценивает,— подумал Стон о перемалывающем бифштексы Спинелли.— В городе Джакомо незаменим. Подонок должен знать дно в совершенстве, а в придонных водах Леймонта едва ли найдется хищник зубастее».

Стон ошибался и понял это некоторое время спустя.

Он уже допивал свой кофе, как запертую дверь бара кто-то легко и бесшумно открыл снаружи. На пороге возник Гвоздь с автоматом военного образца. Палец правой руки лежал на спусковом крючке. Чемодана с ним не было.

— Тихо,— сказал Гвоздь, не спускаясь в подвальчик.— Руки на затылок. Стон — направо, Спинелли — налево. Отодвиньтесь. А ты, молчун,— кивнул он застывшему Тони,— лезь под стойку и не выглядывай, что бы тут ни случилось.

Не оглядываясь, он снова закрыл дверь, спустился и сел в стороне, держа под прицелом столик с гостями и стойку бара.

— Оставьте глупости, Гвоздь,— проговорил Стон как можно спокойнее.— Охотно признаю, что ошибся в расчете. Вы стоите дороже, чем пять тысяч кредиток. Мно-го дороже. Но ведь мы можем договориться.

— Можем,— согласился Гвоздь, не опуская автомата,— только потом. Пока сидите и не двигайтесь. А сейчас мне нужен Джакомо. У меня с ним старые счета.

Теперь Стон смотрел на Спинелли. Глаза у того округлились.

Страха в них не было — только удивление. Он явно не понимал налетчика.

— Какие у нас с тобой счета, Гвоздь, кроме уговора по найму,— вымолвил он, проглатывая кусок бифштекса, застрявший в горле. Рук с затылка он не снял — понимал, что парень с автоматом такой же профессионал, как и его «парнишки». — Я тебя только вторично вижу. Первый раз, когда договаривались, второй — сейчас. До того не встречались ни разу. Ей-богу, не помню.

— А я напомним,— сказал Гвоздь без улыбки. Стон обратил внимание на его запавшие щеки и тонкие сжатые губы — с таким лицом не шутят и не разыгрывают, и разговор пойдет, видимо, на грани расправы.— Напомню,— повторил Гвоздь.— Сколько ты взял за товар, который мы семь лет назад увели с витрин Тардье?

— С кем?

— С Гориллой и Кэпом. Два миллиона моих ты взял плюс их доля. Итого три. Да еще проценты за семь лет добавить придется. Подсчитываешь?

Стон не мог отвести глаз от Спинелли — так меня-

лось его лицо во время этой холодной тирады. Губы посерели, как припорошенные пылью, а локти прижатых к затылку рук мелко вздрагивали.

— Термигло...— прошептал он.— Не может быть.

«СОН» В РУКУ.

ХУАН ТЕРМИГЛО, ОН ЖЕ ПЕДРО МОНТЕЦ

Коридор я нашел сразу. Опять же дымок или облачко, а в облачке дырка, чтобы сразу нырнуть. Ну, а прежде чем нырнуть, оглянулся. Смехота! Физик с девчонкой алмазами мертвяка засыпают — могилку делают. А чемоданы забросили; должно быть, решили без них возвращаться. Плакали их десять тысконок. Дурачье!

Я-то своих тысконок не потерял. А если то, что задумал, выйдет, не тысчонками прибыль пахнет. Дело по-крупнее будет, чем афера Спинелли у Франциска Тардые в его ювелирной лавочке. А с Джакомо, само собой, расчитаемся. Может быть, и выйдет «сон» в руку.

Коридор я прошел рысцой легче легкого — ни боли, ни онемения. А у самого выхода, когда сквозь дымок уже «ведьмин столб» прорезался, я рысцу сдержал, лег на брюхо и одним глазом снизу, чтобы снаружи не сразу заметили, из дымка выглянул. Смотрю: прямо против столба стоит старенький «форд», на котором я во сне газанул, а чуть впереди — «мерседес». Багажник у «мерседеса» открыт, и возле него, как за столиком, Красс и Чинк угощаются виски с земляными орешками. А водитель машины, незнакомый «парнишка», спустил ноги в открытую дверцу и тянет пиво из банки. Должно быть, взглянуть со стороны на мою голову, торчащую будто из-под земли у столба, было бы очень забавно, только ее никто не увидел, а я даром времени не терял.

Вскочил, вынул из подмышки мой кольт калибра девять и три десятых, шагнул на свет божий и первой же короткой очередью, почти не целясь, срезал Красса и Чинка. Вторая досталась водителю, зачем-то пытавшемуся закрыть дверцу машины. После этого с «мерседесом» возиться не стал, а выбрал «форд», точь-в-точь как во «сне» — дай бог, чтобы он оказался пророческим.

Только это был старый работяга «форд», без разговаривающего самоуправления, но с хорошим гоночным мотором, с которым можно было дать фору хоть полдюжине «мерседесов».

Я решил внести поправку в свое чудесное «сновидение» и отложил встречу со Стоном и Джакомо. Они подождут. Сначала раскладка карт и техника их замены, как учил меня старый шулер Мортимер. Для этого мне нужен был Коффи, левая рука Джакомо Спинелли. Правой был Красс, исполнитель особых тайных и деликатных поручений. А левая, в лице Коффи, крепко держала в кулаке всю армию «парнишек», барменов, рестораторов и крупье. Были еще Мартенс и Звездич для деловых связей и мелкого бизнеса. Но первым в очереди был Коффи.

Чемодан с камешками я оставил в сейфе одного из банковских филиалов Плучека — полицейские ищетки даже с благословения Джакомо Спинелли не перешагнут барьер тайны вкладов, а сам проследовал на второй этаж бара «Олимпик», обегая зал золоченой подковой. Здесь в половине второго изо дня в день за крайним столиком слева обедал старый Филиппо Коффи, за исключением тех случаев, когда приступ подагры укладывал его на несколько дней в постель. Мне повезло: за тем же столиком сидел почти не постаревший за семь лет человек с седыми маршальскими усами, похожий на отставного полковника в штатском. Впрочем, в моей когда-то армии он теперь стал генералом. Не обратив на меня никакого внимания, он терпеливо дожевывал переваренную котлетку — застарелая язва желудка, — время от времени запивая съеденное глотком прямо из пузатой бутылки виши.

Не спрашивая разрешения, я подсел к нему и начал без предисловий:

— Давненько не виделись, Фил.

— Возможно, — согласился он, нимало не удивившись, — а как давно это было?

— Семь лет назад, Фил. Генералы даже в маршальском звании никогда не забывают тех, кто когда-то отдавал им приказы.

Коффи посмотрел на меня, пристально так посмотрел и сказал задумчиво:

— Одного я помню. Мир его праху.

Я улыбнулся:

— Ты, наверное, вспомнил и газетную заметку годичной давности об автомобильной катастрофе в итальянских Альпах, в которой погиб некий Хуан Термигло, предмет безуспешных поисков международной полиции. Погибшего удалось опознать только по водительским правам и счетам фирмы Кристиан Диор на имя Хуана Термигло по его местожительству в Марселе, Франция.

— А потом он воскрес в новом облике? — усмехнулся Коффи.

— Пластическая операция в Брюсселе, сделанная руками великого косметолога Пфердмана, — сказал я.

— И под другим именем?

— Конечно. Сначала, в период первоначального накопления, человеком без определенных занятий по кличке Гвоздь, а теперь, когда накопление закончилось, богатым негодьянгом из Мехико по имени Педро Монтец.

Коффи дожевывал котлетку, прополоскал горло глотком виши и спросил, не торопясь:

— Ну и что же от меня хочет богатый негодьянгом Педро Монтец?

— Для начала один вопрос. Как поступил бы Филиппо Коффи, если бы главой его организации вместо Джакомо Спинелли стал Педро Монтец?

Я посмотрел: хитрюга Коффи даже не удивился. Только глаза выдали: заинтересован.

— Разговор, надеюсь, серьезный? — только спросил он.

А я в ответ:

— Мы все дела делали серьезно, старый дружище.

И он серьезно:

— Тогда я говорю: пас.

— Это почему? — спрашиваю я.

— Подожду, пока сыграют основные партнеры, у них и раскладка покрупнее. А кроме того, есть еще двое.

— Кто?

— Красс и Звездич.

Я, конечно, отмахиваюсь: Звездич не помеха, с ним поладим, а Красс уже в райских кущах. Объясняю, мол, что лежит застреленный у «ведьмина столба» на Леймонтском шоссе.

— Из пистолета-автомата системы «Кольт», калибр девять и три десятых? — спрашивает старик, даже не улыбнувшись — только в глазах смех.

— Петерсену бы твою память, Фил, — говорю я.

— Моя меня тоже не обременяет, — говорит, — я и Кэпа с Гориллой помню, и последовавший затем дворцовый переворот. Только новый переворот должен быть проведен в рамках строгой законности. Времена другие, сынок. Прежде чем последовать за Крассом, Джакомо придется оставить завещание, засвидетельствованное двумя не запятнанными ничем гражданами Леймонта и передающее все его капиталы и хозяйство троим преемникам. Не кривись, милый, — троим. Двух ты знаешь. Это господа Педро Монтец и Яков Стоп, компаньон Джакомо по делам бриллиантовой монополии, а третий — ваш покорный слуга Филиппо Коффи. Устраивает?

Наверняка играет старик. Без проигрыша. Ну, а мне выбирать не приходится. Пожимаю плечами.

— Допустим, — соглашаюсь я без особого удовольствия, но он еще не кончил.

— Имеются и другие, — говорит он, — они могут, но не должны помешать. Интересуешься кто? Прежде всего банкир Плучек, член совета директоров бриллиантовой монополии. Имеют значение также генеральный прокурор Флаймер и начальник полиции Петерсен.

Я подумал немножко, посчитал: все равно останется больше, чем уплатим, — и предложил такой вариант:

— С Плучеком сторгуется Стоп, а ты займись Петерсеном и Флаймером. Петерсен на жалованье у Джакомо, а Флаймер, говорят, берет крупно через подставных лиц. Тебе лучше знать, как и через кого. Кстати, пусть Петерсен прекратит поиски желтого «форда» с номером «Д 77-90».

Коффи щурится, думает, долго вытирая бумажной салфеткой губы.

— Сейчас без десяти три, — говорит он, не отвечая прямо. — По моим сведениям, в это время Спинелли можно найти у Тони в баре «Аполло».

— Тогда читай утренние газеты, Фил, — заключаю я и держу путь к площади Кальвина.

У аптеки на улице Желтых Роз останавливаюсь, но

захожу не в аптеку, а в писчебумажный магазин напротив, где покупаю лист гербовой бумаги для деловых документов. Все как полагается. Тут же замечаю «хвост», отрываюсь от него в проходном дворе одного из примыкающих к площади переулков и выезжаю прямо к «Аполло». Бар закрыт, но это меня не смущает: я знаю привычки Джакомо. Открываю дверь одним из десяти известных мне способов и вхожу с автоматом наизготовку.

В баре полутемно. Стон с Джакомо тихо беседуют, Тони дремлет за электроплитой у стойки. Далее все идет, как в моем пророческом «сне». Я командую, они повинуются, и начинается разговор. Он не совсем тот, что во «сне», но похожий. Стон делает намек на возможность мирных переговоров. Джакомо трусливо шепчет: «Термигло... Не может быть!» Руки его дрожат.

Я достаю из кармана гербовый лист и говорю:

— Меня ты знаешь, Джакомо, слов зря не бросаю. Хочешь жить — подпиши на этом листе внизу свои полностью имя и фамилию, а господин Стон и Тони распишутся как свидетели. Тони, бери перо и выползай из-под стойки.

— Зачем? — еле выдавливаю из себя Спинелли.

— А над подписью я впишу обязательство о том, сколько ты мне должен и когда собираешься расплатиться.

Джакомо смотрит на гипнотизирующее его дуло кольта, потом на лист гербовой бумаги на столе и дрожащей рукой выводит свою подпись. Тут же расписываются Стон и Тони. А я слежу за ними, готовый к ментальной реакции, если кто-нибудь схватится за оружие.

Но все сходит благополучно. Я беру подписанный лист, складываю и опускаю его левой рукой в карман. Правая по-прежнему опирается с автоматом на стол. Потом делаю знак Тони, чтобы отошел обратно за стойку, усмехаюсь и говорю:

— Отодвиньтесь-ка подальше, Стон. Вот так.

Я один лицом к лицу с Джакомо Спинелли. Почти все, как во «сне». «Сон» в руку. Мне очень хочется сказать Джакомо, что я обманул его, обман, так сказать, за обман. Словом, квиты. Но язык что-то не поворачивается, и я молча нажимаю на спусковой крючок.

НЕПОДСЛУШАННЫЕ РАЗГОВОРЫ. РАЗНЫЕ ЛИЦА

Бар «Аполло». Еще день.

— Вам, Стон, это не грозит. Можете опустить руки. Не бойтесь.

— Я и не боюсь. Просто интересуюсь.

— Чем?

— Что дальше?

— Дальше мы выйдем и продолжим разговор где-нибудь в другом месте.

— А если я позову полицию?

— Не позовете.

— Вы так уверены?

— Абсолютно. Разговор у нас будет долгий и выгодный для обоих.

— А что с убитым?

— Тони вызовет полицию и сообщит о налете вооруженных людей, помешавших обеду его хозяина. Пусть придумает неизвестных в темных очках или черных масках.

— А если он скажет правду?

— Зачем? Он не болтун и хочет жить, как и мы с вами.

По телефону:

— Это я, господин Коффи.

— В чем дело?

— Только что убили хозяина. Здесь в баре.

— Кто?

— Вооруженные люди. Я их не знаю.

— Кто-нибудь видел это, кроме тебя?

— Никто. Бар закрыт.

— Вызови полицейских и сообщи это им.

По телефону:

— Где Звездич?

— Играет в покер в голубой комнате.

— Позови.

— Звездич слушает.

— Скажи им, чтоб не шумели, или лучше прихлопни дверь наглухо.

— Что случилось?

— Красс убит.
 — Слышал. Никак не могу найти Джакомо.
 — Хозяин тоже убит.
 Молчание.
 — Ты что, жив?
 — Я-то жив.
 — И я жив. Так вот — живым живое. Все остается по-прежнему. Указания будешь получать от меня.
 — А как с камешками?
 — Как и раньше. Подбирай понемногу обдирщиков, огранщиков, сортировщиков, ювелиров. Расширяй предприятие и рынки сбыта. Тут Стон хозяин, с ним и толкуй.

Офис в „Бизнес-центре“. Тот же день

— Зачем вам понадобился лист с нашими подписями?

— А текстуру мы с вами впишем. Предположим для начала, что Спинелли в последние дни ходил сам не свой, а потом признался, что боится мести своих дружков из Сицилии. На случай несчастья, мол, оставляет завещание, по которому все его хозяйство переходит к его преемникам. Их трое: я, вы и Коффи. Все банковские вклады, текущие счета и недвижимое имущество распределяется между нами тремя. Место в совете директоров вашей бриллиантовой монополии занимаю я. Я же возглавляю и личный бизнес Спинелли.

— Думаете, это пройдет без боли?

— Я же тут и хирург. А потом, я уже возглавлял это дело семь лет назад.

— Вы не учли кое-что. Есть еще человек.

— Знаю. Оскар Плучек, член совета директоров вашей монополии.

— Монополия — это слишком общо. Создается акционерное общество с охватом всего мирового рынка. По предварительным условиям только четверть контрольного пакета акций полагалась Спинелли.

— А мы изменим эти условия. По меньшей мере я претендую на треть. И законно. Сейчас я лично вынес с россыпи более сорока килограммов камней, из них половина в несколько сот каратов... А попадают и крупнее. Вы же специалист. Слышали небось о «Куллиане»,

который когда-то нашли в Претории? Три с лишним тысячи каратов. Есть и такие. Шуточки, а?

— Вы правы. С Плучеком уладим. А где еще чемоданы?

— Остались в дырке. Нидзевецкий умер. Пережил то же, что и вы, только сердце не выдержало. Физик с дамочкой вышли, но без камешков. Может, взяли по горсточке. Не знаю.

— Ни один камень не может быть продан без нашего ведома.

— Ладно, погляжу. А ребят не трогайте. Я уже дал команду прекратить розыск. С Петерсеном договорятся. Он по уши у нас в долгу, ваш верный Петерсен.

По телефону:

— Петерсен слушает.

— Говорит Коффи. Что нашли?

— Три пули из автомата системы «Кольт», калибр девять и три десятых.

— Не много.

— Налетчиков было трое, в темных очках и черных платках под носом.

— Это и я могу надеть очки и повязать платок под носом. Не клонет рыбка.

— Нашли еще «форд» от «ведьмина столба» с номером «Д 77-90».

— Чья машина?

— Стона.

— Вот и верни ее хозяину.

— А розыск?

— Прекрати немедленно. Джакомо Спинелли оставил завещание, в котором говорит, что его преследуют бывшие дружки из Палермо. Красс и Чинк — тоже их работа. А Джакомо — сицилианец. Понял? Все ясней ясного. И убийцы уже за границей, благо лёту до Сицилии часа полтора, не больше. Словом, пищи для газетчиков хватит.

— А кто же будет вместо Джакомо?

— Его шурин из Мексики, Педро Монтец.

— Он же никого здесь не знает.

— Он все знает, даже номер твоего текущего счета у Плучека в банке. Ты что кашляешь?

— Поперхнулся. Завещание, между прочим, могут опротестовать.

— Кто?

— Флаймер.

— Примем меры.

Бар „Олимпик“. Вечер

— Садись, Инесса. Угощаю.

— Разоришься.

— Коффи еще подбросит. Ты что так дышишь?

— Попляши шесть-семь раз за вечер. Свалишься.

— Толстеешь, девочка.

— Не твоя забота. Что нового?

— Много нового. Джакомо Спинелли приказал долго жить.

— Ну да? А кто командует?

— Преемники по завещанию. Один из Мексики, другой наш, Коффи.

— Завещание подтверждено?

— Конечно. Только если Флаймер не взбесится. Поможешь?

— Десять процентов.

— С чего?

— С завещания.

— Глотай, да не заглатывай. Там до двадцати миллионов в английских фунтах.

— На полмиллиона поладим?

— Вот это другой разговор.

По телефону:

— Я вас не разбудил, Плучек?

— Разбудили, но я не в претензии. Видимо, дело важное.

— Ваш телефон не прослушивается?

— Кем?

— Конкурентами.

— Пока конкурентов прослушиваю я. Говорите.

— Есть новости.

— О дворцовом перевороте в королевстве Спинелли и о его завещании? Знаю.

— Интересно, от кого? Не секрет?

— Конечно, секрет. У меня свои источники информа-

ции. Я даже знаю, о чем вы хотите меня спросить. Спешу обрадовать. Как только завещание будет подтверждено юридически, банковские вклады Спинелли будут распределены между его преемниками. Кстати, откуда этот Монтец?

— Из Мексики.

— Почему именно он?

— Что-то связывало его с Джакомо.

— Ну, вам виднее. А что получу я?

— Монтец лично вынес товар. Это не просто богатство. Это сокровища, не имеющие цены.

— Все в мире имеет цену.

— А сколько может взять папа за роспись Сикстинской капеллы в Риме? Что стоит все лучшее в мировой живописи от Рафаэля до Гойи? Сколько вы заплатите за все бриллианты, которые известны по именам с большой буквы? А у нас таких бриллиантов сотни. Одна только выставка их соберет нам миллионы.

— Замолчите, Стоп, а то я не засну.

Закусочная „Луковая подливка“. Два дня спустя

— Ну вот я и нашел тебя, физик. Второй день торчу в этой дыре, благо она против твоего института. Непременно, думаю, забежит.

— Гвоздь? Зачем?

— Гвоздем я был, когда меня забивали. Теперь сам забиваю. А зачем, спрашиваешь? Не за тобой, не бойся. Тебя уже не ищут, дело прекращено.

— Тогда почему?

— Потому. Много камней вынес?

— Мы оба чемодана там бросили.

— Знаю. А в карманах?

— У Этты штук пять, да и у меня горсточка.

— Крупные?

— С лесной орех.

— Где хранишь?

— В кошельке. Вот. Все, что осталось.

— Осталось? Продал все-таки?

— Что вы! Разве их можно продать?

— А почему нет?

— Может быть, они живые.

— Что значит «живые»?

— Как всякое живое существо. Как птица, например.
— Птиц тоже продают. Особенно певчих.
— Вам не понять. Это не просто кристаллы с определенным расположением атомов. Это молекулы живой материи. Частицы особой, еще неизвестной жизни.

— Псих ты, физик, законченный, хоть и сердце у тебя справа. А где остальные камни?

— Я приложил их к письму на имя профессора Вернера.

— Кто это Вернер?

— Когда-то крупный специалист в кристаллохимии. Лучше него, пожалуй, никто не разберется в этой загадке. Проследить изменения кристаллической структуры вещества камня, определить признаки жизни, сущей или уже угасшей. Мне это не по силам.

— А кто от этого выиграет?

— Наука. Сокровищница человеческого знания.

— Что ж, это можно. Цены от этого не упадут. Жемчуг, говорят, тоже бывает живой и мертвый. Живой, когда его носят, мертвый, когда в футляре лежит, тускнеет. Узнаешь что — доложи. В любом баре спроси — мигом ко мне доставят.

ЕЩЕ «СОН» В РУКУ. БЕРНИ ЯНГ

Профессор Вернер никого не принимал. Дверь его лаборатории была всегда на запоре. На стук не открывалась, да и никто не стучал. К нему ходили только по вызову, но меня он не вызывал. Никогда. Телефона у него не было — только прямой провод, соединяющий его с директором института. Единственный человек, входящий сюда в любое время без вызова, был глухонемой Штарке, старик вахтер, принятый в институт по настоянию Вернера. Говорят, они вместе пережили заключение в гитлеровском концлагере в Штудгофе, где Штарке и лишился слуха и голоса.

Помощью Штарке я и воспользовался, чтобы связаться с Вернером. Показал глухонемому кредитки и объяснил, что и как передать. Он кивнул. Я вложил в конверт с

письмом три самых крупных алмаза, заклеил его и бережно устроил на подносе рядом с завтраком, который Штарке нес в лабораторию Вернера. От двери у него был свой запасной ключ.

В письме я писал:

«Я лишен возможности встретиться с вами лично, господин профессор, и потому прибегаю к письму. Прочтите его хотя бы из любопытства. Для себя я у вас ничего не прошу и обращаюсь к вам исключительно в интересах науки. Я полный профан в науке о кристаллах, но знаю, что вы когда-то занимались кристаллофизикой и кристаллохимией и бросили их потому, что они якобы исчерпали себя и не дают возможности для смелых и оригинальных решений. Но именно эту возможность и предоставляют вам три вложенных в конверт алмаза. Они интересны не тем, что крупны и, как вы сами понимаете, очень дорого стоят. Они откроют вам кое-что новое, скажем, в кристаллооптике, если вы проследите распространение света в их кристаллах. Они не отражают и не преломляют света, они сами источают его. Оставьте их в закрытом от света сосуде, и они засветятся, как светлячки. Я лично не могу понять, откуда идет свечение, но источник его вас, несомненно, заинтересует. Обратите внимание и на то, что они чуть теплее обыкновенного камня, словно только что нагреты солнцем и сохраняют в себе солнечное тепло. А может быть, и источник тепла, как и источник света, в них самих и ставит перед исследователем оригинальнейшую загадку? Перед вами обычные мертвые камни, как будто действительно мертвые. Но исследуйте их кристаллическую структуру, проверьте, действительно ли наблюдается в ней правильное периодическое расположение атомов или других частиц. Повторяется ли это расположение бесчисленное количество раз, как в обыкновенных кристаллах, или, быть может, окажется индивидуальной позиция каждого атома? Может быть, все, что я говорю, сущая чепуха, результат невежества, незнания предмета, но что, если мы имеем дело не с

мертвым кристаллом, а с живой биомолекулой, частицей какой-то особой высокоорганизованной жизни? Я рассчитываю не только на ваши знания, но и на свойства вашего ума, на феномен внезапного озарения, интуиции, импровизации, которыми вы всегда блистали в решениях поставленных перед вами проблем.

Если вы подтвердите мои догадки, я сообщу вам еще об одном открытии, которое уже сделано и подтвердить которое не составит труда.

Физик-лаборант института Берни Янг.

Прошло три дня. Я ждал и подсчитывал все варианты ответа. То, что камни вместе с письмом не были сразу же возвращены мне на том же подносе, говорило о том, что письмо Вернера заинтересовало. Три дня неизвестности также говорили о многом. При технических возможностях нашего института все исследования, вплоть до структурного анализа с помощью жесткого рентгеноизлучения, потребовали бы часы, а не дни. Вероятно, действует старый, но верный метод проб и ошибок. Что принесет он? Величайшее научное открытие или еще один вариант квадратуры круга?

На четвертый день — помню, это было воскресенье, и я забежал в институт только для того, чтобы захватить забытый накануне галстук, который я обычно снимаю во время работы, — я нашел на столе записку:

*Непрерывно зайдите ко мне, если будете в институте.
Входите без стука: дверь открыта.*

В записке не было ни подписи, ни даты, но инстинкт подсказал мне, что именно в воскресенье и нужно прийти. Это было совсем в духе Вернера. Он никогда не отдыхал.

Встретил он меня, как и во «сне», под портретом молодого Резерфорда. Я с ужасом ждал, что портрет заговорит. Но портрет безмолвствовал. Заговорил Вернер.

— Вы работаете у нас в институте? Странно, но я вас не замечал.

— Вы многих не замечаете, профессор.

— Какая у вас тема?

— У меня нет своей темы, профессор. Я работаю в группе Боннэ.

— Как же к вам попали эти камни?

— Об этом долго рассказывать, профессор, и, вероятно, разговор будет не менее интересен, чем разговор о самих камнях. Но мне нужно, чтобы вы прежде всего ответили на мой вопрос. Они... живые, эти бриллианты?

Вернер разжал руку, и камешки засверкали у него на ладони. Ни один ювелир не ошибся бы в подлинности их блеска.

— Это не бриллианты, хотя по чистоте, прозрачности и блеску они, вероятно, не менее драгоценны. Это не ограненные природой алмазы, не чистый кристаллический углерод и не его природные соединения. Это совсем другой минерал, которого в таблице Менделеева нет.

— Значит, все-таки минерал, мертвый, неорганический камень?

Вернер долго молчал, прежде чем ответить.

— Камень? Да, — наконец сказал он. — Но неорганический ли, не знаю. Боюсь, что мы столкнулись здесь со своеобразным элементом кристаллоорганики. Я не знаю, как вы догадались об этом, но периодичности в расположении атомов в их кристаллической решетке нет. Почему вы спросили в письме о живой молекуле? Вычитали у Шредингера?

— Нинет... — промямлил я. — Чисто интуитивно.

— Похвальная интуиция. Еще на заре развития молекулярной биологии биомакромолекулу определяли как аперiodический кристалл.

— Значит, все-таки эти структуры живые?

— Во всяком случае, органические. Кое-что особенно поражает. В каждом микросрезе обнаруживаешь частицы, как бы «зародыши», обуславливающие смыкание атомов в нестабильном порядке. И потом свет! Откуда он? Прозрачная кристаллическая поверхность не столько отражает или преломляет свет, сколько сама излучает его, каждая частица ее становится источником света, неизвестно как и почему возникающего. Крупные образования таких кристаллов по силе света могли бы соперничать с солнцем.

— Я видел такие образования, — сказал я.

Вернер посмотрел на меня, как смотрят люди, впер-

вые сообразившие, что их собеседник внезапно сошел с ума.

— Я не помешанный и не мистификатор,— прибавил я с горечью.— Если хотите, послушайте.

Я рассказал ему все, что произошло, начиная с исчезновения людей на Леймонтском шоссе. Он слушал не перебивая, только два пальца загнул на левой руке.

— Почему вы загибаете пальцы?— спросил я, закончив рассказ.

— Потому что это — история двух открытий. Сейчас поясню. Первое — математически легко допустимое, но физически необъяснимое образование пространственного мешка, выходящего за пределы нашего трехмерного мира. Открытие эйнштейновского масштаба, быть может даже крупнее. Второе — разумная кристаллическая жизнь в этом мешке. Согласитесь, открытие тоже гигантское. Но первое бесспорно, потому что его можно проверить, а второе сомнительно: хотя следы жизни и подтверждаются, однако следы разума пока еще недоказуемы. Может быть, это только органическая структура, подобная коралловым зарослям.

— Но возможную в течение сотен тысяч или даже миллионов лет эволюцию кристаллоорганики вы все-таки допускаете?

— Почему же нет?— ответил Вернер.— Органическое вещество в кристаллическом состоянии могло быть образовано в результате взрыва при сочетании каких-то физических компонентов. Эволюция этого вещества также могла привести к образованию кристаллических агрегатов сложнейшего состава и строения. Но где следы их разума и целенаправленной деятельности?

— А связь с нашим пространством, явно продиктованная чьей-то разумной волей?

— А почему не случайным капризом природы? Много в природе случайно и не объясняет причинности. Что определяет пути циклонов или продолжительность жизни элементарных частиц? Чья воля пробуждает вулканы или распределяет по миру эпицентры землетрясений? Отцы церкви скажут: боженька. А вы?

— Мне трудно спорить,— отмахнулся я,— не та научная подготовка. Но почему-то мне кажется, что наше появление в кристаллическом мире было заранее подго-

товлено. Проход и коридор — не постоянно действующие явления. Они то исчезают, то опять появляются. Почему, например, исчез выход из кокона, как только мы там появились, и почему вдруг открылся он, как только исследование нашей психики было закончено?

Вернер насторожился.

— Что вы считаете исследованием вашей психики?

— «Сны». Каждый отражал психическое состояние в объеме сознания и подсознания. Извлекалось самое близкое, так сказать, лежавшее на поверхности, какое-то сокровенное подсознательное стремление и набор сознательных впечатлений последних дней или даже часов. Пять различных форм испытания.

— Почему пять? Вас же было только четверо.

— А Стон? Он сам рассказывал, как прокрутили его жизнь за какие-нибудь четверть часа. Полголовы его поседело. А у Нидзевецкого сердце не выдержало — снова пережить фашистскую мясорубку под Монтекассино! Ведь «сны» эти были сплошной реальностью, хотя и с сюрреалистической сумасшедшинкой.

Я тут же рассказал, как Вернер у меня беседовал с портретом Резерфорда. Вернер впервые улыбнулся с начала нашего разговора.

— Я и теперь с ним беседую. Вошло в привычку — стариковские мысли вслух. Интересно только, как это стало добычей вашего подсознания?— Он задумался и вдруг сказал:— Может быть, вы и правы. Наведенные галлюцинации или, вернее, запрограммированное извне творчество вашего мозга, причем монтажно оформленное, как в кино. Лично я не верю в столь высокоорганизованный разум вашей кристаллоорганики. Но представить себе это можно. Гипотетически. Разумная жизнь — это высокоупорядоченная материальная структура, способная обмениваться с окружающей средой информацией и энергией. Как будто бы это и наличествовало во встрече с вами. Но что этот разум, качественно иной структуры, чем наш, мог извлечь из вашей информации о человеке и человечестве? Состоялся ли, как теперь принято говорить, желанный контакт?

Выстрел Вернера попал в цель. Именно об этом я думал и передумывал, именно это и волновало меня, угнетало и мучило.

— Будь проклят этот контакт! — почти закричал я. — Если он и состоялся, то во что выродился? В мошенническую авантюру дельцов, жуликов и убийц. В торговую монополию Стона, Спинелли и Плучека. Сейчас одного убили, так его место занял другой. В Леймонте уже работает крупнейшая в мире фабрика по огранке и шлифовке алмазов. На европейские рынки уже выброшены сотни тысяч драгоценных камней, почти вдвое снизивших прежние цены. И снижение, обратите внимание, пока безубыточно. «Контакт»! Еще тонны бриллиантов, может быть даже крупных, как сахарные головы. Новый Клондайк в четвертом измерении. Вы говорите: открытие эйнштейновского масштаба! Так пусть попробует вмешаться наука. Интересно, как? Симпозиумы, конгрессы, призывы к совести продажных мошенников? Ведь вход-то в кристаллический мешок не в социалистической стране, а в нашем свободном капиталистическом мире! На территории частного, да-да, частного землевладения! И ни один наш суд не позволит нарушить священное право частной собственности. Тут уж ничто не поможет — ни академии наук, ни парламенты, ни ЮНЕСКО. Только выкупить вход у Стона, а если он его не продаст? Судить Стона, а за что? Мой дом — моя крепость, мой сундук, на нем и сижу. Даже вмешательство правительства, если оно рискнет конфисковать частное землевладение, ни к чему не приведет, кроме государственной монополии на алмазные россыпи. Такая же торговлишка, только другие купцы — вот вам и результат встречи двух разумов! Да еще неизвестно, признает ли наша наука за одним из них право на разум?

Вернер опять ни разу не перебил меня, пока не погас полыхавший во мне костер. Тогда он сказал тихо, но побудительно:

— Я человек науки и могу подходить к этому лишь в интересах науки. Сейчас послеполуденные часы — можно ли наблюдать вход в это время?

— Можно проверить.

— Тогда идем.

И, сбросив халат, тощий, щуплый, в очках, побежал, странно выворачивая ноги, как балерина в первой позиции. Я знал: Вернеру ломали кости в Штудгофе, и ему предстояло ковылять так до конца жизни. Но когда он

влез на водительское место в своем «фольксвагене», я все-таки спросил:

— Сами водите?

— Сам. Руки они пощадили. Вероятно, рассчитывали, что еще пригодятся.

Ехал он медленно, со старческой осторожностью, не вызывая пристального внимания регулировщиков. Через полчаса мы были уже на месте. Кладбищенская ограда вокруг столба была не замкнута, калитка настежь так и осталась после нашего путешествия в Неведомое. И только самый столб от имени заботливых леймонтских ведьм по-прежнему пророчески предупреждал:

**НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ОПАСНОСТИ
ИМЕННО ЗДЕСЬ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ**

СЕЗАМ ЗАКРЫВАЕТСЯ. БЕРНИ ЯНГ

— Стоп, — сказал я Вернеру, — вылезаем. Видите этот прозрачный дымок у столба?

Вернер недоуменно покачал головой:

— Ничего не вижу. Выжженная трава да пыль.

— А вы присмотритесь внимательнее. Прищурьтесь при этом. Вон, у самого подножия, где еще кора не состругана. Видите? Крохотный столбик то ли пыли, то ли дыма, наполовину развеянного ветром.

Вернер прищурился, шагнул вправо, потом влево, присел на корточки и проговорил неуверенно:

— Что-то маячит. Скорее пыль на ветру, чем дымок. Да столбик-то узенький. Как же вы пролезете?

Я засмеялся.

— Сейчас увидите.

Прошел в открытую калитку, ступил ногой в самый центр пылевого столбика, словно пытаюсь прижать его носком ботинка, и сразу же очутился в тусклом, непрозрачном коридоре. Левое плечо и рука тотчас ощутили колющий парализующий поток, и я прижался вправо, к упругой невидимой «стенке». Постоял, должно быть, с минуту, ни о чем не думая, с трудом повернулся и выскочил на свет божий.

Вернер глядел на меня с древним реликтовым удивлением, какое поражало библейских людей, когда они видели колесницу Ильи-пророка или превращение жены Лота в соляной столб.

— Ничего не понимаю. Вы же буквально провалились сквозь землю. Попробуйте еще раз, я подойду ближе.

— Ладно,— сказал я,— только не слишком близко. Еще вас втянет. И ради бога не вздумайте последовать за мной — сразу оцепенеете.

Я шагнул вперед и сразу же, как и минуту назад, уперся в тугую воздушную «стенку». На мгновение мелькнула мысль: а что, если пройти по коридору в алмазный кокон, повторив уже пережитый опыт? Что подумает Вернер, ожидая меня и сходя с ума от неизвестности? А если я вдруг останусь там бок о бок с Нидзевецким? Ведь контакт двух разумов осуществлялся едва ли в интересах человечества.

Я снова вышел к столбу при полном ликовании Вернера.

— К черту! — закричал он. — Я проделаю это сам, — и нырнул в ту же невидимую межпространственную щель.

Я едва успел ухватить его за пиджак. На какую-то секунду я увидел вдруг то, что уже никогда не увижу до смерти. В прозрачном солнечном воздухе возле проклятого столба, извещающего о таинственном исчезновении людей, исчезло вдруг девять десятых Вернера и только рвалась у меня из рук будто отрезанная часть его спины в сером выцветшем пиджаке с острыми, выпирающими лопатками. Еще секунда, и я его вынул по частям из пустоты, из воздуха, сначала плечи и затылок, потом голову и руки и, наконец, вывернутые в первой балетной позиции ноги.

Он грохнулся на землю в какой-то неестественной позе и простонал.

— Что с вами? — испугался я.

— Оннемела... вся левая часть... как ппараличная... — выговаривал он, с трудом шевеля языком.

— Я говорил вам — не лезьте! — рассердился я. — Вы нормальный человек, с левым сердцем. А это дорога для ненормальных. Контакт для правосердечников. Не

понимаю, почему они не переместили эти идиотские воздушные потоки?

— Значит, не могли.

Вернер уже сидел, опершись руками о травяные бугорки и вытянув вперед свои худые, выворотные ноги.

— Значит, разум их не всемогущ и не всеведущ. Не подымайте его уж так высоко над человеческим, — продолжал он, — просто он действует, как и мы грешные, методом проб и ошибок. Придется воззвать ко всем ученым планеты: есть ли среди них люди с правосторонним сердцем?

— Едва ли Стон пустит сюда ваших ученых. Мне кажется, он совсем не заинтересован в гласности.

Вернер задумался.

— Такое открытие нельзя замалчивать, — сказал он. — Это преступление против науки. Мы, в конце концов, можем обратиться в ООН.

— Не будьте наивны, Вернер, — сказал я с сердцем. — ООН может вмешаться в вооруженный конфликт, но не сможет войти в дом без разрешения хозяина. Частная собственность, профессор, ничего не поделаешь. А задушить Стона могут только международные картели, миллиарды против его миллионов, да и сделают они это не ради науки.

Так мы и сидели с Вернером на шоссе на обочине, глотая пыль из-под колес проезжавших автомобилей. Ни один из них не остановился, даже хода не замедлил: «ведьмин столб» стал вроде рекламного щита, предлагающего вам застраховать свою жизнь — самый трудный и неблагодарный вид рекламируемого товара. А зачем ее страховать, подумалось мне. Во имя благополучия Гвоздя и Стона, во имя их дальнейших благоприобретенных за счет живой, пусть незнакомой нам, но жизни и, может быть, все-таки жизни разумной. А что, если я сейчас пройду по этому коридору в алмазный кокон и скажу им все, что тиранит душу со дня первой нашей встречи с Неведомым? Может, они поймут. Ведь они хотели, чтобы и мы что-то поняли, но мы ничего не уразумели в беготне цветных значков и пятен, как в рекламных анонсах на Больших леймонтских бульварах. Ну, мы не поняли, а они? Ведь не для нашей потехи извлекли они у нас все сознательное и подсознательное и смоделиро-

вали четыре человеческие жизни так, как нам и не снилось. А если так, вдруг они и сейчас поймут все, что мне хочется им сказать, поймут правильно и захлопнут намертво эту соблазняющую только дикарей калитку в Неведомое. А что, если в самом деле выйдет, если удастся, то чего же я медлю здесь на вытоптанной траве у дурацкого столба, на котором даже не повесишь никого из проклятой шайки...

Я молча поднялся и шагнул к столбу. Дымок у его основания еще клубился тоненькой мутноватой спиральной. Я обернулся к Вернеру и сказал:

— Мне пришла в голову одна идея, профессор. Подождите минут двадцать. Я скоро вернусь.

— Куда вы?— встрепетул Вернер.— Какая идея? Что вы еще придумали?

— Скажу им все, что говорил вам. Пусть принимают меры, если поймут.

— Так вы же еще не знаете, разумны ли они. С кем же вы будете говорить?

— С самим собой. Если это разум, он поймет. Услышит, или прочтет, или воспримет своим каким-то особым способом, в сущности, совсем не сложную мысль. Вроде той, какая изложена на этом столбе.

Вернер держался за него одной рукой, другой загораживая мне путь. Губы его дрожали.

— Это донкихотство, Янг. Я не пушу вас. Поступок, недостойный нормального человека.

— А то, что творится вокруг, нормально по-вашему?— спросил я, легко отстраняя Вернера.— Не мешайте, профессор. Я иду.

Коридор я прошел быстрее, чем раньше,— не было Этты, которая связывала. Переступал, прижимаясь грудью у пружинящей «стенки», и почти не попадал в зону парализующего потока. Привычного уже онемения я даже и не почувствовал, когда глазам открылось таинство сказочной игры самосветящихся кристаллов.казалось, они мгновенно меняли цвет и форму, словно струились, скручивались и расплывались, как взбесившееся электричество, запертое в скалистые берега более крупных кристаллических форм. Впрочем, я недолго любовался этой сверкающей геометрией. Шагнув вперед, я закричал испуганно и неудержимо — не крик, а сумас-

шедший бег таких же сумасшедших, истерических, что-то выкрикивающих мыслей:

— Услышите меня или, вернее, поймите вот так, как вы умеете это делать, вскройте мозг, как консервную банку... Вы, конечно, не знаете, что такое консервная банка, но понимаете, что можно вскрыть мозг... вы уже делали это, и не со мной одним... А вскрыв его, вы услышите, что я хочу вам сказать... закройте калитку... мы называем этот проход в ваше пространство калиткой в Неведомое, нам, конечно, неведомое, потому что, кроме меня, никто не понял, что вы — это жизнь, это разум, качественно иной, чем наш, может быть даже его превосходящий... Тогда поймите, что с нами рано, еще рано вести обмен информацией... здесь у нас мелкий, душный, собственнический мир хищных инстинктов, жадности, коварства, подлости, античеловеческой, антигуманической псевдосвободы... Конечно, есть места на Земле, и много таких мест, где люди могут жить и живут по-человечески, действительно свободно и счастливо, но вы открыли свой вход не там, а у нас, где правят деньги, деньги и деньги, где даже ваши частицы, которые нам удалось унести с собой, продаются и покупаются, как украшения для толстосумов, их жен и возлюбленных... Я не знаю, поймете ли вы все это, но именно эти немногие у нас владеют миром, забирая все лучшее, все самое красивое и ценное, отнимая его у тех, кто создает эту красоту и ценность... Вот почему я кричу, прошу, умоляю вас закрыть проход... Еще не настало время — время для встречи разумов, не те люди придут к вам, какие должны прийти... Может быть, через сто — двести лет — как бы вам объяснить это?... У нас десятичная система отсчета, а год — это период обращения Земли вокруг Солнца, Землей же мы называем нашу и вашу планету — так вот, через сто лет, быть может и раньше, я надеюсь, и у нас на Земле будет всеобщее торжество разума, свободного от зла и невежества... Простите, говорю, может быть, слишком выпендренно и не научно, хотя, вероятно, наши науки и чужды вам, но мне очень хочется, чтобы вы меня поняли и закрыли эту чудесную калитку в Неведомое... Простите, поймите и не судите меня строго — я только хочу все, как честнее и лучше...

У меня перехватывало дыхание и срывался голос — я кричал уже, не слыша себя и едва ли соображая то, что выкрикиваю. Последнее, что я заметил, был уже не многоцветный, а прозрачный сияющий мир вокруг, какой-то очень спокойный и чистый, от чего спокойнее и чище стало на душе, и я вдруг умолк, понимая, что говорить уже было не нужно. Позади висело, как спиралька пыли — хотя в хрустально-прозрачном воздухе, конечно, не было ни пылинки, — смутное пятно выхода, и я отступил в него, как уходишь из ярко освещенной комнаты в темную, не отрывая глаз от плывущего за выходом сияния.

Коридор я прошел уже не помню как и, вероятно не очень тщательно оберегая себя, так что левая сторона здорово онемела. Вышел, споткнулся и упал прямо к ногам белого, как бумага, Вернера.

— Живы? — только и вымолвил он.

— Жив, — выдохнул я.

— И все сказали?

— И все сказал.

— Что же будет?

— Не знаю.

— И вы думаете, они поняли?

— Хочется думать, что поняли.

Минут пять мы посидели молча, не задавая друг другу вопросов, как вдруг неизвестно откуда налетел порыв ветра, взлохмативший мне волосы, а с Вернера сорвавший шляпу, застрявшую в чугунных переплетах ограды.

— Гроза, что ли? — спросил он.

— Откуда? — удивился я, посмотрев на девственно-голубое небо.

Вернер оглянулся и замер с открытым ртом, словно что-то застряло у него в горле.

— Что с вами? — бросился я к нему.

— Смотрите... — прошептал он.

Я взглянул и обмер. Дощечка на столбе, предупреждавшая об опасности, повернулась на сто восемьдесят градусов.

— Может быть, ветром сдуло? — предположил Вернер.

— Так ведь она же прибита.

И лишь подойдя к столбу вплотную, мы заметили, что повернулся весь столб, причем странно повернулся — не в земле, по-прежнему прочно утоптанной и твердой как камень, а так, словно поворачивали его, держа за основание и скручивая вещество столба, как веревку. Скрученность древесины была заметна сразу, и доска была прибита к ней уже не параллельно, а перпендикулярно к шоссе.

— Ведьмы шалят, — сказал я.

— Это не ведьмы, — покачал головой Вернер. — Искривилось пространство, а вместе с ним и древесина столба. Это они. Посмотрите: пыльного дымка внизу уже нет.

Он шагнул и уперся в столб. Шагнул и я, стараясь попасть ногой в знакомое место, куда ступал для того, чтобы попасть в исчезнувший уже коридор. Нога уже ничего не нашла — только пыль...

ТЕЛЕФОННАЯ НОЧЬ. БЕРНИ ЯНГ

Вернер позвонил мне поздно вечером:

— Господин Янг?

— Почему так официально, профессор?

— Я вообще не хотел говорить с вами. Помните, я не сказал ни слова по дороге домой...

— Не помню. Ничего не помню, Вернер, кроме счастья, что все это удалось.

— Убийство вам удалось. Вы убили открытие, Янг. Наука уже ничего не узнает о нем. Никогда. Доказательств нет.

— Лучшее не знающая наука, чем знающая и способствующая преступлению. Вспомните Хиросиму, профессор.

— Вы Герострат, Янг.

— Если уж прибегать к сравнениям из древнейших текстов, то я скорее Иосиф из Аримафеи, который с согласия Пилата, подчеркивая: с со-гла-си-я Пилата, лично снял с креста тело Иисуса.

— Я не давал согласия. Я старался вам помешать.

— А я убедил вас не силой, а логикой.

— Тем, что у меня осталось второе открытие?

— Конечно.

— И его уже нет. Камни потускнели и не светятся. В темноте их уже не отличишь от кусков угля. А на всех микроскопических срезах кристаллическая решетка везде одинакова. Камни мертвы.

Я молчал. Мысль о том, что меня поняли даже вернее и лучше, чем я рассчитывал, кружила голову. Голос Вернера в трубке спросил с раздражением:

— Испугались?

— Ничуть. Может быть, это всего лишь результат ваших исследований?

— Не знаю. Теперь уже не проверишь.

— Почему? Попробую.

— Что?!— вскрикнуло в трубке, но я уже нажал на рычаг.

Услышав гудки, я набрал номер Стона. С ним долго не соединяли, дворецкий что-то твердил о том, что господин уже спит и будить не приказано, но я неумолимо настаивал: разбудите и объясните, что дело не терпит отлагательства, а говорит физик Янг. Так, мол, и передайте.

Наконец сонный голос спросил:

— Какой еще Янг?

— Тот самый. Не представляйтесь, что не помните.

— Какого дьявола вы меня беспокоите ночью?

— Сейчас узнаете. У вас еще при себе наши камни?

— Мои, а не наши.

— Ну, ваши. Теперь разницы нет. Какие-то из них вы, наверное, припрятали еще от Спинелли?

— А почему это интересует вас?

— Сейчас заинтересует и вас. Если они хранятся где-нибудь поблизости, возьмите и рассмотрите их внимательно. И при свете и в темноте.

Голос в трубке уже испуган:

— А что случилось?

— Делайте, что вам говорят. Потом объясню. Трубку не вешайте. Жду.

Стон не возвращался к телефону долго, минут пять или десять. Я жду. И наконец слышу встревоженное и недоуменное:

— Ничего не понимаю...

— Поймете. Камни потускнели?

— Совершенно. Как бутылочное стекло.

— И в темноте уже не горят?

— Ни искорки.

— Лопнули ваши миллионы, Стон.

Тяжелое дыхание в трубке и робкий, умоляющий голос:

— Может, вы объясните мне, что случилось?

Я объясняю. Говорю об исследованиях Вернера. О том, что это вообще не алмазы, и не бриллианты, и даже не камни вообще, а живые организмы, элементы своеобразной кристаллоорганики. Сравниваю их, чтобы ему легче было понять, с коралловыми полипами, создающими атоллы и целые острова. Поясняю, что алмазный кокон, где мы побывали, и есть что-то вроде такого острова, созданного классом особых кристаллических существ. О разуме я молчу: все равно не поймет да и понимать ему незачем.

— Кто вам разрешил эти исследования?

— Я и не спрашивал ни у кого разрешения. Просто еще в коконе заподозрил, что они живые.

— Сколько камней вы дали этому профессору?

— Три или четыре, не больше.

В трубке уже ничем не сдерживаемый гневный настрой:

— К моим камням никто не прикасался. Никто. Так почему же они потускнели?

— Потому что потускнели все камни,— терпеливо поясняю я,— все, какие были вынесены с россыпи и где бы они ни находились сейчас— у вас или у ваших компаньонов, в магазинах или у покупателей. Словом, все. Вам понятно? Все.

— Не понятно.

— Поскольку это не алмазы, а частицы живой кристаллической структуры,— опять терпеливо разжевываю я,— жизнь их, а следовательно, и блеск, и свечение, и бриллиантовая яркость развивались в привычной им среде, с иным химическим составом воздуха, без угарных примесей, вредных газов, даже солнечной радиации,— в среде, где ничто не горит и не тлеет, не гниет и не разлагается. Попад в нашу, уже достаточно отравленную атмосферу они просто не смогли жить.

— Почему же они скончались одновременно? Может быть, вынесенные позже еще живут?

— Не думаю.

Мысль Стона делает неожиданный скачок:

— Мои жили почти три месяца. Если сейчас вынести оттуда побольше новых, мы даже при снижении цен проглотим весь ювелирный рынок.

— Не выйдет,— говорю я спокойно.

— Почему?

— Сезам захлопнулся.

— Какой Сезам?

— Вход в гиперпространство у «ведьмина столба» на шоссе.

— Он всегда закрывается и открывается. Зависит от погоды и времени дня.

— Теперь уже не откроется.

— Вы так уверены?

— Я лично пытался пройти сегодня. Не вышло. Вход захлопнулся у меня под носом. Даже столб вывернуло.

— Из земли?

— Нет, в земле. Скрутило, как жгут. Страшная месть леймонтских ведьм, господин Стон.

Молчание в трубке, и новый поворот разговора.

— Вы действительно своевременно разбудили меня, Янг. Надо думать о будущем. Возможно, вам придется выступить в суде.

— В каком суде?— не понял я.

— Меня могут обвинить в торговле фальшивыми бриллиантами. В мошеннической продаже их за настоящие. Возможны любые осложнения.

— Я скажу правду.

— Интересно, как будет воспринята в суде ваша правда о дырке в пространстве.

— А ваша?

— Я еще не обдумал план защиты. Когда вы мне понадобится, я пришлю своего адвоката.

Разговор поверг меня в убийственное уныние. О суде я действительно не подумал. Я представил себе свой рассказ о гиперпространстве, о живых алмазных структурах, отчеты в газетах о новом Мюнхгаузене и хохот в зале, когда за меня как следует возьмутся прокурор и судья. Перспектива не из приятных, конечно, но ведь

рассказать что-то придется. Не из Южной же Африки Гвоздь вынес свой чемодан и не искусственные бриллианты перебирали мы с Эттой в «бунгало» Чосича. А что расскажет Вернер о своих микросрезам, которые теперь на экспертизу даже представлять неудобно? Микросрезы с пивной бутылки — вот что объявит эксперт, сдерживая улыбку. А улыбаться-то нечему. Роль соучастников грандиозного мошенничества нам с лихвой обеспечена.

В таком состоянии ума меня и застал новый звонок:

— Физик?

— Я,— подтвердил я, уже зная, кто говорит.

— Ты напугал Стона, а Стон — тебя. Но, в общем, не три глаз — слезы не помогут. Мои камешки тоже сдохли.

— Я же говорил, что они живые.

— Профессор доказал?

— Конечно.

— А что конкретно?

— Не поймешь.

— Ну все-таки.

— Хотя бы то, что иная жизнь может возникнуть и на совершенно неизвестной нам материальной основе и в формах, которые мы даже не сможем придумать. Понятно?

— В общем-то да, только говорить об этом не нужно.

— Где?

— На суде. Тебе же Стон сказал, что нас могут обвинить в мошеннической фальсификации драгоценностей.

— Допустим. Только мы с Эттой ничего не фальсифицировали.

— Но способствовали.

— Чем?

— Участвовали в добыче. Унесли десяток камней. По рыночным ценам это не малые деньги.

— Я уже уведомил Стона, что лгать не буду.

— Пожалеешь. В лучшем случае свезут в психиатричку. Подумай. До суда еще далеко.

Поздно ночью я позвонил Этте. Долго не отвечала, потом что-то лепетала сонным до одури голосом, потом разобралась и рассердилась, что звоню под утро, когда все нормальные люди спят. А когда я рассказал ей о

разговоре с Вернером и о своем походе в Неведомое, огорчилась так, что в голосе слышались слезы. Как это я мог забыть о ней, пойти без нее, даже не посоветоваться, что это по-свински, а не по-товарищески и что riskовать жизнью, не зная, чем все это может закончиться, как riskнул Нидзевецкий,— безумие и бессмыслица. О том, что мы все уже раз riskовали, она не упоминала, слова вылетали автоматной очередью: как это я мог, как решился и как это было глупо кричать в хрустальное сиянье о мошеннической шайке Гвоздя и Стона. Я все это выслушал и сказал устало:

— Я тебе не сообщил главного. Меня услышали и поняли.

— Кто?

— Разум.

— Опять ты со своими гипотезами. Даже Вернера не смог убедить.

— Я его уже убедил. Теперь он солидаризируется со мной, формулируя это так: материальная основа сознания вовсе не обязана быть биологической.

— Ну и как тебе ответила эта основа сознания?

— Закрыла калитку.

— Как закрыла? Совсем?

— Совсем. Столб скручен, как веревка, пылевая дымка уже не завивается, и войти в коридор нельзя. Собственно, и коридора уже нет: он за пределами нашего мира. Но я еще не сказал всего.

И добавил все, что знал о камнях от Вернера, Стона и Гвоздя alias Педро Монтеца. Тут она ничего не ответила, только часто дышала в трубку, словно ей не хватало воздуха, и наконец чисто по-женски спросила, уже совсем нелепо:

— Что ж теперь будет?

Пришлось снова вернуться к переговорам с Гвоздем и Стоном, рассказать про суд, поинтересоваться, как вести себя на свидетельской трибуне, и если говорить правду, то не превратит ли она нас в не отвечающих за свои слова шизофреников или просто в посмешище для публики и газетчиков?

Этта ответила уже совсем неожиданно:

— Подождем, Берни. Подождем и подумаем.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВЕКА. ЭТТА ФИН

Сегодня мы с Берни поссорились очень крупно. А предыстория этого такова.

Он поручил мне сделать запись процесса по судебным отчетам в «Леймонтской хронике», наиболее подробно и тщательно освещавшей процесс. А кратенькое вступление к этой записи продиктовал мне сам, что я и привожу здесь с перебивающими это вступление моими с Берни репликами.

После того как все камни, вынесенные с россыпи и являющиеся собственностью акционеров «Бриллиантовой монополии», а также все проданные ими ювелирным фирмам, магазинам и частным лицам, превратились в подобие тусклых бутылочных стекляшек, началась бешеная кампания в обществе и в печати против акционеров, обвиняемых в заведомо мошеннической продаже фальшивых бриллиантов, выдававшихся ими за подлинные. Особенно неистовствовали даже не покупатели камней Стона, а фирмы, пострадавшие косвенно, так как в связи с появлением на рынках Антверпена, Амстердама и Лондона голубых карбункулов Стона вся малокаратная мелкота, массами вывозимая из Южной и Юго-западной Африки, упала в цене до стоимости безделушек из горного хрусталя. Ее даже сняли с большинства крупных ювелирных витрин и сплавляли при первом удобном случае в мелкие туристские лавчонки Неаполя и Афин. Международная торговля бриллиантами переживала неслыханный кризис, угрожавший полным разорением владельцам большинства алмазных разработок в Южной Африке, откуда они питали голландские и бельгийские рынки. Но все это были лишь закулисные вдохновители антистоновской кампании на биржах и в обществе. И исковыми же заявлениями выступили непосредственные клиенты «бриллиантовой монополии», и в конце концов леймонтский суд вынужден был начать разбирательство дела, в котором группы истцов и ответчиков представляли всемирно известные мастера профессиональной юридической казуистики в мантиях и без мантий. Надо сказать, что уже до суда ответчики выиграли не менее сотни миллионов, так как суд отказался рассматривать иски по документально не оформлен-

ным искам. Однако и официально оформленные составили, в переводе с гульденов, лир и франков, внушительную сумму в сто восемьдесят шесть миллионов долларов. Это и позволило многим западноевропейским газетам назвать дело «Леймонтской бриллиантовой монополии» судебным процессом века.

Обвинение на процессе поддерживал генеральный прокурор Флаймер, который, по мнению критически настроенных судебных корреспондентов, вел себя более чем странно. Он всячески придирался к истцам, требовал дополнительной документации, отклонял документы, по его мнению не надлежаще оформленные, и даже не постеснялся сказать в кулуарах: «Раздутое дело. Прокуратура еще не имеет достаточно уверенности в правоте предъявленных ответчикам обвинений».

Не дремали, как говорится, и сами ответчики. Все чудесное в деле, все ирреальное, опровергающее каноны классической физики, было отвергнуто. Никакого гиперпространства, никаких коридоров за пределами трех земных измерений, никаких бриллиантовых коконов с собственным источником света — просто обычная природная шахта, замаскированная сверху прочным переплетением травы, а внизу переходившая в пещеру со свободными алмазными россыпями. Чтобы устранить проверку, Стон и его сообщники взорвали землю вокруг «ведьмина столба», объяснив его взрывом природного газа, скопившегося в шахте. Никаких раскопок Стон не разрешил как землевладелец, объявив, что вопрос о существовании шахты к судебному разбирательству отношения не имеет. Какая разница, есть ли в земле бриллианты или нет, если они все равно фальшивые?

Тут я прервала запись и спросила у Берни:

— Зачем же понадобилось Стону взрывать эту землю? Его же могут обвинить в умышленной аварии.

— А зачем ему умышленная авария?

— Чтобы закрыть «Сезам».

— Он и так закрыт. А ему и нужно, чтоб чуда не было — ни дырки в пространстве, ни коридора, ни кокона. Ничего, что могло бы запутать процесс.

— На чем же он строит свою защиту?

— На показаниях экспертов. Все они документально подтверждают, что бриллианты в их первоначальном

виде не могли быть подделкой. Только слишком прозрачны и яркие, но это как раз и привлекало. Так что ни продавцы, ни эксперты даже не подозревали о фальши. Обвинения в умышленном мошенничестве тогда начисто отпадает.

Стон подтвердил все сказанное Берни на первом же заседании суда. Цитирую этот эпизод по отчету в «Леймонтской хронике».

Стон подходит к судейскому столу весь в черном, как в трауре. Говорит медленно и с актерским нажимом на публику о том, что он с самого начала был уверен в подлинности алмазов. Адвокаты подтверждают его слова данными специальной ювелирной экспертизы.

Судья. Вы что-нибудь знали об этой шахте до приезда в Леймонт?

Стон. Ничего. Я понятия не имел об алмазных россыпях в окрестностях города.

Судья. Почему же вы купили земельный участок, привлекающий к себе нездоровое любопытство и, я бы сказал, даже мистический интерес?

Стон. Я заинтересовался необъяснимым исчезновением людей на этом участке. Лично исследовал его и обнаружил отверстие не то колодца, не то глубокой ямы, замаскированное прочно переплетавшимися между собой жесткими стеблями густой травы. Они легко пропустили меня, когда я до половины опускался в яму, и снова восстанавливали прикрытие, когда вылезал наружу. Потом я, вооружившись, как альпинист, зубьями и веревкой, спустился в шахту и обнаружил нечто вроде сталактитовой пещеры, освещенной откуда-то проникающим светом и с россыпью похожих на битое стекло камешков, оказавшихся при ближайшем рассмотрении алмазами — я-то знал, как выглядят подлинные алмазы, когда работал старателем на приисках в Южной Африке.

Голос из зала. Вы лжете, Стон!

Судья (*судебным исполнителям*). Выведите крикуна из зала, чтоб не мешал.

Крикуном, конечно, был Берни, который до конца продолжал настаивать на своей версии качественно иной жизни за пределами нашего пространства, куда удалось проникнуть Стону и впоследствии всем нам.

По его словам, он хотел задать Стону вопрос о трупах исчезнувших на шоссе людей, но ему помешали судебные исполнители. Вопрос же этот задал судья.

Судья. При спуске в шахту вы, вероятно, обнаружили тела исчезнувших?

Стон. Всех, включая бродягу и полицейского. Они сорвались и разбились, не имея стальных костылей и веревок, при помощи которых спускался я.

Судья. Родственники погибших не пытались потом отыскать трупы?

Стон. Я не сообщил им об этом — не хотелось огорчать их, да и с деловой точки зрения не в моих интересах была информация о местоположении алмазной шахты. Впоследствии, к сожалению, случайный взрыв уничтожил все, и любая попытка эксгумации была бы нецелесообразной. Сейчас на этом месте воздвигается памятник всем погибшим в злосчастной шахте.

Берни (*из зала*). Вы опять лжете, Стон! Вы отлично знаете, что тела погибших находятся за пределами нашего пространства!

Судья. Я же приказал вывести крикуна из зала! (*Стону.*) Второй раз вы уже не рискнули спуститься?

Стон. Второй экспедицией руководил мой компаньон Педро Монтец.

Судья. Свидетель Педро Монтец!

Монтец (*после присяги*). Да, я руководил второй экспедицией за алмазами. Кроме меня, в шахту спускались лаборант института физики Берни Янг, учительница Этта Фин и польский эмигрант, автомеханик по профессии, Станислав Нидзевецкий.

Судья. Чем обуславливался выбор участников экспедиции?

Монтец. Прежде всего опытом альпинистов и умением держать язык за зубами. Разглашать цели экспедиции было не выгодно — сами понимаете: конкуренция и секреты фирмы.

Берни (*ему удается снова втиснуться в зал*). И это ложь, ваша честь! Прошу вызвать участников экспедиции.

Судья (*морищится*). Опять этот крикун!

Прокурор. Не вижу необходимости в задержке процесса. Что нового могут сказать участники экспеди-

ции? Ни один из них даже не предполагал, что бриллианты фальшивые.

Берни (*из зала*). Я предполагал, что это не бриллианты!

Судья снова поворачивается к судебным исполнителям, но его приказание о выводе Берни предупреждает представитель адвокатуры истцов.

Адвокат истцов. Защита интересов объединения истцов по этому процессу настаивает на вызове участников экспедиции Берни Янга, Этты Фин и Станислава Нидзевецкого, эксперта-исследователя профессора Вернера и руководителя юридической конторы «Винс и Водичка».

Адвокат ответчиков передает судье какую-то бумагу.

Судья (*прочитав*). Суд считает возможным удовлетворить ходатайство защиты интересов истцов только в отношении Берни Янга. Еще одного дополнительного свидетельства о характере экспедиции, не имеющем прямого отношения к сути исследуемого вопроса, будет совершенно достаточно, тем более что Станислава Нидзевецкого уже нет в живых. Ходатайство о вызове других перечисленных в заявлении лиц суд удовлетворить не может. Профессора Вернера сейчас в городе нет, а юридической конторы «Винс и Водичка» больше не существует.

Адвокат истцов. Однако все участники экспедиции были наняты по объявлению именно этой юридической конторы. Прошу приобщить его к делу, ваша честь.

Судья читает объявление, передает его прокурору и ждет ответа.

Прокурор (*недоуменно пожимает плечами*). Может быть, это объяснит нам господин Стон?

Стон. Мы не давали такого объявления и не руководствовались им при выборе участников экспедиции. Это какая-то мистификация, ваша честь.

Берни (*из зала*). Очередная ложь, господин Стон.

Судья. Опять крикун! Немедленно вывести его и ввести Янга.

Берни говорит что-то судебным исполнителям.

Судебный исполнитель. Это и есть Берни Янг, ваша честь.

Судья. Ну что ж, послушаем крикуна. Подведите его к присяге.

Берни (*после присяги*). Все, что говорили здесь Стоп и Монтец, — ложь. Не было ни входа в шахту, замаскированного травой и кустарником, ни альпинистского спуска с веревкой и костылями. Мы шли по коридору с уплотненными воздушными «стенками», находившемся уже за пределами нашего пространства.

Судья. Что значат слова «за пределами нашего пространства»? Или я ослышался?

Берни поясняет. Ему удастся добавить немного — о парализующем потоке, о правостороннем сердце, о неразложившихся трупах людей, когда-то исчезнувших на шоссе. Зал в это время уже содрогается от хохота, свиста, улюлюканья и криков: «Вон!», «Долой!», «Заткните ему глотку!» Журналисты вскакивают на скамьи в поисках лучшей точки для фотосъемки, их стаскивают за ноги зрители, которым они мешают. Судья яростно стучит молотком, требуя тишины. Наконец зал стихает.

Прокурор. Свидетель явно нуждается в судебно-медицинском обследовании. И потом, его бред задевает лично меня: ведь среди исчезнувших была и моя дочь, ваша честь.

Судья (*протоколисту*). Выключите магнитофон, показания свидетеля не записываются.

Берни. Я хочу сделать заявление, непосредственно относящееся к обвинению ответчиков в заведомом мошенничестве.

Адвокат истцов. Защита интересов истцов настаивает на необходимости выслушать свидетеля.

Судья. Продолжайте, Янг. Только конкретно и коротко.

Берни. Я с самого начала заподозрил, что это совсем не алмазы, ваша честь. То были живые кристаллические структуры, неизвестные на земле и напоминавшие в своем развитии жизнедеятельность коралловых образований. Я предупреждал Гвоздя о том, что их нельзя продавать как бриллианты после огранки.

Судья. Кого вы предупреждали, свидетель?

Берни. Ответчика, известного ныне как Педро Монтец, а тогда человека без определенных занятий по кличке Гвоздь.

Монтец (*с места*). Прошу оградить меня от оскорблений, ваша честь. К тому же свидетель говорит неправду. Я получил от него вынесенные им бриллианты без каких-либо замечаний с его стороны.

Судья. Вы свободны, свидетель Янг. Логичнее было бы направить вас на принудительную психоэкспертизу, но суд предоставляет вам право сделать это по собственному желанию.

Берни выходит из зала суда, окруженный толпой журналистов и фотографов. А за столом юристов подымается один из адвокатов ответчиков.

Адвокат. Директор леймонтского банка Оскар Плучек просит слова для внеочередного заявления.

Судья, полускрыв глаза, еле заметным кивком извещает согласие.

Плучек. Хотя, по нашему убеждению, несостоятельность иска уже доказана, мы все же считаем своим долгом пойти навстречу покупателям злополучных для обеих сторон драгоценностей и погасить сумму иска в размере двадцати пяти процентов, что в переводе на американскую валюту, в которой совершается большинство операций на ювелирных рынках, составляет сорок шесть миллионов долларов.

Представитель истцов (*после краткого совещания за столом адвокатуры*). Предложение в принципе заслуживает внимания, но для принятия решения требуется время. Мы просим отсрочки до утреннего заседания во вторник.

Судья. Суд соглашается с предложением адвокатуры.

Я не пересказываю здесь газетных комментаторов — они не компетентны и не влиятельны. Через два дня на утреннем заседании стороны пришли к соглашению, и дело было прекращено.

Мы встретились с Берни в столовой, где обычно обедали, и жестоко поссорились.

Он начал первый:

— Ты почему не выступила в суде?

— Потому что меня не сочли нужным вызвать.

— Ты могла этого потребовать.

— Зачем?

— Хотя бы для того, чтобы не оставлять меня одного.

— И к Дон Кихоту в джинсах присоединиться Дон Кихоту в юбке? Разделить участь осмеянных и освищенных клоунов?

— А ради истины?

— У твоей истины нет доказательств. Вернер же не выступил, скрывшись из города.

— Вернер — морально сломленный человек. Он был в Штудгофе.

— Я тоже была в Штудгофе. Но ни я, ни Вернер не выступили потому, что трусили. Ты же присутствовал в зале суда. Так неужели не ясно, что весь процесс был очень хитро подготовлен и проведен. И не в интересах истины. А истину, в сущности, ты же сам закопал. Я не осуждаю тебя, но ведь это ты захлопнул калитку.

Берни встал и ушел не прощаясь.

КНИГА В НАБОРЕ. БЕРНИ ЯНГ

С Этой мы помирились, конечно, хотя мне до сих пор горько, что она не поддержала меня в борьбе с этой сворой мошенников. Но ссоры с друзьями не долговременны, да и помимо дружбы нас связывала работа: без Этты я не смог бы закончить книгу о «ведьмином столбе» на Леймонтском шоссе. Этта не только воспроизвела весь процесс по судебным отчетам в газетах, но и восстановила со своей изумительной памятью все услышанное, обсуждавшееся и совместно пережитое в связи с событиями, завершившимися «процессом века». Лично мною увиденное и услышанное я рассказал в собственноручно написанных главах. Неподслушанные разговоры всех причастных к событиям лиц мы воспроизвели умозрительно, но с большой вероятностью: такие разговоры, конечно, были.

Ну что ж, книга закончена, предстояло только найти издателя. И представьте себе, я его нашел. И не в издательских офисах, а среди героев книги. Не старайтесь догадаться — это не Стон и не Плучек. Плучек парит в заоблачных финансовых высях, а Стон занялся гостиничным бизнесом — строит отели на альпийских курортах. Нет, своего издателя я нашел в баре «Аполло», он

шел прямо на меня, с лицом, похожим на кусок сырой баранины, и глазами, опухшими от виски с содовой.

— А-а, физик, — хохотнул он, — живешь?

— Живу, — говорю.

— А где твое гиперпространство?

— Нет его.

— То-то и оно... Значит, опять в науку?

— Не совсем, — говорю. — Пока книгу пишу о нашем алмазном бизнесе.

— Меня пощелкиваешь?

— Не очень. Больше Стона и Плучека.

— Этих, — говорит, — шелкнуть стоит. Издатель есть?

— Ищу.

— Везет тебе, физик. Есть такая юридическая контора: «Винс и Водичка».

— Неужели опять открылась?

— Когда надо, она всегда открыта. Зайдешь туда от меня и все оформишь. Блеск?

— Блеск, — говорю.

Итак, книга уже в наборе, и вскоре человечество узнает о нашем походе в Неведомое. Может быть, меня и осудят, но я не мог поступить иначе. Я человек неверующий, но готов повторить формулу нашей судебной присяги: клянусь говорить правду, только правду, и да поможет мне бог, если я увижу опять калитку в Неведомое и не закрою ее, как закрыл месяц тому назад. Может быть, через сто — двести лет, когда Стоны и Плучеки уже не будут ходить господами по нашей земле, хозяева соседнего мира снова откроют калитку и встреча двух Разумов произойдет, как теперь говорят, в сердечной и дружеской обстановке.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЛЕСНОЙ УЛИЦЕ

Фантастическая повесть



1. ДОЖДЬ

Сначала пришел ветер. Пришел неторопливо и властно, перевернул во дворе баки с мусором, поднял в воздух и понес смятые вчерашние и позавчерашние газеты, выбил стекла в гараже и, если бы смог, наверно, выгнал бы оттуда инвалидный «Запорожец», старый «Москвичок» и две «Волги» цвета самой реки.

Ветер пришел и ушел — так же неожиданно и странно. И тогда пошел дождь. Нет, не пошел — не то слово: упал на землю, ударился о ее сухую корку и о корку асфальта, встал стеной между мною и остальным миром. Стена была ощутимо твердой, и мне стоило немало усилий убедить себя в том, что ощутимость эта обманчива, нереальна, как нереален тропический ливень в Москве.

А что, собственно, знал я о тропических ливнях? Нет, нет, я не бывал в тропиках, я даже до Поти не доезжал.

А дождь висел предо мной, именно висел, иначе как же объяснить поразительное: он не нес с собой привычного ощущения стремительности, движения, переливов и всплесков. Если говорить точно: дождь молча висел. Ну, сбросили откуда-то сверху непрозрачную тяжелую занавеску, загородили мой дом, завесили — от дворовой суеты, от криков детворы, от лая ненавистных управдому собак, которые нагло топтали «общественные травонасаждения». Их тоже отрезал от меня дождь: он начинался сразу от балкона-лоджии, и сквозь его серую массу ничего не проглядывалось.

Конечно, бред, бред все это! Перемахни через балкон — всего лишь первый этаж, — нырни сквозь стену дождя, не бойся замочить рубашку и джинсы, опровергни фантастику: это только дождь, дождь — и ничего больше!

Но странная штука: я боялся шагнуть сквозь открытую дверь на балкон, боялся протянуть в дождь руку и не понимал причин этого страха.

— Ну что же ты, — сказал я себе, — не трусь, парень, ведь это только дождь, и ничего больше...

Слабая попытка самовнушения неожиданно помогла: я ступил на бетонный пол лоджии и подставил ладонь под дождь. То есть это я решил, что подставил. А по правде говоря, окунул. Как можно окунуть руку в пруд, в колодезь, в туман наконец... И она пропала, как отрезанная. Я испугался и отдернул ее. С рукой ничего не случилось. Я рассмеялся натянуто и тут только заметил, что рука — сухая. Даже капли не осталось на коже: дождь впустил ее и легко отпустил, наглядно продемонстрировав школьный опыт на тему «несмачиваемость поверхности».

Суетливые годы моей теперешней журналистской профессии, оказывается, не убили во мне духа экспериментаторства, рожденного прежней профессией. Я еще раз «окунул» руку в дождь и получил полное подтверждение опыта номер один. Прodelав серию таких несложных опытов, я сел на табуретку, забытую на балконе, и попытался систематизировать увиденное.

Итак, первое и несомненное: странному дождю предшествовал вполне обычный, может быть чересчур сильный, ветер. Так начинались миллиарды дождей, и ни у кого это удивления не вызывало. Как, впрочем, и у меня. Несомненно и второе: сначала дождь был и вправду дождем — ливневым, бушующим, знакомым, но все-таки дождем. А третье... Третье, пятое и так далее в моем сознании укладывались плохо. Сначала звуки: они пропали сразу и напроочь — все без исключения, как будто дождь был звуконепроницаем. Так не бывает, это ясно. Потом видимость: каким бы тропическим-супертропическим ни был ливень, но уж кусты у балкона я бы увидел. Ну не все кусты — хотя бы смутный силуэт их. И, наконец, это не было водой...

И это «наконец» меня совсем подкосило. Я сидел на табуретке и бессмысленно смотрел в серую стену. Стена

висела неподвижно и страшно. Или, если хотите точнее, стояла неподвижно. Как, впрочем, и полагается вести себя порядочной стене.

Я встал и пошел через комнату к двери, вышел на площадку и позвонил в соседнюю квартиру. Моим соседом был пожилой и щуплый композитор, который, конечно, не мог бы помочь мне разобраться в ситуации. Но он-то мне и не был нужен. А рассчитывал я на его сына-студента, который заканчивал физфак и, по-моему, кое-что смыслил в разных естественных науках.

Сын сидел дома один и слушал магнитофонных бардов. Барды были под гитару всякие слова, предназначенные хватать слушателя за душу. Но моя душа в данный момент была занята другим.

— Ты в окно смотрел? — спросил я студента, которого маньяк папа назвал Иоганном, вероятно, в честь великого органиста из собора святого Фомы.

— Смотрел, — сказал Иоганн, в просторечии Ганя.

— И что же ты там видел?

— Дождь идет, — равнодушно сказал Иоганн-Ганя. — А что?

Меня просто поразила безграничная нелюбопытность молодости.

— Протри глаза, физик! — гневно сказал я. — Какой же это дождь?

— Что же это, по-вашему? — обиделся нелюбопытный Ганя. — Может быть, салют? Или звездопад?

Нехитрое остроумие, абсолютно не подходящее к моменту, вконец разозлило меня. Я отстранил Ганю, прошел в комнату с бардами и указал на окно:

— Любуйся, физик...

— Как здоровье? — спросил грубый физик.

Я посмотрел в окно и подумал, что здоровье мое явно пошаливает, чтоб не сказать больше: за Ганиным окном шел обыкновенный — даже не тропический — дождь. Он был несильным и теплым, потому что мальчишки носились босиком по лужам на асфальте, а их матери не обращали на это никакого внимания.

Я рванул назад к себе, вбежал в комнату и замер на пороге: плотная стена по-прежнему висела за балконом. И не было за ней ни мальчишек, ни их матерей, ни воинственных криков — только серая неподвижная масса.

Впрочем, она уже не была только серой и неподвижной. Что-то в ней переливалось, сверкало, будто в стене водопада, освещенной солнцем.

Сзади меня кто-то удивленно присвистнул. Я обернулся: Ганя завороченно смотрел на стену, потом подошел к ней и, как я сам раньше, окунул в нее руку.

И тут же выдернул с криком:

— Током бьет!

Я усомнился:

— А не врешь? Я пробовал — ничего...

— Попробуйте еще раз.

Я послушался совета и тоже отдернул руку: било несильно, но ощутимо — вольт на тридцать — сорок.

— Что это? — спросил Ганя.

— Дождь, — ответил я.

— Нет, серьезно?

— Я вполне серьезен. Ты давно дома?

— С час, наверно. А что?

— Дождь пошел минут пятнадцать назад, а перед ним по двору прогулялся ветер...

— Точно, — подтвердил Ганя, — прямо ураган какой-то. И сам дождь сначала полил как из ведра...

Ганя учился «на физика», и ему можно было простить этот литературный штамп. Я спросил только:

— Сначала как из ведра, а потом утих?

— Почти сразу.

— А у меня наоборот: не стих, а превратился в стенку.

— Так не бывает, — протянул Ганя-реалист.

Я обозлился:

— Не бывает. Верно. А мы сейчас спим или галлюцинируем. Чему тебя учат, физик?

Ганя не отвечал, молча смотрел за окно. Сейчас он напоминал собаку-ищейку, которая только принюхивается: где след? Тонкий вздернутый нос его, казалось, еще заострился, а голубые глаза «выкатились» шариками.

— Слушайте, — сказал он, — а давайте-ка перелезем через барьер.

— Током ударит.

— Верно... — Ганя задумался. — Смотрите: у вас окна выходят на запад, а у нас на восток. У вас феномен стенки наблюдается, а у нас нет... — И вдруг заорал: — Парадное!

Дверь подъезда выходила туда же, куда и мои окна. По теории, ни войти, ни выйти из нее сейчас никто не мог.

Но теории далеко не всегда подтверждались практикой. Истина, конечно, банальная, но ведь и банальную истину никто не отменял. Толкая друг друга, мы выскочили на площадку, сбежали по ступенькам и затормозили у выхода, где на стуле восседала с вязаньем лифтерша тетя Варя и смотрела на улицу сквозь открытую дверь подъезда. А видела она все тот же двор, тот же гараж с амбарными замками на воротах, тех же мальчишек, гонящих босиком по лужам, тот же дождь, который неспешно моросил, булькал пузырями на асфальте. Короче, видела тетя Варя то же, что и мы: ни тебе «стены мрака», ни тебе «занавески с током». Все обыденно, привычно: гуляйте по лужам, дорогие члены жилкооператива!

— Дождь-то какой хороший,— сказала тетя Варя.— К грибам дело...

— Уж и хороший...— провокационно усомнился Ганя.— Это он сейчас к грибам, а пять минут назад какой потоп лил!

Тетя Варя удивленно на него посмотрела, спросила сварливо:

— И где же это ты потоп видел?

— За окном,— сказал Ганя,— где ж еще...

— Над отцом смейся,— обиделась тетя Варя.— Он тебе посмеется ремнем по заду. Тогда про потоп и ври...

Я решил вывесить белый флаг примирения.

— Поздно его ремнем-то. Не исправишь уже...— Я вздохнул лицемерно:— Теперь ему одна дорожка — в науку.

Ганя хихикнул и пошел под дождь. Я вышел следом и сказал наставительно:

— Старших надо уважать. Ты понял, физик?

— Нет,— отмахнулся Ганя.— Я другое понял: мы с вами стали жертвами наведенной галлюцинации. Смотрите.

Я посмотрел. И увидел два окна моей квартиры, облупленный заборчик лоджии, за стеклом на подоконнике стопу старых рукописей.

— Или стенки не было,— подытожил Ганя,— или она распалась. Третьего не дано.

Безапелляционность Гани меня почему-то расстроила:

мне хотелось «третьего», которого «не дано». Странное все-таки существо человек: все устроилось, все само собой разрешилось, никаких тайн, никакой фантастики — живи спокойно. Ан нет, обидно: как так «никаких тайн»? Только что была, сам щупал, а теперь исчезла? Не выйдет, граждане, подайте мне сюда мою тайну, а я уж в ней разберусь.

Я перелез через невысокий штакетник и подошел прямо по газону к своему балкону. Может быть, я хотел влезть на балкон, может, еще что-нибудь — не знаю, не спрашивайте. Только протянул руку, пытаюсь ухватиться за барьер, и... наткнулся на стену. То есть это я потом понял, что на стену, а тогда лишь почувствовал, что мне что-то мешает. Как будто перед моими окнами вровень с торцом дома выросла не видимая глазом преграда. Ну, стена, если хотите. Кулак ударялся об это «невидимое», упруго уходил в него на сантиметр-два, а дальше — стоп, что-то не пускает.

Я пошел вдоль балкона, «прощупывая» стену. Она начиналась от угла дома и тянулась до подъезда: Неведомое все-таки существовало и затрагивало почему-то только окна моей квартиры. Впрочем, верхнюю границу стены я не искал: может быть, она поднималась до второго этажа, или до третьего, или до десятого. В конце концов, это уж забота живущих сверху...

— Вот так штука! — В голосе Гани не было ни удивления, ни страха. Скорее, восторг, восхищение: надо же, так повезло, такой феномен подвернулся!

А то, что этот, с позволения сказать, феномен ограждал мою квартиру от остального мира, так то мелочи жизни, стерпится — слюбится, человек ко всему привыкает, да и, может, ненадолго сие. Последнее, кстати, и примиряло меня с «феноменом».

— Вот что,— сказал серьезно Ганя,— пошли к вам, разработаем план эксперимента. К делу надо подойти строго научно...

Человек легко мирится с неизбежным. В моем случае неизбежным была стенка и, стало быть, «строго научный эксперимент» под руководством Гани. Поэтому я смирился и пошел за ним.

В квартире было темно и тихо: за окном все так же чуть переливалась искорками матово-серая «занавеска».

— Эффект зеркальных очков,— сообщил Ганя.— Только наоборот: с улицы все видно, отсюда — ни черта.

Оттого, что «эффект» получил наименование, легче мне не стало. Я хотел свободы — понятной и привычной.

— Ганя,— сказал я жалобно,— давай куда-нибудь позвоним.

— Куда? — спросил Ганя.

— В Академию наук. Или в милицию.

— А в сумасшедший дом не хотите? — поинтересовался Ганя.— Оттуда охотнее приедут. Нет уж, слушайте меня и получите суперматериал для научной статьи в вашем журнальчике...

Я послушался его и в течение получаса выполнял роль лаборанта: бегал на улицу, исправно кричал в окно, жестикулировал и подводил итоги. Итоги были таковы: «стена-занавеска» звук не проводила — кричи не кричи; с улицы я видел все, что Ганя вытворял в комнате («эффект зеркальных очков»); снаружи стена по-прежнему оставалась упругой и непроходимой, а изнутри она легко пропускала как руку (живая материя), так и полуметровую линейку (неживая материя). Что касается материи неживой — не знаю, а живую ощутило было током. Правда, поменьше, чем раньше.

После подведения итогов Ганя утомился и исьяк.

— Каковы выводы, профессор? — спросил я его.

— Успеете с выводами,— невежливо сказал «профессор». — Я еще эксперимент не закончил.

Эксперимент и вправду требовал продолжения. Дело в том, что «эффект зеркальных очков» не объяснял довольно странного обстоятельства. Наружный наблюдатель (терминология Гани) видел, как экспериментатор выходит на балкон, протягивает руку и... она исчезает. Как отрезанная, как опущенная в темную воду. Этот фокус, вполне достойный Кио, Ганя запечатлел своим «Зенитом» и теперь, видимо, размышлял о том, куда же исчезает «живая и неживая материя».

— Ладно,— сказал он решительно и встал с кресла.— Побоку сомнения. Ученый должен быть решителен и бесстрашен.

— Ты куда? — испугался я.

— Через балкон — в неизвестность! — Ганя любил красивые фразы.

— Ударит током.

— Пусть. Я страдаю во имя науки.

— Посиди, страдалец,— сказал я.— Не время страдать. Ты лучше посмотри, что с «занавеской» делается.

«Занавеска» перестала искриться и пришла в движение. То есть не сама, а что-то внутри нее, как стремительно движется тонкая дымка облаков за иллюминатором самолета. И может быть — или это только казалось мне! — она становилась светлее, прозрачнее, что ли. Сквозь нее угадывались чьи-то расплывчатые контуры, словно рядом с балконом вместо низкорослых кустов выросло дерево, почти скрытое сейчас в тумане. Да-да, это был именно туман — вот оно, нужное слово! — густой-прегустой, текучий, но именно туман, а не «стена-занавеска» или дождь-потоп.

— Интересно, как это выглядит снаружи... — только и вымолвил Ганя.

Он не отрываясь смотрел на превращения «занавески», не пытаясь, впрочем, продолжать свои рискованные опыты. Да и не успел бы он ничего сделать: туман и вправду рассеивался, расползался, как облака под тем же самолетом, идущим на посадку. И сквозь белесую, уже прозрачную дымку привиделась картина столь странная, что впору было в самом деле звонить в психиатрическую клинику. Не стало ни двора с мальчишками и собаками, ни общественных гаражей, ни блочной коробки строящегося дома за ними. Перед окном (хоть оно-то осталось, не растаяло вместе с туманом!) действительно выросло дерево: дуб не дуб, но похоже, и листья почти такие же, и ствол, только побольше, помассивнее наших подмосковных, такой, как рисуют художники в изданиях пушкинских сказок. Не хватало только kota на цепи.

А дальше тянулась улица с двумя рядами домов по обочинам. Неширокая улица, сухая, выжженная солнцем земля с прибитой безветрием корочкой пыли. Одноэтажные деревянные аккуратные одинаковые дома: черепичные крыши, веранды без стекол, на окнах ставни-жалюзи. Между домами — такие же деревья, как у меня под окном. А дальше, за ними, начинался — или продолжался — дубовый лес, будто кто-то вырубил в нем просеку, чтобы выстроить этот маленький мертвый поселок.

Слово сказано: мертвый! В поселке не было видно лю-

дей: закрытые двери, закрытые ставни. По улице — обязательная примета маленьких поселений — не бродили разморенные жарой собаки, у порогов не грелись на солнце пеке коты. И даже пыль на дороге казалась ровной, словно ее много дней не касались ни нога человека, ни колесо экипажа.

Я намеренно подумал — «экипажа», а не «автомобиля»: кто знает, из какого времени этот поселок. Какой-то он придуманный, фантастический, книжный, как и дуб под окном.

И эта навязчивая фантастичность городка, как и фантастичность самой ситуации, почему-то успокоила меня, примирила с исчезновением дорогого моему сердцу индустриального пейзажа с гаражами и стройкой.

Я посмотрел на Ганю. Он сидел замороженный и как будто пришибленный: вся его деятельность со «стеной» оказалась ненужной и лишней. Ну в самом деле, зачем измерять прочность двери, перед тем как она откроется? Ан нет, ошибаешься, мил друг: а если не откроется? Ну кто знал, что станет потом с «занавеской»? Никто не знал. И в сложившейся ситуации юнец Ганя вел себя так, как подобает истинному ученому, даже если вместо диплома у него только зачетка с невысоким процентом пятерок. И вообще прочность двери никогда не лишне узнать: а вдруг она не вовремя закроется? Другое дело, что ни я, ни Ганя так ничего и не узнали...

— Что ты об этом думаешь, физик? — спросил я.

Он вздрогнул, как очнулся:

— Об этом? Тут не физик нужен, а психиатр...

— Ну-ну! — прикрикнул я на него. — Побольше фантазии, студент! А не веришь себе, надави на глаз пальцем. Если изображение раздвоится, значит, оно реально. Нет — галлюцинация. Способ старый, проверенный в борьбе с привидениями и миражами.

Ганя послушно надавил на глаз, сощурился.

— Раздвоилось, — сообщил он.

— Вот видишь, а ты сомневался. — Мы, кажется, поменялись ролями: теперь я исполнял обязанности деятельного бодрячка. — Пора продолжать опыт.

Ганя перестал давить на глаз.

— Как продолжать? — удивленно, но уже спокойно спросил он.

Я был рад его спокойствию: оно и мне придавало уверенности. Бодрячок бодрячком, но загадочные метаморфозы с законным пейзажем сведут с ума самого стойкого. А я себя к таковым не относил.

— Пойдем посмотрим, что это за поселок.

Потом я себя спрашивал не раз: почему мы полезли через окно, а не воспользовались более привычным путем? Может быть, пойдя мы через дверь, не было бы никаких загадок и приключений, а была б тетя Варя с вязаньем, и наш двор, и, главное, наш дом. Но балконная дверь приглашающе поскрипывала, и мы легко перемахнули через перильца, прыгнули на землю, подняв клубы пыли.

Она чуть подалась под ногами, спружинила, будто толстый резиновый мат, и шагать по этому мату было легко и приятно. Я прошел немного и обернулся. Видимо, на моем лице отразилось нечто страшное, потому что Ганя вскрикнул и тоже посмотрел назад. А ужаснуться было отчего: наша двенадцатизэтажная, облицованная плиткой кооперативная башня исчезла. Вместо нее стоял такой же, как и остальные, маленький дом с верандой, и только, в отличие от других, окно было открыто и в комнате виднелись занавески в цветочек (мои занавески), а на подоконнике все так же покоилась стопа рукописей.

Ганя дернулся к окну, посмотреть, проверить, но я остановил его:

— Не надо. Мы там были.

— Там ли? — усомнился Ганя.

— Там, там. Ты же помнишь: квартиру они не трогают. Успеем вернуться...

— Я сказал: «они». Но кто «они», я не знал. И не знал даже, почему я так сказал. Ну, сказал и сказал, нечего к словам придирааться! Для меня в тот момент казалось более важным внезапно появившееся чувство охоты, когда забываешь об опасности (возможной!), когда рвешься в неведомое не оглядываясь, не осторожничая. Я знал за собой грешок: отмахиваться от реальности, когда подворачивается стоящее дело, помнить только о нем. Дело у нас впереди было явно стоящим, тут уж я голову прозакладывал...

— А если не сможем вернуться? — все еще сомневался Ганя.

— Что ты предлагаешь?

— Не знаю... Ну, подождать...

— Эх ты, физик! Ты же сам говорил: ученый должен быть бесстрашным и решительным. По-твоему, лучше бесстрашно сидеть у окна и решительно смотреть на улицу, так, что ли?

— Да ладно,— сказал Ганя,— пошутить нельзя...

— Шуты осторожнее.— Я неторопливо пошел по пыльной дороге.

Ганя шел сзади и вздыхал: ему очень не хотелось уходить от дома.

Но понятие «дом» растяжимо: мы-то уходили от чужого особнячка, где лишь законные атрибуты напоминали о чем-то знакомом.

Мы шли по улице, и пыль от наших шагов висела в нагретом воздухе, медленно и неохотно опускаясь на землю. Жара стояла страшная: что-нибудь под сорок. А в нормальной Москве на нормальной Лесной улице градусник показывал нормальные двадцать пять. Ветер, похоже, сюда и не залетал: пыль лежала перед нами девственно-ровно, а на верандах, на крышах, на ступеньках ее не было, и листья гигантских дубов блестели, словно вымытые недавним дождем.

Мы пытались стучать в двери, пытались открыть окна, но неведомые замки оказались надежными, а вокруг не было даже палки, чтобы подцепить ставни, вырвать язычок замка, заглянуть внутрь: что там? Мы кричали, аукались, но даже эхо не отвечало нам: звук рождался и гас, будто воздух здесь играл роль звукопротектора.

Дома стояли строго друг против друга: восемь — по левую сторону, восемь — по правую. Наш — все-таки наш! — замыкал улицу с одного конца, за ним начинался лес. С другого — ее заканчивал такой же особнячок, отчего эти восемнадцать домов вместе составляли некое каре. Я не очень понимал замысел неведомого архитектора: такая планировка затрудняла дальнейшее развитие поселка.

Я невольно улыбнулся: привычная логика! Думаю об архитекторе, о развитии поселка — это естественно. А здесь нет жителей даже в этих домах, так куда же еще развиваться? И для чего тогда построено это каре?

Ответ напрашивался такой, что его не хотелось произносить вслух: Ганя засмеет, скажет, что я начитался

плохих фантастических рассказов. И будет прав. В самом деле, не для нас же посадили эти жилые грибы — нелепая версия, отбросить ее, забыть!

Версия и вправду оставляла желать лучшего. Мало того, что сам поселок казался бредом сумасшедшего, так я еще дополнял сей бред совсем уже фантастическими подробностями. Предположим — а это вполне возможный вариант, — мы попали в смежное пространство — время. Гипотеза, конечно, малореальная, но реальность кончилась вместе с дождем. Потом началась фантастика, а ее и должно объяснять фантастически.

Итак, смежный мир. Или даже не смежный — дальний, чужой. В конце концов, расстояние особой роли не играет, да и кто знает, как здесь измерять расстояния. Может быть и другое: мы находимся на другой планете, в другой галактике, а дождь — «занавеска» плюс окно моей квартиры — дырка в пространстве, неизвестно кем и зачем просверленная. Вариантов много, а ясно одно: это не Земля. Вернее, не наша Земля.

Но для смежного мира здесь тоже кое-чего не хватает. Прежде всего обитателей. Так сказать, сапиенсов. Иначе кто же построил этот поселок? И, судя по всему, эти обитатели должны быть гуманоидами, а точнее, просто людьми. Ибо только люди могут жить в людских домах: архитектура — вполне земная. Вот это меня и заставляло принять гипотезу смежного, земного, а не внегалактического мира: я не был антропоцентристом и не верил, что разумная жизнь во Вселенной повторяет нашу.

Как моя квартира соединилась с соседним миром, меня сейчас не очень интересовало. Мне хотелось понять, почему все-таки поселок пуст.

— Почему здесь никого нет? — Ганя словно подслушал мои мысли.

— Где здесь? — Вопрос провокационный, но необходимый: что парень думает о нашем путешествии?

— Как где? В поселке.

— А что это за поселок?

— Не знаю... — Ганя пожал плечами. — Похоже на среднеевропейский пейзаж.

Еще один вариант — попроще и менее фантастичный. Но все-таки:

— Из Москвы в Европу через окно?

— А что особенного? Нуль-переход.

— Нуль-переход — прерогатива фантастов. А ты у нас серьезный ученый.

— Нуль-переход — уже прерогатива серьезных ученых, — обиженно отпаривал Ганя, — пока, правда, на уровне домислов...

— И кто же его устроил, этот нуль-переход?

— Откуда я знаю? Может, кто-то ставит опыт. В МГУ, например.

— И объектом для опыта выбрал мое окно? Вероятность такого события практически равна чему?

— Нулю, — мрачно признал Ганя. — А как еще объяснить эту бредятину?

Я поделился с ним своими соображениями. Ганя внимательно слушал, иногда усмехался, а потом сказал:

— Бросайте журналистику. Идите в фантасты: у вас получится.

Я обозлился. Меня всегда раздражали самоуверенные молодые люди, признающие лишь то, что укладывается в их рационалистические мозги. Великий принцип «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» господствует над их разумом, не позволяя усомниться в неизблемости мира. Их мира, естественно. А он помещается в данном случае в непрочных корочках учебника физики. Ай да Ганя! Я-то считал его сумасбродом и фантазером (полезные качества для ученого), а он мгновенно заглож, столкнувшись с неведомым и непонятным.

— Пошли дальше, — сказал я сердито. — В последнем доме открыто окно.

В доме, замыкавшем улицу, было действительно открыто окно. Кто его распахнул? Обитатели дома или «святой дух»? В царстве сказки оба варианта вполне возможны. Я даже не стал строить догадки. Зачем? Проще подойти и заглянуть в него: вдруг да и увидим хоть какое-то объяснение.

Ну, объяснение не объяснение, а что-то увидим наверняка. Я побежал по дороге, подымая тучи пыли. Ганя обогнал меня, первым вбежал на узкую веранду, сунул в окно голову.

— Подожди! — крикнул я, чего-то испугавшись.

Он обернулся с какой-то странной улыбкой:

— Чего ждать? С нуля начали, к нулю и пришли.

Я оттолкнул его, посмотрел в окно и оторопел: стопка рукописей на подоконнике, занавески в цветочках, в глубине комнаты — письменный стол, заваленный черновиками, папками, справочниками, на столе — зеленая лампа кузнецовского фарфора, купленная женой в комиссионке на Горького. Короче, это была моя комната, точно такая же, которую мы покинули четверть часа назад в другом конце улицы.

Решение действовать пришло к нам одновременно. Не сговариваясь, мы бросились бежать назад по улице, толкаясь, втиснувшись в окно и ошалело посмотрели друг на друга: та же комната. **Моя** комната.

Итак, в поселке имеется две одинаковых квартиры в двух симметрично расположенных домах. Одна начинается поселок, другая завершает его. Или наоборот. Из одной мы начали путешествие по смежному (якобы) миру, в другой вполне можем закончить.

Что ж, это хорошая идея: на месте посмотреть, чем же отличается моя первая квартира от вновь обретенной.

Мы снова бежали по пыльной улице, снова лезли через окно, снова забыв о нормальном пути через дверь. Впрочем, в сумасшедшем поселке на двери лучше не рассчитывать: сами не открылись — никто не откроет.

Я заглянул в стол, придиричливо обошел комнату, вышел в соседнюю, открыл дверь на кухню. Ганя молча следовал за мной, ожидая решения. Наконец я закончил осмотр, сел в кресло, сказал разочарованно:

— Может быть, я чего-то не замечаю, но, по-моему, это моя квартира. Руку на отсечение...

— Не надо, — перебил Ганя. — Поберегите руки. Нас пока не отпускают.

Он сидел на подоконнике и смотрел на улицу.

— Кто не отпускает? — не понял я.

— Хозяева. Квартира ваша, а пейзажик их.

— Поселок, что ли?

— Если бы! — невесело усмехнулся Ганя. — Хотите полюбоваться?

Я уже устал сознавать, что оторопел или изумился. Все эти определения постоянно и неизбежно сопутствовали нашему маршруту. Поселка за окном не было.

Прямо от балкона-веранды начинался лес. Тот же самый лес, который окружал с четырех сторон каре особ-

нячков: дубы или псевдодубы в четыре обхвата, выпуклая, рельефная кора, блестящие большие листья, будто вырезанные из зеленой глянцевой бумаги, из которой так здорово клеить под Новый год елочные гирлянды.

— Может быть, это избушка на курьих ножках? — поинтересовался Ганя. — К лесу задом, к нам передом...

Юмор был невеселый, и я его не оценил. Пожалуй, у меня начинала складываться версия происходящего, вернее, не складываться, а только брезжить, слабо-слабо, еле заметно. Но я уже зацепил ее, теперь потянуть за кончик и вытащить. Но для этого требовалась кое-какая проверка.

— Ну-ка, полезай из окна, — сказал я Гане.

Ганя послушно перелез через балкон, прыгнул на землю и... пропал.

— Теперь обратно, — произнес я, казалось бы, в никуда, в темный лес.

Ганя возник из-за балкона, как Петрушка из-за ширмы, сел верхом на барьер, оглянулся, присвистнул:

— Опять лес!..

— А было?

— Поселок был. Прыгал вроде в лес, а очутился на улице. А теперь опять...

— Хочешь гипотезу? — спросил я. — Только все равно не поверишь...

— Поверю, — сказал Ганя и вошел в комнату, — я теперь всему поверю.

— Это один и тот же дом, одна и та же квартира, и можно считать, что мы из нее никуда не выходили, — выпалил я залпом.

— Неужто? — Ганя вложил в восклицание весь свой наличный запас сарказма. — А улица нам приснилась? И пыль, и дома, и лес? Так, что ли?

— Нет, конечно, все было и все осталось. Только, выйдя из дома, мы шли к нему же. Что-то вроде ленты Мебиуса, только сложнее. Может быть, какой-нибудь пространственный ее вариант; я не математик, не знаю. На такой ленте, если ты помнишь, — тут уж и я не пожалел сарказма, — можно двигаться от одной точки по внешней стороне ленты, а вернуться к той же точке, но уже с другой стороны — с внутренней. Так сказать, к изнанке точки.

— У ленты Мебиуса есть только одна сторона — в этом-то весь секрет. — Физик не преминул поправить зарвавшегося журналиста. — И потом, как бы мы тогда могли видеть одновременно два торцовых дома, если он всего один?

Тут уж я возмущился ненаблюдательности студента.

— Ты видел два дома? Лично я — нет. Из первого окна я заметил только дома по сторонам: четыре справа и четыре слева. А второй торцовый особнячок появился, лишь когда мы прошли пол-улицы. Не веришь — сбегай проверь.

Ганя не поленился: перелез через окно, исчез, а через несколько минут возник снова, запыхавшись, плюхнулся в кресло.

— Все точно. Там есть место, где из поля зрения сразу пропадает половина улицы. Сделаешь шаг — и только лес и небо. Шагнешь назад — и снова дома появляются. С другой стороны — то же самое. Как будто улица сначала в гору идет, да еще как круто, а потом — резко вниз.

— А на самом деле ни подъемов, ни спусков, так?

— Ровней не придумаешь, — согласился Ганя. — Вы объясняйте дальше, у вас здорово получается. Например, почему из того окна поселок виден, а из этого — лес?

Здесь в моей гипотезе было слабое место. Но раз уж у меня «здорово получается», главное — не молчать.

— Видимо, мы вышли с «лицевой» стороны дома, а пришли к «тыльной». Та же лента Мебиуса, помнишь: «изнанка точки...»

— Так что ж, выходит, здесь и заблудиться нельзя?

— Выходит, нельзя, — вздохнул я.

— А если в лес пойти? — не сдавался Ганя, почему-то возжелавший непременно заблудиться в этом мире.

— Думаю, опять в поселок выйдешь.

— Куда же мы попали?

Куда мы попали, я не знал. Пока не знал. Но зато как устроено это «куда», я мог растолковать.

— Это — мешок, Ганя. Мешок в пространстве. Пузырь на воздушном шарике. Пространство почему-то провалось, и мы попали в этот аппендикс. Как по нему ни броди, все равно выйдешь назад, в мою квартиру, а значит, в наше пространство. Может быть, разрыв противоположен и нам стоит поторопиться, а то зарастет дыр-

ка, и останемся мы навеки в этом мешке-поселке.— Я пошутил, но мгновенно сообразил, что в шутке крылась немалая доля правды: разрыв мог «срастись». А мне еще хотелось опознать хозяев мешка.

— Да погодите вы! Рано паниковать,— отмахнулся Ганя. Он уже загорелся и тоже начал фантазировать.— С мешком мне понятно: тут масса вариантов. Вот вы скажали: аппендикс. А вдруг таких мешков много? Они — как болезнь пространства, аппендиксы в организме Вселенной. И время от времени какой-то из них прорывается. Скажем, люди у нас пропадают, корабли, самолеты. Вон в «Технике — молодежи» раздел есть: «Антология таинственных случаев». Ищут какого-нибудь «Черного принца», а он преспокойно в мешке болтается, а?

А я еще упрекал его в рационализме и сухости!

— Не заносись,— успокоил я его.— В конце концов, кто из нас ученый? Давай-ка лучше поторопимся. Времени, может быть, действительно мало. Кто знает? А я хочу еще по домам походить.

— Они же закрыты,— напомнил Ганя.

— Это же моя квартира. А в моей квартире есть и топор, и дрель, и еще масса полезных слесарных инструментов.

Я принес из кухни ящик с инструментами и вооружился топором и ломиком. Интеллигент Ганя взял стамеску и клещи. Уже привычно мы вылезли из окна в лес, очутились на улице (все как в моей гипотезе!), дошли до ближайшего особнячка и разложили свое хозяйство на веранде. Начать решили с двери. Взломщик из меня неважный, и я охотно доверил работу Гане, привыкшему в институте ко всякому техническому ремеслу. Ганя долго возился, елозил по полу, тыкался носом в щели и, наконец, сообщил:

— Дверь не открывается.

— Слаб? — спросил я.

— На «слабо» дураков ловят,— обиделся Ганя.— Это же камуфляж: можете проверить.

Ганя не ошибся: дверь и вправду оказалась камуфлированной. Как будто кто-то неизвестно зачем вырезал аккуратные желобки щели в ровной и толстой стене, навесил петли и ручки: вот вам и дверь — для чужого глаза. Взламывайте, пытайтесь, крушите стену!

Но еще оставались ставни. Я подцепил одну из них ломиком, напрягся... Что-то хрустнуло в ней, и она легко распахнулась, закачалась на петлях, едва меня не задев.

— Учись,— сказал я Гане.— Здесь не через двери ходят; разве ты не заметил?

— Заметил,— согласился он.— Только куда ходят, не объясните?

Я было зарекся не удивляться, но тут прямо оторопел. В черном стекле где-то далеко внизу — будто мы смотрели не в дом, а из дома, да еще с высоты птичьего полета — я увидел знакомый двор, двенадцатизатную башню с двумя подъездами, кирпичные коробочки гаражей, недостроенное здание поодаль. Видно было плохо: как будто дымка за ним повисла, — как будто в телевизоре с отрегулированной резкостью. Внезапно эта странная картинка закачалась, расплылась, а серая дымка медленно густела, превращаясь в уже привычный туман, который час назад вот так же плыл мимо окна моей квартиры — настоящей, московской, а не этой — из пространственного мешка.

И вдруг что-то меня толкнуло: может быть, внутренний голос, как некогда писали в старых душещипательных романах. Я бросил ломик, крикнул Гане:

— Бежим! — и рванул по пыльной улице к особнячку с открытым окном, за которым — я все-таки надеялся на это! — была моя комната.

Мы успели. Перелезли через окно: я первый, Ганя за мной. Он только спросил сердито:

— Что за спешка?

Вместо ответа я указал на окно: смотри, мол, сам. А за окном качался серо-сизый туман, и снова, как и час назад, что-то в нем переливалось, искрилось, а потом туман загустел, застыл уже знакомой плотной «занавеской», и я торжествуя сказал Гане:

— Слушать старших надо, студент. Промедли мы еще, пришлось бы вековать в мешке невесть сколько. Хороша перспектива?

— С чего вы взяли? — Ганя все еще злился: не признавал миновавшей опасности, что ли?

— Видишь: разрыв зарастает. Мы бы сейчас его не прорвали.

Мы бы сейчас уже ничего «не прорвали» — нечего про-

рывать было. Я даже не заметил, как рассеялся туман «занавеска» — всего за несколько секунд. За окном моросил теплый солнечный дождь, и, конечно же, тетя Варя не ошибалась: дело шло к грибам. И пейзаж превратился в давно привычный, прочный, обжитой — тот, что мы успели напоследок увидеть в черном стекле камуфлированного дома.

Короче, мешка больше не было.

— Приехали с орехами, — глупо сказал Ганя.

Понятно: ему было жаль расставаться с чудесной и странной сказкой про пустой поселок, темный лес и синее-синее небо. Со сказкой, которая началась и кончилась в моей комнате. И кто знает, повторится она еще раз или останется всего лишь загадочным и радостным воспоминанием.

Повторится? Я усмехнулся нечаянной догадке: конечно, повторится, но не здесь и не с нами. И может быть, сказка будет другой — не про поселок и лес, а, скажем, про море и остров. Или про поле и дорогу во ржи — кто знает!

А ведь кто-то наверняка знает. Кто-то попадал в такие мешки; мы не первые, не верю, что первые. Да и вдруг догадка Гани верна: про «Черный принц», про таинственные случаи? В конце концов, пропажа инструментов для моей жены так и останется таинственным случаем: ведь не стану же я, в самом деле, рассказывать ей о нашем путешествии. А стал бы — не поверит. Да и кто поверит? Наверное, только тот, кто сам побывал в такой переделке, кто видел пустой поселок с фальшивыми особнячками.

А кстати, откуда они взялись, эти особнячки? Какой меценат построил их в пространственном аппендиксе, да и для чего весь этот камуфляж? Он создан человеческими руками — сомнений нет.

Только какого человечества — вот вопрос. Нашего? Сомневаюсь: мы бы знали о таком поистине сенсационном открытии. Шутка ли — новое свойство пространства! Да за сведения о них ученые головы прозаложат! А потом засекретят это открытие — тоже вариант. Но особая секретность предлагает особую бдительность, а два чудака с Лесной улицы беспрепятственно бродили по аппендиксу и не наткнулись даже на табличку с извечной надписью: «Вход запрещен».

Значит, человечество не наше.

Так чье же?

В конце концов, параллельность и множественность соседствующих рядом миров отнюдь не предполагает идентичность их во времени. Да и вообще идентичности быть не может. В одном мире есть будущий физик Ганя, а в другом он — химик или музыкант, а в третьем его и вовсе нет, а у папы-композитора родилась дочь по имени Виола, сокращенно от «виолончель». Мир, который строил поселок в мешке, далеко впереди нашего суетливого двадцатого века. Этот мир научился управлять пространством, научился использовать для себя даже его паразитарные образования вроде нашего мешка. Случайно попав в него, поселок не выстроишь — незачем и некогда. Значит, мешок используется постоянно. Для чего?

Сегодняшнее утро я вполне мог считать весьма продуктивным: никогда меня не посещало столько добротных идей. Мешок использовался для связи с соседними мирами, ясно? Просто и на поверхности, даже копать не надо. Два дома — вход и выход, а остальные — для наводки в пространстве, переходник, тамбур, смотровая площадка. А значит, дождь-потоп, «занавеска» из белого тумана не случайны, как не случайно наше путешествие по запыленной смотровой площадке. То есть само наше путешествие, конечно, не запланировано хозяевами мешка. Оно, так сказать, стало бесплатным приложением к основной цели неведомых экспериментаторов. А цель эта — наш мир.

Я бросился к двери, оставив Ганю недоумевать (потом объясню!), сбежал по лестнице (благо первый этаж: дверь с улицы просматривается!), тронул за плечо тетю Варю, которая по-прежнему вязала, поглядывая из подъезда во двор:

— Вы давно здесь сидите?

Она оторвалась от будущего носка или варежки, спросила подозрительно:

— А что?

— Да ничего особенного, — успокоил я ее. — Не видели, из нашей квартиры сейчас кто-нибудь выходил?

— Сначала вы с Ганькой туда-сюда шныряли, а минут пять назад еще двое каких-то вышли. Один в плаще, а другой в куртке — это в жару-то! Друзья, что ли?

— Друзья,— кивнул я и пошел домой.

Моя догадка оправдывалась: в наш мир явились гости. Один в плаще, а другой в куртке. Искать их бессмысленно и незачем: все равно им придется возвращаться и, вероятно, тем же путем. А значит, стоит их подождать.

Мы с Ганей так и решили. И дождались. Но это уже совсем другая история.

2. ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

Я писал серьезную статью для серьезного журнала о чрезвычайно серьезной научной проблеме. Серьезность моего положения заключалась еще и в том, что писать мне совсем не хотелось: ртутный столбик в термометре намертво застрял у цифры «тридцать три», а серьезная журналистика пока не позволяла заработать на домашний кондиционер воздуха. Вот почему я обрадовался, когда жена вернулась из похода по магазинам и сообщила абсолютно несерьезную новость:

— А сегодня на Бутырском валу машина пропала...

— Угнали, что ли? — поинтересовался я.

— Да не угнали — пропала. Ехала себе по Ново-Лесной, а у поворота на Бутырку исчезла, как растаяла.

— Какой марки машина? — почему-то спросил я.

— Какая разница! — возмутилась жена. — Я серьезно, а ты паясничаешь. Пойди посмотри сам, сейчас там как раз милиция колдует...

Это был хороший предлог для того, чтобы не работать. Я закрыл пишущую машинку и не спеша пошел к месту происшествия, внутренне убежденный в том, что жена наверняка чего-нибудь напутала. А собственно, как же иначе? Растаявшая в воздухе машина — это мистика. А милиция мистикой не занимается. Ее стихия — реальные действия, подробно описанные в Уголовном кодексе.

На углу Ново-Лесной улицы и Бутырского вала толпились любознательные. Движение было перекрыто. Я протолкался вперед и увидел двух милиционеров, один из которых неторопливо сворачивал желтую ленту рулетки, а второй что-то сосредоточенно писал в блокноте. Еще

двое в штатском стояли около белой «Волги» и переговаривались вполголоса. Я прислушался и поймал обрывки фраз:

— ...а может, не было машины?

— Свидетели не врут... след торможения...

— ...позвонить в институт... Опять эта мистика...

Я был неправ: милиция иногда занималась и «мистикой», судя по невольному подслушанному слову. Расспросив соседей, я выяснил, что час назад здесь действительно исчез автомобиль марки «Москвич-407» с номерным знаком «ЮАИ 42-88», цвет голубой. Исчез он как раз в том самом месте, где кончался четко отпечатанный на асфальте след протекторов: видимо, водитель почему-то резко затормозил, хотя до поворота на Бутырку оставалось еще метров десять — пятнадцать.

Свидетели происшествия, возбужденные общим вниманием, охотно делились впечатлениями. Свидетелей было четверо: старушка с авоськой, небритый мужчина в синей майке, хорошенькая девица лет двадцати и мой сосед по лестничной площадке студент-физик Ганя. Последнее, впрочем, меня не удивило: Ганя обладал феноменальной способностью попадать в самые фантастические ситуации. Нормальный человек, вроде меня, страдал бы от этой невольной «способности», а Ганя искренне получал удовольствие, суетился, что-то придумывал — словом, вел себя, как классическая рыба в классической воде.

«Моя милиция» села в «Волгу» и уехала. Потерявший зрелище любознательный народ постепенно и неохотно расходился. Ганя заметил меня и радостно заорал:

— Видали?

— Не видал,— сознался я.— А что?

Он подбежал ко мне, а хорошенькая девица-свидетельница почему-то последовала за ним и встала поодаль, выжидающе глядя на нас.

— Это Люда,— небрежно сказал Ганя и, сочтя объяснение исчерпывающим, затараторил: — Мы с ней шли ко мне, остановились хлебнуть квасу, а бочка заперта, тетка ушла куда-то, интересно, на что начальство смотрит, а «Москвич» прет за сотню, я еще издалека заметил, думал, псих какой-то, и вдруг — на тормоза изо всех сил, я обернулся, а он исчез!

Всякий поток нуждается в плотине. Я поймал паузу в Ганином выступлении и влез:

— Сразу?

— В том-то и дело, что нет. Постепенно. Быстро, конечно, но все-таки не сразу. Как будто в стену вошел.

— И ты стоял и смотрел? — не поверил я.

— Я-то? — обиделся Ганя. — Я сразу туда бросился.

— И тоже исчез?

— Как видите, нет, — тяжело вздохнул Ганя: ему явно хотелось исчезнуть вслед за машиной.

— Что же там было?

— Ничего не было. Улица как улица. Я на том месте полчаса топтался, пока милиция не приехала.

— А кто ее вызвал?

— Тип в майке. Людка бабусю в чувство приводила: старушка чуть в обморок не свалилась — не по ней зрелище, а мужик в автомат побежал звонить.

— В милиции сразу поверили?

— Он говорил: сразу. Только, по-моему, соврал.

— Почему ты так думаешь?

— Он минут десять звонил — это в милицию-то, по «ноль-два»! А потом они приехали, а он сбежать хотел, да я не позволил.

Я вспомнил могучую фигуру «типа в майке» и спросил с сомнением:

— Силой задержал?

— Силой убеждения, — засмеялся Ганя. — Он сам милиции до смерти боится: ясное дело — алкаш.

Слово «алкаш» на цветистом Ганином языке означало «алкоголик». Общась с Ганей довольно давно, я уже не нуждался в переводчике. Однако меня интересовало сейчас поведение милиции, явно не привыкшей к такому способу исчезновения автомобилей. На месте дежурного по отделению я бы не поверил «алкашу» даже за эти десять минут. В самом деле, звонит вам некий шутник и сообщает, что в городе только что растаял «Москвич». Вот так просто и растаял, растворился, пропал на глазах. Да я бы его и слушать не стал, трубку бросил. А «алкаш», видимо, обладал гениальным даром убеждения, если в милиции сразу приняли на веру его фантастическое сообщение. Или...

Впрочем, «или» требовало проверки.

— Тебя допрашивали? — спросил я Ганю.

— Расспрашивали, — поправил он и добавил: — У меня сложилось впечатление, что они совсем не интересуются этим делом. Спрашивали, какой марки машина и кто за рулем был. Только один полюбопытствовал, не заметил ли я, сколько времени исчезала машина.

— А ты?

— Заметил: три секунды.

— Откуда такая точность?

— Я считал, когда она таяла. Успел до двух досчитать да еще секунду накинул, потому что не сразу начал.

Я никогда не уставал поражаться Ганиной необычности. Ну скажите: разве придет вам в голову засекасть время, если у вас на глазах пропадает автомобиль? Да никому не придет, нелогично это, а вот Ганька засек, пожалуй сам не ясно представляя, зачем он это делает.

— И как же на это отреагировал Пинкертон?

— Как? — Ганя наморщил лоб, вспоминая, потом присвистнул удивленно: — Он сказал: «Вдвое меньше». Значит...

— Подожди, — перебил я его.

Сзади стоял «тип в майке» и с интересом прислушивался к разговору.

— Что-нибудь хотите? — вежливо поинтересовался я.

Он отрицательно мотнул головой, двинулся прочь, смешно косолапя — этаким «Бывалый» из фильмов про пса Барбоса, — скрылся за пустой квасной бочкой и, по моему, затаился там.

— Пошли отсюда, — сказал я. — Дома поговорим.

К себе я не заходил, прошел прямо к соседям. Ганя отправился на кухню варить кофе, а Люда села напротив меня в кресло и уставилась в окно неподвижными нарисованными глазами.

— А что вы видели? — Я завязывал светский разговор.

— Я видела почти то же, что и Ганя, — отчеканила Люда, помолчала и вдруг, превратившись из мраморной Галатеи в любопытную девушку, спросила: — Вы поняли, что это значит: «вдвое меньше»?

— Это значит, — разъяснил я, — что машина, исчезнувшая в прошлый раз, «таяла» не три секунды, а шесть.

Я знал, что говорил. В милиции не удивились на пер-

вый взгляд идиотскому телефонному сообщению. Значит, удивление было раньше. Когда? Вчера, три дня назад, в прошлом месяце. Короче, когда на исчезновение автомобиля понадобилось шесть секунд. Стало быть, в Москве пропадают машины. Пропадают бесследно и загадочно, вопреки всяким законам логики. Да при чем здесь логика: этот феномен даже физика не объяснит. А стало быть, действует не вор-одиночка и не шайка преступников (там-то все реально, понятно и, в конце концов, наказуемо!), а некая «сверхъестественная» сила, которую милиции не поймать. В последнем я был твердо убежден: попробуй излови невидимку — не уэллсовского (во плоти и крови), а вообще несуществующего... Тут я поискал определение этому несуществующему, не нашел и спросил девушку Люду:

— Вас тоже расспрашивали о происшествии?

Она усмехнулась презрительно:

— Нет, конечно. У меня же на лице написано: дура дурой. Ну что такая расскажет, если все и так в один голос твердят: исчезла, растаяла, растворилась...

— А вы?

— Я кивала, пока Ганька разорялся, поддакивала.

— Значит, могли что-то добавить?

— Могла.

— И не добавили?

— Зачем? Меня не спрашивали, а я не навязываюсь...

Тут уж я возмущился. Мало того, что она увидела нечто, не замеченное даже вездесущим Ганей, она предпочла промолчать, а тем самым, быть может, притормозить следствие. В моей голове уже мелькали обличительные фразы о гражданском долге, о честности и правдивости, о высокой сознательности, наконец, но высказать их я не успел. Она чуть наклонилась ко мне, спросила негромко:

— Вас как зовут? Ганя не счел нужным познакомить нас...

— Володя, — ответил я.

— Так вот, Володя, я — физик, как и ваш приятель. Но, в отличие от него, я не люблю делать поспешных выводов даже из того, что я видела или щупала. Тем более, не очень-то я уверена в том, что видела...

Я несколько опешил: все сказанное ею казалось разумным во-первых, расчетливым во-вторых, логичным в-третьих и уж никак не соответствовало кукольной внешности девицы. Про таких длинноволосых волооких «хиппи» любят говорить, как о пропащих, безнадежных и никчемных людишках. Девушка Люда несомненно отличалась от подобного стандартного образа молодой особы. И, честно говоря, неплохо зная Ганю, я не очень представлял себе, что его привлекает в девушке: современная внешность или холодный ум, которого порой так не хватало ему самому.

— Что же вы видели? — уважительно поинтересовался я. — Поделитесь всеведением...

— Какое там всеведение, — отмахнулась она. — Простая наблюдательность. Водитель не зря затормозил. Стекло в машине было спущено, и я заметила его лицо: оно выражало даже не удивление — ужас. Значит, он видел нечто, не видимое нам.

Это уже было «что-то». Как бы загадочно ни выглядело таинственное исчезновение для нас, зрителей, для пропавшего автомобилиста все было реально. Ну, я не отрицаю, конечно, возможности галлюцинаций, каких-то видений, «внезапно разверстой бездны», но ведь видел он эту бездну, видел и испугался, если девушка Люда не сочиняет.

— Я не вру, — сказала девушка Люда и засмеялась, наслаждаясь моим изумлением. — Не бойтесь, не бойтесь, я не телепат. Просто вашей мимике сам Марсель Марсо может позавидовать: все понятно. Жене вашей, должно быть, хорошо...

У моей жены на этот счет имелось другое мнение, поэтому я быстро вернул разговор в наезженную колею:

— Два вопроса, Люда: почему вы не уверены в том, что видели, и почему все-таки ничего не сказали следователю?

— Не сказала как раз потому, что не уверена. А не уверена... — тут она помялась, — он ехал быстро, могло и померещиться, и потом меня этот тип отвлек...

— Какой тип?

— Ну свидетель... Мордатый, в майке...

— Как отвлек?

— Он у аптеки стоял, довольно далеко от переkre-

стка — метров сорок, пожалуй. А когда водитель тормозить начал — он с визгом тормозил, у Савеловского слышно было! — этот тип побежал к перекрестку. И успел добежать до того, как машина исчезла. Ничего себе скорость?

Я прикинул: сорок метров за три секунды... Мировой рекорд на сотке при такой скорости будет равен где-нибудь секундам восьми. И впрямь фантастика!

— Это раз, — продолжала Люда. — Но есть и два! Когда «Москвич» начал таять, тип в майке почему-то хлопнул в ладоши.

— Может, от удивления?

— Может, от удивления, — холодно согласилась Люда. — Я ведь не обсуждаю его действия, а лишь объясняю, что меня отвлекло. Хотя это и странно, не правда ли?

Что правда, то правда: действия «типа в майке» навели на размышления. Но размышления я решил оставить на потом. Антиобщественный поступок Люды следовало достойно исправить.

— Будем звонить в милицию. Иногда даже домыслы что-то подсказывают следствию.

— Пожалуй, вы правы, — согласилась Люда, но тут же добавила: — Только не думайте, что вы меня убедили.

— Я не думаю. Просто в вас проснулась гражданская совесть.

— Ах, при чем здесь совесть, — поморщилась Люда: в отличие от Гани она явно не любила красивых фраз. — Я вот о чем подумала: если поведение «типа» как-то связано с исчезновением машины, то следует подробно восстановить картину первого случая.

У Люды, как говорится, «котелок варил». Не было ли тогда среди свидетелей первой пропажи (или они сами его заметили) такого же «типа в майке»? Ну не обязательно такого же, может быть, другого — в рубашке, к примеру. Но чтобы он так же странно реагировал на происшествие. В конце концов, должна же как-то объясняться эта фантастика, научно объясняться, без скидок на происки высших сил. Вот и следователь сказал что-то про институт, в который надо позвонить, я сам слышал. Значит, милиция тоже ищет **научное** объяснение...

Я протянул руку к телефону, и в этот момент он зазвонил сам.

— Снимите трубку! — заорал из кухни Ганя. — У меня кофе на плиту убежал.

— Вот безрукий! — в который раз посетовал я и снял трубку.

— Володя? — поинтересовались на том конце провода. Голос был мягкий и вкрадчивый, и я не узнал его, не вспомнил, спросил раздраженно:

— Кто говорит?

— Какая разница, Володенька? — удивился голос. — Ну, знакомый, незнакомый — разве это меняет дело. Я, собственно, вот зачем вас беспокою: не надо ходить в милицию. И звонить тоже не надо.

Терпеть не могу телефонных розыгрышей. Я так обозлился, что даже не понял: «голос» отлично знает, о чем мы говорили с Людой.

— Слушайте, — заорал я, — кто вы такой, чтобы давать советы?

— Тихо! — оборвал меня голос в телефоне. — Не на базаре; орать-то зачем? Я же не настаиваю, я только советую, а вы вольны не принять совет. Хотя и зря: что вам скажут в милиции? Ничего не скажут. А я скажу: был среди свидетелей первого исчезновения маленький старичок в панамке, некто Кокшенов Михаил Михайлович. Так он, говорят, крикнул что-то, когда машина пропала. И, между прочим, не «Москвич» разваленный пропал, а новенькие «Жигули». Вот так-то, Володя, — отечески добавил голос, и в трубке щелкнуло. Я ошалело смотрел на нее.

— Вы положите трубку, — сказала Люда. — Отбой. Слышите, гудки...

Я осторожно положил трубку на рычаг, сел оглушенный: ну и дела...

— Может, все-таки расскажете, кто звонил? — спросила Люда, и Ганя, появившийся в комнате с подносом в руках, тоже спросил:

— Кто это был?

— Не знаю, — только и сказал я.

А что, я и в самом деле не знал моего собеседника. А он меня знал. И что самое странное, он отлично знал все, о чем мы здесь говорили: и о милиции и о свидетелях. Я невольно подумал, что фантастика не закончилась с исчезновением машины. Она продолжалась и с телефонным

звонком — как раз в тот момент, когда я решил позвонить в милицию. Она продолжалась и в разговоре, и даже в ехидном сообщении о старичке в панамке: пользуйтесь, мол, дорогие товарищи, ищите, если сумеете. Тут меня осенила совсем уже вздорная мысль.

Я встал и посмотрел в окно: за столиком, намертво врытым в сухую землю, резвились доминошники. «Рыба!» — кричали они и с силой хлопали о выщербленную крышку стола пластмассовыми костяшками. А может быть, они кричали не «рыба», а, например, «дубль-три» — не знаю, не специалист. Да и неважно это. А важно то, что среди них резвился и орал тот самый «тип в майке», который час назад побил мировой рекорд в беге на коротких дистанциях.

— Так я и думал! — застонал я и упал в кресло.

— Что вы думали? — встревожился Ганя.

— Ты в окно посмотри — поймешь.

Он поставил на письменный стол поднос с кофейником и чашками, высунулся в окно. Люда тоже не поленилась последовать моему совету. Небольшим удовлетворением моей психике послужило явное изумление, исказившее ее невозмутимое кукольное личико: она узнала свидетеля.

А Ганька не удивился. Он не присутствовал при нашем с ней разговоре и не связывал «типа» с преступлением. Я не оговорился: именно с преступлением, иначе как же назвать эту историю?

— Ну и что? — спросил Ганя. — Может, он здесь живет.

Это была здравая мысль, и ее следовало проверить.

Лифтерша тетя Варя обладала неоценимым достоинством: она знала наизусть анкетные данные всех жильцов нашего кооперативного и соседнего ведомственного дома. И, как справочная «09», всегда готова была поделиться своими знаниями с хорошим человеком. Я, с точки зрения тети Вари, хороший человек: семейный и с положением. Естественно, Ганьку она даже за человека не считала. Вот почему на свидание с лифтершей отправился я, хороший человек.

— Как здоровье? — спросил я вежливо.

Тетя Варя оторвалась от вязания (по-моему, она всю жизнь вязала и вяжет один бесконечный носок. Или ва-

режку, но тоже одну и ту же: та же пряжа, те же спицы, та же сосредоточенно-вдумчивая поза) и спросила недипломатично:

— Узнать чего хочешь?

Я не стал отрицать очевидного и сказал, что интересуюсь четверкой доминошников: дескать, давно мечтаю изучить эту увлекательную игру, ищу подходы к сборной двора.

— Какая же это сборная? — возмутилась тетя Варя. — Тут только Мишка-слесарь и Неустроев из тринадцатой квартиры с нашего двора. Тот лысый — Мишкин приятель из Черемушек. А мужик в майке и вовсе не наш. Первый раз вижу. Ты уж до субботы потерпи: вот тогда и вправду сборная играть будет. И не одна...

Я обещал лифтерше потерпеть до субботы и вернулся в квартиру.

— Ну как? — сразу спросил нетерпеливый Ганя. Своим поспешным любопытством он здорово помогал Люде сохранять нелюбопытную сдержанность.

— Никак, — ответил я и процитировал лифтершу: — «Мужик в майке и вовсе не наш».

Люда, видимо, уже познакомила Ганю с нашими предположениями, потому что он стукнул кулаком по столу — кофейные чашки подпрыгнули! — сказал расстроено:

— Следит за нами, подлец!

Вероятно, так оно и было: сначала он крутился около нас там, на месте происшествия, потом явился во двор. Даже загадочный телефонный звонок я готов был приписать «типу в майке». И в самом деле, кто же еще знал о том, что мы интересуемся исчезновением машины? Да никто не знал. А «тип» подслушал наш разговор у квасной бочки. Более того, ухитрился подслушать его продолжение в Ганиной комнате. Как он это сделал — еще одна загадка, думаю, непосредственно связанная с первой. Но если первую разгадывает милиция с каким-то научным институтом, то вторая — целиком наша. И никто не сможет помочь нам ее расследовать...

— Слушайте! — Ганю осенило. — Давайте все-таки позвоним в милицию. Дозвонимся — хорошо, сообщим о «типе» и о его угрозах. А если опять встречный звонок помешает, значит, «тип» и вправду телепат.

— А я его покараулю,— сказала Люда.

Действительно, если вкрадчивый телефонный голос принадлежал нашему преследователю, то, стало быть, в тот момент он в домино играть не мог. Как я ни уважаю его предполагаемые сверхчеловеческие способности, в раздвоение личности не поверю, не убеждайте. Я снова подошел к телефону и снял трубку. В ней застыла тишина — ни гудков, ни привычного потрескивания. Я пощелкал рычагом — никакого эффекта.

— Похоже, у тебя телефон не работает,— сказал я Гане.

Ганя тоже послушал тишину и высказал предположение:

— Это он его поломал.

— Не говори глупости,— возмутился я.— Как, по-твоему, он мог это сделать?

— А так: позвонил и отключил.

— Значит, он всемогущ?

Тут рациональная Люда неожиданно встала на защиту Гани:

— Вы отрицаете такое предположение? Лично я — нет. Он, конечно, не всемогущ, но может значительно больше, чем обычный человек.

— Новый супермен,— сыронизировал я, но ирония вышла какой-то слабой и неубедительной.

— Нет, не супермен. Но почему бы вам не предположить, что он так или иначе связан с пропажей машины? Что это не вульгарная кража, а хорошо поставленный опыт.

— Был бы опыт, милицию вызывать не пришлось бы...

— А если это не наш опыт?

— Чей же тогда? Ученый-маньяк из некоей капстраны, жаждущий мирового господства, так, что ли?

— Глупо,— сказала Люда,— пошло и глупо. Пишите об этом в своих рассказах, может, кто и поверит.

— А кто поверит в ваши бредни об экспериментаторах из чужого мира? — Я обозлился и не заметил, как высказал собственную догадку: Люда еще не успела ничего объяснить. Конечно, она тут же воспользовалась моим промахом:

— Вот видите, вы сами верите в эти «бредни». Верите, верите: это же ваша идея.

Ганька гнусно хихикнул и сунул кулак в рот: сдерживался воспитанный мальчик. Я хотел его осадить, но понял, что уже остыл, перегорел. Да и догадка моя не лишена оснований, если вспомнить о недавних приключениях в пространственном мешке, связывающем два мира, две Земли. Но раз так, значит, пропажа машин — запланированная часть опыта. Или незапланированная, так сказать, побочный эффект. Непредусмотренный расчетами. Но и в том и в другом случаях они должны вернуться назад, иначе пропадает тайна эксперимента. А в сохранении тайны они — участники опыта — явно заинтересованы. Подумайте сами: мы двое — Ганя и я — случайно открыли существование пространственного мешка, волею чего-то непонятого соединившегося с моей квартирой. Будем считать — это только рабочая гипотеза, — что наше невольное «открытие» совсем не входило в планы тех, кто управляет «мешком». Однако два свидетеля еще не опасны: кто им поверит, да и видели они, в общем, не слишком много, чтобы их выводы переросли зыбкий уровень домыслов и догадок. Точно так же рассуждали мы с Ганей, когда решили не рассказывать никому о нашем приключении. Ганька слова не сдержал, поделился с Людой. Но сие не беда: она девочка умная и попусту не болтает.

Но кто бы мог подумать, что свидетелем «побочного эффекта» с машиной окажется тот же Ганя? И что он немедленно посвятит меня в суть происшедшего. Это совпадение может вызвать у нас соответствующие ассоциации, натолкнуть на разумные выводы. Причем только нас двоих натолкнуть: ни милиция, ни товарищи из института не гуляли по улочке с двумя рядами дощатых домов, а стало быть, никак не связывают пропажу машин с существованием некоего соседнего мира. А мы связываем — это несомненно. Значит, мы стали опасны. Значит, за нами нужно последить. И последнее «значит» — «тип в майке» оттуда...

— Ну-ка проверь телефон,— сказал я Гане.

Телефон молчал по-прежнему, и нам оставалось только одно. Во всяком случае, мне так казалось, что одно. Я подошел во дворе к доминошникам и спросил тихонько «типа в майке»:

— Можно вас на минуточку?

Он обернулся испуганно, но, увидев меня, а позади — Люду с Ганей, заулыбался:

— А-а, свидетели... Ну, чего?

Он подошел к нам, смешно косолапя и переваливаясь — грузчик или матрос, где ему сотку за восемь секунд одолеть! — спросил (вот тоже: «подошел и спросил»):

— Может, обсудить происшествие желаете? Так без полбанки трудненько будет...

— Обойдетесь,— строго сказала Люда, а вечно спешащий Ганька перебил ее, бухнул:

— Вы зачем нам телефон испортили?

Даже я оторопел от Ганькиного заявления, а «тип» — так тот прямо глаза на лоб вытаращил:

— Какой телефон? Ты что, малый, в уме?

— Он шутит,— исправила положение Люда,— он у нас шутник, балагур. Вы не обращайтесь внимания.

— Почему не обращать,— заорал обиженный Ганя,— еще как обращать! — Он рванулся к «типу», схватил его за майку: — Ты почему машину увел, гад?

Я невольно оглянулся: не слышит ли кто? Но двор в эту жаркую обеденную пору был пуст, а трое оставшихся доминошников, собрав черные костяшки игры, уже шли по своим квартирам.

«Тип в майке» легко отодрал от себя Ганины руки, сказал высокомерно:

— Опомнитесь, юноша! Мне странно слушать ваши намеки... — И черт бы меня подрал, если он говорил не тем знакомым баритоном, который полчаса назад звучал в телефонной трубке.

А «тип» словно понял что-то, подмигнул мне хитро — мол, вспомнил, Володя, ну и молодец! — хлопнул в ладоши и... пропал. А потом появился вновь — уже у ворот на улицу, помахал нам и скрылся в воротах. И догонять его было бы так же бессмысленно, как бессмысленно оказалось Ганькино упрямое любопытство.

Но Ганя, видно, считал иначе. Он рванулся вперед, протопал по высохшему газону, пугнул из-под куста дворовую бесхозную кошку и вдруг притормозил у ворот, оглянувшись растерянно, потом махнул рукой и... тоже пропал.

Этого я перенести не мог, крикнул оторопевшей Люде:

— Стойте здесь!

Побежал к воротам в предвкушении чуда и не ошибся: чудо начиналось сразу от полутемной, прохладной даже в тридцатиградусную жару арки ворот. За ней — как это было всегда! — не шумела Лесная улица, за ней стояла сонная и тугая тишина, да и сама арка напоминала скорее вход в подземный гараж: асфальт, полого уходящий вниз, непрозрачная темнота, чуть подсвеченная тусклым вольфрамом электрической лампочки, подвешенной к своду.

Я осторожно вошел в этот «гараж», в темноту. Собственно, особой темноты не было: тоннель — а больше всего это сооружение походило на тоннель — освещался слабым желтоватым светом, как и у входа. Только у входа висела лампочка, а здесь свет шел ниоткуда, что в моем представлении вполне соответствовало атрибутам чуда. Идти было легко, и я довольно быстро пробежал метров двести до первого поворота. Отсюда под прямым углом уходил в желтую темноту такой же тоннель. Возвращаться было глупо, да и Ганька явно ушел дальше, и я свернул в новый коридор-тоннель. Он тоже тянулся не более двухсот метров и в конце так же под прямым углом заворачивал в сторону. Потом я жалел, что не осматрел как следует стены и пол тоннеля, из чего они сделаны. Но тогда мне было не до осмотров: я торопился догнать Ганю. То есть это я так себя убеждал, а на самом деле мной владело то боязливое любопытство, которое иногда приводит к поразительным открытиям.

Поразительное открытие я сделал в конце третьего двухсотметрового отрезка. Коридор внезапно сузился и посветлел. Белый квадрат обрезал его по периметру. Я вошел в квадрат и... натолкнулся на Ганю. Ганя стоял посреди незнакомой комнаты и смотрел в окно. Из окна виднелись последние этажи нашей кооперативной башни, и я понял, что, если подойти к окну, увидишь пустой двор, засохшие клумбы на желто-зеленом газоне, поодаль — коробочки гаражей. Короче, мы попали в одну из квартир соседнего дома, отделявшего наш двор от гомона Лесной улицы. Вот так: вошли в арку под этим домом, долго и нудно спускались куда-то вниз, а очутились в том же доме, но несколькими этажами выше.

«Как мы здесь очутились?» — я только хотел спро-

силь, но не успел: Ганька приложил палец к губам, зашипел:

— Тс-с!

Где-то, видимо на кухне, пела женщина. То есть пением это назвать было трудно: женщина что-то готовила и вполголоса сама себе напевала.

— А сейчас замесим тесто...— натужно голосила она. Бухнуло что-то тяжелое.— Ох, тяжелая кастрюля, просто руки оборвались!— Потекла вода из крана, звонко разбиваясь об эмаль раковины.— Сейчас мы руки вымоем и полотенцем вытрем!— Женщина перешла на плясовой ритм, и Ганька махнул мне: мол, идем, больше стоять нельзя.

На цыпочках мы вышли в переднюю. Женщина на кухне перестала петь. Мы замерли. В желудке у меня противно заныло, похолодело, лопнуло и оборвалось: я впервые чувствовал себя вором. Чувство оказалось мало-приятным. Женщина помолчала секунду и снова запела:

— Видно, померещилось что-то от жары...— Подумала чуть-чуть, закончила в рифму:— Отдохнуть мне надо бы, видно, до поры.— Засмеялась, довольная.

Нас совсем не устраивал ее предполагаемый отдых. Я толкнул Ганю в бок. Он дернулся, потянул за язычок замка. Мы снова замерли в страхе, но дверь не скрипнула, открылась бесшумно, и мы выскользнули на площадку, бросились бежать по лестнице, уже не осторожничая, громыхали подошвами по ступенькам. Внизу остановились, перевели дыхание. Я спросил:

— Какой был этаж?

— Десятый.— Ганя облизнул пересохшие губы.— Ну и дела...

Глубокомысленное замечание его как бы подвело черту под нашими приключениями: ворота вновь стали воротами и за ними все так же шумела улица, громыхал трамвай номер пять и орал про футбол любители крепких напитков. Люда послушно стояла там, где я ее оставил, ждала.

Доминошники снова заняли позицию за столиком под березой, но это были другие доминошники, и нашего «типа» среди них не оказалось.

— Чудо окончилось,— сказал я,— пошли подводить итоги.

Мы расселись по креслам в Ганиной комнате, выпили в молчании остывший кофе, закурили вкусные сигареты «Пэл мэл», которые Ганя взял из кабинета отца-композитора, и я рассказал Люде о темном трехсекционном тоннеле за аркой ворот.

— Что ты, физик, думаешь о нашем путешествии?— Я намеренно начал с путешествия, оставив истории с машинами на потом.

— Мы опять выскочили из нашего мира.

— Согласен. Куда выскочили?

Он пожал плечами:

— В очередной «мешок».

— Предположим. Но тебе не кажется, что «мешок» на этот раз искусственного происхождения?

— Кажется. Только зачем он нужен?

— Разумный вопрос. Давай-ка ответим на него, а потом подумаем о том, как тоннель связан с пропавшими машинами.

— Думаете, связан?

— Конечно.

Тут Люда подала голос:

— Меня не оставляет ощущение, что «тип в майке» пошутил с вами. Устроил вам прогулку по четвертому измерению.

— Основания?— Я был строг с оппонентами.

— Очевидная бессмысленность путешествия!

— Тогда цель шутки?

— У шутки может не быть цели, на то она и шутка. Но, если хотите: чтобы вы, наконец, прекратили лезть в чужие дела.

Люда была невежлива, но справедлива. Мы, конечно, мешали кому-то и нам сунули «конфетку»: полакомьтесь, ребятки. Но «конфетка» эта казалась мне вынужденной из той же коробки, что и случай с машинами. Логика такова: вы хотите узнать, как это делается? Пожалуйста, погуляйте по тоннелю. Вот так и машины пропадали, понятно?

— Не очень понятно... Как же все-таки пропадали?

Я поделился сомнениями с ребятами. Люда в ответ только плечами пожала:

— Вас принцип интересует? Да разве в нем дело? Главное — цель опыта. А она-то мне неясна.

— А принцип ясен?— Тут даже Ганя не выдержал.

— Ясен.— Люда оставалась невозмутимой.— Например, треугольник Пенроузов.

Сумасшедший Ганя вскочил с кресла, обнял Люду, чмокнул в щеку, заорал радостно:

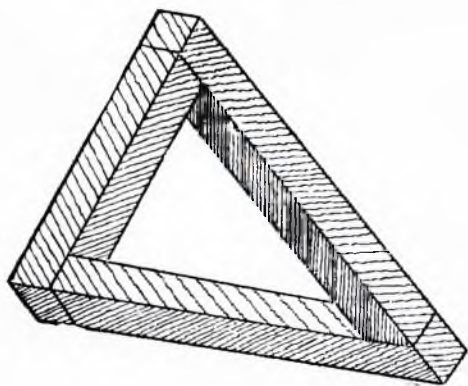
— Ну, Людка! Ну, молодец! Это же гениально просто, а я, дурак, не допер...

Я тоже «не допер» и тоже почувствовал себя дураком.

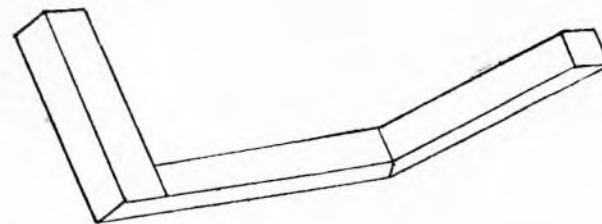
— Ладно, гении, сдаюсь. Объясните непосвященному вашу абракадабру.

Видно, потому, что догадка пришла не к нему, а к Люде, Ганя не стал выламываться, по своему обыкновению, и объяснил:

— Это одна из так называемых «невозможных фигур». Представьте себе модель нашего тоннеля: два перпендикулярных бруска в одной плоскости. Третий брусок перпендикулярен второму и образует с ним другую плоскость, тоже перпендикулярную первой. Если посмотреть на эту фигуру в определенном ракурсе, то наш глаз соединит в одной точке два свободных бруска. Получится треугольник, вернее, проекция на плоскость треугольника, составленного из прямоугольных брусков.— Тут Ганя вооружился карандашом и нарисовал «невозможную фигуру». Вот эту, я сохранил рисунок:



Потом перевернул листок бумаги и начертил мне еще одну картинку. Вот эту:



— А вот так она выглядит на самом деле.— Ганя любовался на рисунки.— Здорово, а?

— Здорово,— согласился я.— Очень впечатляет. Но какое отношение все это имеет к нам?

Ганя хотел было ответить, но вмешалась Люда.

— Я считала, что вы соображаете быстрее,— презрительно сказала она, и я молча проглотил явное оскорбление: мне хотелось узнать, что они придумали.— Ваш тоннель — трехмерная модель четырехмерной фигуры, с помощью которой машины перемещались в пространстве.

Я, конечно, был глуповат, а она умна, образованна, пытлива, изобретательна и еще миллион определений из толкового словаря. Я был глуповат и нахален. Я честно признался:

— Ничего не понял. Как мы попали на десятый этаж?

Ганя тяжело вздохнул и сказал Люде:

— Дай я ему объясню. Может, поймет... Мы прошли по трем коридорам, эквивалентным трем брускам треугольника Пенроузов, и очутились в точке их мнимого касания. Точка эта — квартира с поющей теткой — находится как раз на одной вертикали с воротами.

— А почему мы не почувствовали подъема?

Ганя решил быть таким же терпеливым, как Макаренко, Корчак и Сухомлинский, вместе взятые.

— Потому что в четвертом измерении, где мнимое касание становится действительным, все стороны треугольника лежат в одной горизонтальной плоскости.

Принцип треугольника и нашего путешествия я, кажется, понял. Оставалось неясным еще одно:

— А при чем здесь машины?

— При том, что они путешествовали по такому же «тоннелю-треугольнику».

— Куда путешествовали?

— Откуда я знаю? — огрызнулся Ганя, а девушка Люда сказала мягко:

— Вот это я и назвала целью опыта. Как видите, мы не знаем ее.

У меня, непонятливого, кажется, созревала догадка.

— Скажите мне, — начал я, — чем этот ваш треугольник прогрессивнее лифта? По-моему, на лифте удобнее...

— А вот прогрессивнее! — уперся Ганя. — Четвертая координата может быть сколько угодно малой, остальные три от этого не изменятся. Значит, по одному и тому же — по размеру, конечно! — «треугольнику» мы попадаем из ворот на десятый этаж и, скажем, из Москвы в Гонолулу. В Гонолулу, — повторил он, будто прислушиваясь к звонкому названию, и вдруг хлопнул в ладоши, совсем как «тип в майке»: — Дураки мы, Людка! Вот же она, цель опыта! — Он восторженно заходил по комнате, натыкаясь на кресла. — Мгновенное перемещение в пространстве! Земля — Марс за минуту! Проводите уикенд только на Гавайях! Каково, а?

Перспектива и впрямь была радужной. Даже Люда милостиво заметила:

— А ты ничего, соображаешь...

— Еще бы! — Но вдруг радость его поубавилась, он сказал озабоченно: — Да, а машины... Куда машины девались?

— Никуда не девались, — предположил я. — Стоят себе в гаражах, а владельцы их дух переводят. Опыт-то кончился...

И тут у входной двери забулькал звонок.

Я первый раз видел Ганю таким растерянным. Он смотрел на нас с испугом, с недоумением, с ужасом, если хотите, а сзади — в дверях — улыбался нам лейтенант милиции, в светло-серой летней форменке, в руках черный чемоданчик-атташе. А час назад он ходил по двору в синей майке и небрежно совершал нуль-транспортровку от доминошного столика до ворот на Лесную.

Честно говоря, я подумал так и тут же отбросил вздорную мысль: не может быть такого, не верю! Это обыкновенный оперативник из МУРа, а тот «тип» давно убрался в свой мир по треугольнику Пенроузов. А то, что похожи они, так разве ж нет на белом свете похожих людей? Еще как есть. Даже двойники попадают.

А лейтенант отодвинул Ганю, прошел в комнату, поставил на стол чемодан.

— Здравствуй, товарищи, — сказал он, и голос его совсем не походил на загадочный телефонный баритон. — Я Королев, из МУРа. — Он отстегнул пуговицу на кармашке и протянул мне удостоверение. В удостоверении было сказано, что Королев Сергей Николаевич является следователем Московского уголовного розыска. — Я по поводу машин. К вам, — он кивнул Гане и Люде. — Тут вот какая штука: нашлись машины,

— Где нашлись? — подался вперед я.

— В том-то и странность, что в своих гаражах они были.

— А водители?

— А водители ничего не знают. Твердят в один голос: жара, померещилось что-то, на секунду сознание потеряли, не помнят, как до дому доехали. Говорят, будто черная дырка появилась перед радиатором, а вокруг — кольцо белое, ну, бублик такой. Вот тут-то и сознание долой! — Он засмеялся негромко. — А к вам я забежал, чтобы передать: мол, не волнуйтесь, никуда вас не вызовут. Дело, как говорится, закончено. Ну, извините за беспокойство, я пошел.

Он взял чемоданчик, помахал мне — почему-то только мне! — хлопнул в ладоши и... пропал.

Ганя рванулся к двери, распахнул ее, выбежал во двор, потом вернулся, сказал расстроенно:

— Никого.

— А ты догнать его хотел? — усмехнулся я. — Напрасный труд. Когда мы им снова понадобится — не дай бог, скоро! — они сами нас найдут.

Я не ошибся. Но это уже совсем другая история.

3. АНОМАЛИЯ

Однажды в жизнь каждого человека приходит нечто странное, непонятное, почти мистическое. А может, и без «почти» — просто мистическое. Ну попробуйте, пошарьте в памяти, напрягитесь, вспомните — и тогда всплывет наружу тот самый заветный случай, который не объяснит

ни физика, ни философия, ни логика ваша замечательная, и придется вам всерьез подумать о некоей «высшей силе». О ее происках. А ведь нет ее, нет — доказано научно, в нее сейчас даже бабки не верят и лишь по ветхой привычке ставят желтые свечки у желтых иконных риз.

Давайте назовем это странное «аномалией» — красивым заграничным словом. Давайте назовем его так и признаем, что аномалия эта самая существует повсеместно. Как говорится, киньте в того камень, кто безгрешен. То есть не страдал от аномалии. Нет таких на нашем реальном белом свете — и точка. Другое дело, что проявляется она по-разному: у кого побольше, у кого — чуть-чуть. А у кого-то от красивого заграничного слова дрожат коленки. Не в переносном смысле — буквально.

Вот я, например, вилую коленками целый день. То есть, если быть точным, полдня, ибо поначалу я свою аномалию не замечал, потом не принимал всерьез, усмеялся с опаской и себя успокаивал: мол, бывает же ерунда, ничего страшного, прими снотворное и спи до утра. А потом все началось, как пишут в классических романах, с новой силой, и вот тут-то я испугался.

Но в чем же дело? Что заставило меня «праздновать труса», как пишут в тех же романах?

А началось все с того, что утром я отправился к себе в редакцию. Вышел из подъезда, завел «Жигуленок», порулил задом сквозь строй «проклятых» автособственников и ненароком вспомнил о портфеле с рукописью статьи, забытом в квартире. Ну, тормознул, глушить двигатель не стал, пошел за портфелем.

— Теперь пути не будет, — недружелюбно сказала жена.

Она не любила, когда я возвращался с полдороги: над ней довлела темнота ее далеких суеверных пращуров.

— Не говори глупостей, — не менее недружелюбно сказал я.

Мои пращуры, по моему убеждению, были высококультурными передовыми людьми.

Я кинул портфель на заднее сиденье и врубил первую передачу. Сначала я выехал со двора через арку, поехал по Лесной вдоль трамвайных путей, честно постоял у светофора, перемахнул через Новослободскую и врулил на Палиху. Тут меня подстерегла мелкая неприят-

ность в виде запрещающего знака, более известного под названием «кирпич»: на Палихе вскрыли асфальт и прокладывали трубы.

Тогда я развернулся, въехал на Сущевскую и снова затормозил: на столбе торчал «кирпич», а за ним ревел бульдозер и командовал некто в бумажной шапке, видимо мастер. Дорожники прилежно выполняли план. Предсказание жены сбывалось.

Я посмеялся над забавным совпадением, опять развернулся и через Пушкинскую и Трубную площади добрался до Цветного бульвара. Около пельменной стояли две «Волги» — обе здорово побитые, желтый фургончик ГАИ, и несколько милиционеров сосредоточенно гуляли по мостовой.

Пути не было.

Вежливый старшина разъяснил мне, что на Садовое кольцо я могу успешно выехать через Трубную улицу.

— Я не хочу на Садовое, — взмолился я. — У меня редакция на Цветном бульваре у Самотеки, знаете?

Старшина знал, но знание его ничего не изменило.

— Подождите полчаса, — сказал он, — тогда и поедете. А хотите — оставьте машину здесь, потом подгоните.

Второй совет был разумным, и, заперев машину, я пошел к редакции пешком. Пробыл я там недолго — час или полтора, а когда вышел обратно на улицу, то увидел своего вездесущего соседа Ганю. Он стоял у стенда с газетой и ел мороженое-трубочку за двадцать восемь копеек.

— Ты что здесь делаешь? — спросил я.

— Людку жду, — сообщил он. — Мы в «Мир» идем на венгерский детектив со жгучими тайнами.

— Проводи до машины. Есть время?

— Время-то есть, — согласился он. — А что это вы невесту где машину бросаете?

— Авария была, — объяснил я, — ну и не пускали. Да это здесь рядом, не утомишься...

Мы неторопливо шли — дело к осени, погода теплая, куда спешить-то? — беседовали о возвышенном. Ганька лизал мороженое, рассказывал байки о тяжелой студенческой жизни.

— Говорят, на экзамен идти — надо пятак под пятаку

положить,— делился он,— а накануне, соответственно, не бриться, не мыться. Очень помогает...

— Это точно,— не возражал я.— Особенно если долго не мыться: ни один преподаватель не выдержит.

— Вам всё смешки,— обиделся студент,— а приметы эти проверены временем. И лучшими людьми.

Я уже забыл о своем утреннем приключении с приметой.

— Все фольклор,— беспечно резвился я,— бабкины бредни. Стыдно, физик, и одновременно тревожно за твой пошатнувшийся моральный облик. Ландау в приметы не верил.

— А Эйнштейн верил,— упрямо тянул Ганя,— и Крукс верил.

Из открытой двери подъезда вылетела черная кошка, пронеслась перед нами, довольно смело перемахнула проезжую часть и скрылась за чугунным заборчиком бульвара. Ганя остановился и сказал торжествующе:

— Кошка!

— Вижу,— не стал спорить я.

— Черная,— продолжил объяснения Ганя.

И здесь я не нашел возражений:

— Очень точное наблюдение.

— Я дальше не пойду,— объявил Ганя.— Черная кошка — к несчастью.

— К большому или маленькому?

Ганя помялся:

— Не знаю... К маленькому, наверно...

— Так что ж, обратно пойдем?

— Нет, почему? Надо подождать, пока кто-нибудь раньше нас пройдет здесь, и... заклятье снято.

— А если я первый пройду?

— Валяйте,— разрешил Ганя.— Вам же хуже...

Я храбро пересек невидимый кошкин след, и Ганя присоединился ко мне.

— Где же несчастье?

— Будет,— успокоил Ганя.— Не торопите события.

Без приключений мы дошли до моего «Жигуленка», я отпер дверцу и сел.

— Привет, физик. Вечерком поделюсь несчастьем.

— Ага,— рассеянно сказал Ганя: он изучал переднее колесо машины.— А когда это у вас колпак сперли?

— Как сперли? — Я выскочил на мостовую: так и есть, правое переднее колесо демонстрировало обнаженные гайки крепления. Колпака не было.

Я обошел машину: увели только один колпак; видно, вор попался совестливый. А может, ему и нужен был всего один — кто теперь узнает?

— Вот вам и несчастье,— сказал мстительный Ганя.— Как вы считаете: большое или маленькое?

— Это как посмотреть... — Я, собственно, расстроился даже не от самого факта кражи, а от его непонятной связи с черной кошкой. Колпак, в конце концов, дело наживное: рублей шесть всего. Но при чем здесь приметы? Во-первых, утренние: с проклятым «пути не будет». Пути и вправду не было, не наврала примета. И с кошкой тоже все вроде сходится...

— Да вы не расстраивайтесь,— утешил Ганя.— Без колпака даже красивее.

— Иди к черту! — вполне искренне сказал я, сел в автомобиль и уехал, оставив улыбающегося Ганю дожидаться своего венгерского детектива и волоокой девушки Люды.

Кстати, уж она-то наверняка в приметы не верит: не тот характер. Да и я не верю; не верю, не старайтесь убедить. А все случившееся — только нелепое совпадение, смешное совпадение. У вас, что ли, таких не бывало?

Домой я доехал без примет, а стало быть, без приключений. Даже если оные приключения никак с приметами не связаны, я все равно был доволен. Подсознательно, подсознательно — попробуйте, упрекните в суеверии. Да и вообще я слабоват по этой части: не знаю их, не знаком даже по литературным источникам. А лучший способ бороться с приметами — не знать их. Кто это сказал? Я это сказал.

Дома я позвонил тихому старичку Ивану Васильевичу, чудо-старичку, всемогущему механику-умельцу, и пожаловался на воров.

— Главное, чушь какая,— жаловался я,— черная кошка дорогу перебежала, потому и сперли колпак.

— Точно,— подтвердил чудо-старичок,— это уж как водится: не было бы кошки, был бы колпак.

Тон его был настолько серьезен, что я опешил даже.

— Как здоровье, Иван Васильевич? Кошка-то перед

самой машиной пробежала, колпак к тому времени давно на чужом колесе крутился. Где связь усмотрел?

— Где надо, там усмотрел,— туманно сказал он,— тут все связано спокон веку. Берегись примет, парень... А колпак помогу достать. Привет...

Что они, сговорились все? Берегись, берегись, береженого бог бережет... Береженого не спасает даже теория вероятности: бутерброд падает как вверх маслом, так и вниз. В среднем — пятьдесят процентов, вероятно. Но, вопреки разуму, в моем случае вероятность «маслом вниз» неуклонно росла.

Я пошел на кухню, отрезал кусок хлеба и уронил нож. Вспомнил: к чему бы это? К гостю мужского пола.

И даже не удивился, услышав звонок у двери. За дверью стоял улыбающийся Ганя. Один.

— В кино мы не попали,— сообщил он.

— Билетов не достали?

— Ага.

— Мороженое ели ассорти?

— Нет,— сказал Ганя, не знакомый с текстами классических советских оперетт,— Людка не любит мороженое.

— А кстати, где она? — спросил я и тут же сообразил: да и не могло ее быть: я вилку-то не ронял.

— Чего?

— Вилку, говорю, не ронял. Значит, гости не должно быть. А нож уронил. Вот ты и пришел...

— А-а,— протянул Ганя,— логично. Она попозже придет.

— Без вилки?

— Там видно будет,— туманно сказал он.— Может, и с вилкой.

Нет уж, решил я про себя, больше примет не будет! Хватит с меня кошки, ремонтных работ и уроненного ножа. Но так, из чисто спортивного интереса, неплохо бы познакомиться с народными верованиями, всякими там суевериями, приметами всякими замечательными.

— Скажи мне, физик,— начал я,— какие приметы ты проходил в средней общеобразовательной школе?

— Я там предметы проходил,— плохо скаламбурил бездарный Ганья.— А вообще-то примет навалом — бери любую.

— Дай мне первую попавшуюся,— сухо сказал я.

— Да навалом их,— канючил Ганья,— ну навалом, и всё. Вот эта, например...

Я был строг и неумолим:

— Какая?

— Ну, эта... вот такая...— Он вспомнил наконец и возликовал: — Соль к ссоре.

Я подумал и решил:

— Оставим на потом. Ссориться нам сейчас не с руки. Еще что?

— Да навалом,— опять начал тянуть физик.— Ну, это... три свечи к покойнику.

Хорошая примета. Толковая. «Гуманная». Ради такой и эксперимент не жалко поставить.

— Гони три свечи.

Ганя сбегал домой и принес деревянный подсвечник в виде парусника, в котором скривились от ветхости три красные свечки. Их еще ни разу не зажигали, видимо считая украшением музыкального дома.

Мы пошли на кухню, водрузили это сооружение на стол, и я пошарил на плите в поисках коробка спичек. Не знаю уж, как очутилась грязная вилка именно на плите, но я ее, конечно же, смахнул на пол.

— Ага! — заорал Ганя.— Вот вам и гостя.

Я швырнул ему спички:

— Зажигай! — поднял вилку, положил ее в раковину, подумал с грустью: неужто сбудется?

Свечки тускло и жалковато коптили, роняя на чистый пластик стола мутные красные капли воска или стеарина — из чего они там делаются? Мы молча ждали. Никто не умирал, хотя високосный год все еще буйствовал на планете. И тут в дверь позвонили.

Ганя не стал упиваться сарказмом по поводу упавшей вилки, он только хмыкнул сдавленно, пошел открывать и вернулся с Людой. Люда была чем-то взволнована.

— Здравствуйте,— выпалила она.— Зачем вы свечи среди бела дня зажгли? Хотя нет, правильно: память есть память...

— Чья память?

— Джессупа.

— Кого? — не понял я, а Ганя переспросил заинтересованно:

— Райнера?

Люда скорбно кивнула:

— Разбился в автомобильной катастрофе. Сегодня утром.

— Вот вам и покойник,— торжествуя сказал Ганя, а Люда не выдержала, возмущилась:

— Как тебе не стыдно, Ганя!

Гане стыдно не было. Ганя упивался победой, хотя, по совести, к нему она не имела отношения. Приметы сбывались одна за другой без исключений, и заслуги студента я в том не видел.

— Кто такой Джессуп? — спросил я.

— Певец,— объяснил Ганя,— с Дикого Запада. Король джаза. Правда, с голосом у него было не того, царство ему небесное...

Вот вам и покойник. Ганя прав. Приметы не обманывали, хотя порой их приходилось «притягивать за уши». В самом деле, какое отношение имеет смерть какого-то заокеанского певца к нашим трем свечкам? Да никакого, не убеждайте. И все-таки против факта не попрешь: зажгли свечечки — объявился покойник. И пусть он объявился еще утром, задолго до ритуального зажигания свечей, мы-то о нем узнали только сейчас. Нет, кажется, прав, прав Иван Васильевич: все связано.

И если до сих пор я относился к моим «приметным» совпадениям с некоторой долей иронии, то сейчас эта доля сильно уменьшилась, а если подумать, то и совсем исчезла. Судите сами, дорогие товарищи, какая ирония может быть, если любая из случайно выпавших или нарочно задуманных примет моментально исполняется, сбывается! Другое дело, что иной раз она сбывается с натяжкой — не без того! — но и придумывали их, приметы эти, бог знает когда, в незапамятные времена, при царе Горохе. С тех пор они состарились, видоизменились, кое в чем сдали свои позиции, но не исчезли, не умерли. Живут и действуют всюду. И что самое противное, действуют на меня. Или со мной — не знаю уж, как правильно сказать. Выходит, я неожиданно превратился в пресловутого Макара, на которого валятся шишки, и если шишки эти пока бьют не слишком больно, так это как раз от примет и зависит.

— Вот что, дети,— сказал я своим великовозрастным

друзьям.— Со мной происходит нечто странное: вокруг меня образовался эпицентр некой аномалии, суть которой вы поняли. (Ганька хмыкнул, а Люда кивнула серьезно: про колпак и дорожные работы он, видно, рассказал ей раньше, а про свечи с покойником только что разъяснил.) Аномалия эта касается только народных примет, которые сбываются точно. (Ганька опять хмыкнул, но серьезная Люда строго на него посмотрела, и он притих.) Есть два выхода. Затаиться и ждать, пока аномалия кончится,— первый. И второй: лезть напролом, проверять приметы.

— Альтернатива не из легких.— Ученая Люда знала много иностранных слов.— Во-первых, кто знает, когда она кончится. Может, вам на год затаиться придется. Или на десять лет.

— Или на всю жизнь,— вставил Ганя, но мы с Людой игнорировали реплику как явно неуместную.

— Во-вторых, лезть напролом,— продолжала Люда,— тоже опасно. Приметы, насколько мне помнится, бывают разные, и неприятности от них тоже разные: и мелкие и крупные. Значит, надо искать компромисс.

— Ну поищи, поищи, может, и сыщешь,— злорадно сказал Ганя, а я взмолился:

— Людочка, милая, не все ведь приметы вредные, плохие. Есть же и приятные. Например: левая ладонь чешется — к деньгам.

— У вас чешется? — быстро спросил Ганя.

— Давно уже не чесалась,— признался я и вдруг почувствовал некий легкий зуд в левой ладони. Я с удивлением посмотрел на нее: ладонь как ладонь, морщинистая, вся в разных линиях — удачи там жизни, в буграх Венеры и в прочей ерундовине.— Зачесалась...

— Вы ее о подбородок почешите,— посоветовал Ганя,— а то примета не подействует. Сведения точные, еще бабка моя, Арина Родионовна, светлой памяти, говаривала...

— Ганька,— сказал я,— чего ты врешь? Арина Родионовна чужая бабка...— Но почесал ладонь все-таки о подбородок.

Я почесал, и мы помолчали. Потом я еще почесал, и мы по-прежнему молчали, ждали: когда принесут деньги, много денег — мешками, подводами, автомобилями

«КРАЗ-450». Денег не было. Ну никто не нес, не стучал в дверь, не подсовывал ведомости, а в кирпичных стенках строители в наши дни клады оставляют редко.

Вот так мы помолчали немножко, я тер ладошку о небритый подбородок, а мстительный Ганя сказал:

— Тю-тю денежки. И аномалия тю-тю.

И в это время, как в хорошем детективе, зазвонил телефон.

Я снял трубку и услышал голос моего редактора из одного узковедомственного издательства, иногда обращающегося к художественной литературе.

— Старик! — орал голос. — С тебя причитается!

— С чего бы это? — кисло спросил я.

— Альманах вышел! С твоим рассказом! Лети за гонораром!

— Когда лететь-то?

Голос стал серьезен и вдумчив:

— Сегодня ты уже не успеешь, так что давай завтра. С трех до пяти. Понял?

Не понять было трудно, о чем я и сообщил сначала редактору, а потом, повесив трубку, Гане с Людой.

— Большой гонорар? — спросил Ганя. Он явно завидовал — не деньгам, нет: тому, что я все-таки попал в эпицентр аномалии, не промазал, в середку угодил, и не сказочки это, не шуточки студенческие, а серьезно. Вот так.

— Не очень, — скромно сказал я, а Люда вмешалась:

— Не в этом дело. Какая разница — сто рублей или тысяча? Важно, что приметы сбываются аккуратно, стоит только подумать о них. В общем, есть план эксперимента. Берем том Дали с пословицами, поговорками и приметами, выписываем нужные в столбик и проверяем.

Предложение Люды казалось заманчивым. Действительно, выписать сначала все денежные приметы, потом еще какие-нибудь — с везением в конце, и ждать, пока сбудутся. Но, если быть честным, меня пугала перспектива превратиться в подобие уэллсовского человека, творившего чудеса. Пугала и потому, что в чудеса я не верил: это во второй половине двадцатого столетия-то! Пугала и потому, что я усматривал в моей аномалии связь с нашими предыдущими приключениями. А наши предыдущие приключения устраивал кто? Соседи по

окружающему пространству — вот кто. А значит, нехитрый силлогизм приводит нас снова к ним.

Я честно поделился с ребятами своими предположениями.

— Возможно, вы правы, — согласился Ганя, — только зачем они к нам прицепились?

— Знакомые, — предположил я.

— Мы им в знакомые не набивались.

— Подождите, — прервала нас Люда. — Знакомые наши — люди разумные и свои опыты просто так не ставят. Значит, есть цель. Какая? Это раз. Второе: смысл опыта вам ясен? Мне лично нет. Третье: во всех прошлых случаях при опыте присутствовал кто-то из них, помните? Где они сейчас? Все это надо выяснить, и поскорее...

— Выясни, — сказал Ганя.

— Это возможно, — спокойно парировала Люда. — Попробуем найти примету, которая бы нас вывела на экспериментаторов. Или хотя бы натолкнула на верный путь. У вас есть Даль?

Даль у меня был. Я достал коричневый толстый том и, покопавшись в оглавлении, раскрыл страницу четыреста семьдесят третью.

— Начали!

— Муравьи в доме — к счастью, — прочитала Люда вслух.

— Значит, городским жителям счастья не видать, — резюмировал Ганя. — Валяй дальше.

— Кони ржут — к добру. Кто нечаянно завидит свет в своем доме — жди счастья.

Я не понял приметы:

— Это как же — нечаянно: вор, что ли, в квартиру залез? И это к счастью?

— Избавление от лишнего имущества чужими руками — всегда счастье, — сказал Ганя. — Темный вы человек. Собственник. Стыдно должно быть...

Стыдно мне не было. Я слушал Люду и потихоньку посмеивался над гигантским количеством жизненных оговорок, которые мудрый и терпеливый Даль называл «суеверия-приметы». Многие из них (да что там многие — две трети!) безнадежно устарели даже не потому, что и верить-то в них перестали, просто их необходимые атри-

буты — печь там, каша в горшке на печи, фыркающие в дороге лошади — медленно и прочно (пусть даже жаль их!) уходят назад, в прошлое и вытащить их оттуда нельзя да и незачем. Газовые духовки давно заменили русские печи, а фыркающие автомобили вытеснили фыркающих лошадей. Вот вопрос: можно ли переносить приметы с тех же лошадей на автомобили? И если да, то в какой степени их действие ослабло? Действие примет, конечно...

Я усмехнулся про себя: вчера я такой вопрос не задал бы. Приметы — чушь. Приметы — зеленый вздор, чепуха, чеховская реникса, не верьте в приметы, дорогие товарищи...

Но сегодня — дело другое. Сегодня приметы сбываются вовсю. Любая из них — проверено. И даже если скинуть это «сбывание» на наших пресловутых знакомых шутников из соседнего пространства, то все равно дело не меняется. Жить становится опасно. Может, у них там объявлен месячник по исполнению примет — кто знает! А я страдаю от этого общественного рвения...

— Зеркало разбить — к худу, — устало читала Люда. — Кирпич выпал из печи — к худу. Увидать домового — к беде...

— Стойте! — заорал я. — Погодите!

Люда прервалась, посмотрела на мое сосредоточенное лицо, а Ганька не преминул свернуть:

— Тихо: Чапай думать будет...

Но я уже придумал. Вскочил с кресла, взволнованно заходил по комнате. Идея, конечно, не бог весть какая, но проверить ее не мешает. Только нужно приметку соответствующую отыскать.

Я резко остановился, театрально взмахнул рукой.

— Осторожно! — крикнула Люда.

Поздно: конечно же, я зацепил подсвечник, и тот грохнулся на пол, разбрасывая по сторонам стеариновые капли. Свечки вывалились из своих гнезд и погасли.

— Вот слон, — сказал Ганя, помогая мне заметить следы преступления, — так и пожар недолго устроить.

— Не устроил ведь? — обозлился я. — Вот и не вякай... Людочка, посмотрите там приметку, чтобы к встрече с другом была. Или со знакомым. Или просто к встрече. Есть, наверно...

Люда повела по строчкам острием карандашика, кивнула согласно:

— Есть, конечно. А зачем вам?

— Вы читайте, читайте. Я потом объясню.

— Ну, вот, например! правая бровь чешется — к свиданию.

Я прислушался к себе: хоть бы что! Бровь чесаться не желала.

— Не то, Люда, дальше..

— В носу свербит — к радостной встрече.

— У меня свербит, — сообщил Ганя. — Третий день. Я бы даже сказал: течет. Санорином спасаюсь. Годи́тся?

— Санорин годится. Насморк — нет. Что там еще есть?

— Еще? — Люда пробежала карандашом вниз и вдруг подняла голову, засмеялась: — Нечаянно свечу погасить — к гостям.

Вот так штука: кто обвинит меня в том, что я намеренно скинул подсвечник? Нет, здесь не придерешься: надо ждать гостей.

— Вы того и хотели? — спросил Ганя.

— Ага, — подтвердил я.

— А зачем вам гости?

— Не мне — нам, — поправил я. — Думаешь, каких я гостей жду?

— Приятных, надеюсь, — сказал Ганя и вздрогнул.

Впрочем, я тоже вздрогнул: в передней громко и властно звякнул дверной колокольчик.

Ганя рванулся в коридор, я за ним, Люда с далевским тоном встала у выхода из комнаты. Ганя потянул язычок замка и медленно, очень медленно — намеренно, что ли? — открыл дверь. На пороге стоял аккуратный маленький старичок в синем плаще болонья — это в жару-то? — и в мохнатой огромной кепке-«аэродроме». Кепка делала старичка похожим на одного из семерых диснеевских гномов — на какого, уж не помню, не до гномов мне было, да и фильм-то смотрел сто лет назад. Старичок снял кепку-«аэродром», вытер потную лысинку беленьким платочком, представился достойно и неторопливо:

— Агент Госстраха Кокшенов. Звать-величать будете Михал Михалычем.

Грубый Ганька не любил вмешательства в личную жизнь, а Госстрах как раз этим и занимается.

— С чего вы взяли, что будем? — спросил он. — Не будем, папаша, потому что страховать нам нечего. Фаталисты мы, понял?

Старичок спрятал платочек, улыбнулся беззлобно и даже с мягкостью непонятной.

— Я тебе не папаша, мальчик. У тебя свой есть, законный, дай ему бог терпения жить с тобой. И страховаться у меня вы будете, будете, ибо... — тут он поднял вверх указательный палец, да нет, пальчик махонький, повторил: — Ибо страхую я жизни человечьи от Непонятного...

Он так и сказал — Непонятного, и большая буква в этом слове слышалась за версту, все ее услышали: и я, и Ганька, и Люда преумная, которая и спросила тут же:

— Что под Непонятным считать, Михал Михалыч?

Он заметил мне с укоризной:

— Может, в дом впустите?

А я засуетился, ногой зашаркал, будто гость пришел важней некуда.

— Проходите, проходите сюда, в кабинет, садитесь, пожалуйста, поудобнее, поудобнее...

Ганька шел сзади, хмыкал. Я обернулся, поймал его удивленный взгляд, подмигнул ему: подожди, парень, сейчас все поймешь сам. А старичок уселся в кресло, кепкой своей прикрыл худые коленки, обтянутые белыми чешуковыми брюками, заговорил:

— На ваш вопрос, умная девушка, отвечу так: все то Непонятное, что помимо нас существует и нет ему в нас объяснения.

— В нас? — переспросила Люда.

— Именно, именно, — закивал старичок, — поскольку всякие необъяснимые научные явления воспринимаются нами как нечто реальное, то мы верим, что найдется им со временем объяснение. Мол, не зря ученые зарплату два раза в месяц получают. К примеру, гравитация... Полети я сейчас — удивительно будет и необъяснимо. Наукой сегодняшней необъяснимо. А в нас тому есть объяснение: не научное, нет — обывательское, но с верой в науку великолепную. Полетел Михал Михалыч — значит, антигравитатор какой-то изобретен. В принципе возмож-

но. А вот достань я сейчас бутылку замшелую, зеленую, в водорослях вонючих, и вылезти оттуда джинн с бородищей, в шароварах заморских, пророкочи он чего-нибудь о трех желаниях — так то и будет Непонятное. Иначе — сказка ненаучная. Нет веры к ней в нас самих, нет и не будет. Или вот приметы всякие...

Ох, неспроста пришел к нам Михал Михалыч, неспроста, чувствую. Погасил я свечи — и вот он, гость долгожданный, все объясняющий. Кстати, что-то знакомое было в его имени, где-то я уже слышал его, совсем недавно...

Память у Ганьки оказалась лучше моей.

— Слушайте, товарищ агент Госстраха, — сказал он, — а вы, случайно, не помните истории с пропавшей машиной? Ехала она себе, ехала — и вдруг исчезла, растворилась среди бела дня. Помните?

— Помню, конечно, — не возражал старичок. — Да и как не помнить: двух недель не прошло. Милиция тогда суетилась...

Вспомнил я его: свидетель первого случая с исчезнувшим автомобилем! Это его называл нам голос по телефону, его советовал искать, чтобы объяснить происшедшее. Только не понадобился он нам тогда, сами разобрались. А сегодня не обошлось без него, не сумели. Только на этот раз он сам к нам пришел. Хотя нет: мы его вызвали. Как мальчишка Аладдин тер свою лампу и появлялся всемогущий ифрит с бородищей, в шароварах заморских. А мне лампа не понадобилась, подсвечником обошелся. И ифрит у нас попроче: не в шароварах, а в брюках. И не с бородой, а с лысиной. В общем, типичный агент Госстраха — прекрасная легенда!

В том, что это его легенда, я уже не сомневался. Ходит по нашему миру «соразумник» из соседнего, прикидывается таким боровичком в кепке, наблюдает, высматривает. Сам он страховой агент, а молодцы его тоже небось земные профессии для камуфляжа имеют. С одним мы уже знакомы: «тип в синей майке» — грузчик или, в лучшем случае, шофер с самосвала. Уж больно здоров: один кулак — с голову ребенка, вряд ли такой на скрипочке играет...

А старичок посмотрел на меня хитро, сказал торопливо:

— Вы там чего-то не то думаете, так не думайте вовсе: все вранье. Агент Госстраха я, понятно?

— Понятно,— опередил ответ Ганя.— Застрахуйте нас от примет.

— Что, сбываются?

— Сбываются, подлые!

— Это мы мигом,— сказал старичок, доставая из-под плаща плоскую папочку с надписью «Внешторгреклама», а из папочки — три бумажки с золотым обрезом и шариковую ручку,— это мы в два счета сделаем. Ни одна примета сбываться не будет.

Он размашисто расписался на каждом листке, сложил их аккуратно, подал мне.

— Потом посмотрите.

— Сколько мы вам должны?

Он вроде даже обиделся:

— Ничего. Я бесплатно работаю.

— Проценты с душ получаете? — спросил Ганя.

— И так можно подумать,— прищурился старичок.— Вот вы, например, в меня верите? Верите, верите — вижу. Да и как не верить: Михал Михалыч Кокшенов, во плоти и крови. А что знает много всякого разного, так и вы кое-что знаете.

И тут в разговор вступила молчавшая до сих пор Люда.

— Ничего мы не знаем. Если в первых двух случаях— ну, с мешком в пространстве и с машинами — еще что-то можно было объяснить, то уж приметы ничем не объясняются. Это первое. И второе: почему все это происходит именно с нами? Разве мы трое больше других подходим для Контакта?

Она сказала «Контакта», как старичок говорил «Непонятное»: заглавная буква так и лезла в глаза и уши. А старичок — ничего, покивал-покивал, сказал согласно:

— Умная вы девушка, поговорить приятно. Не то что ваш приятель — нигилист воинствующий. Все-то вы понимаете, все-то вы объяснить можете — что в не вас. А что в вас самих — уже заминка. Верить в сказки надо, девушка. И в науку и в сказки. Приметы сбываются? Так в каждой вещи душа, может, есть. И если ее расшевелить, всякие чудеса случаются. Кино такое было: «Удивительное рядом». Смотрели?

— А если серьезно? — каменным голосом спросила Люда.

— Не надо серьезно. Даже у вас физики шутят. И книжки по сему поводу выпускают. Ничего книжки, остроумные. А шутят они обычно с друзьями. С теми, кому их шутки приятны будут. Кто их понимает.— Он встал, сунул под плащ папочку.— Ну, до встречи в будущем. А сейчас мне пора,— и пошел в коридор.

Мы сидели и ждали, когда в передней щелкнул замок и за стеной по лестнице простучали мелкие торопливые шаги, а потом громко хлопнула дверь подъезда.

Тогда я развернул одну из бумажек, оставленных старичком, и прочел вслух короткую надпись, сделанную обыкновенной пишущей машинкой, у которой к тому же буква «е» западала.

«Простите за назойливость и спасибо за помощь. Мы думаем, вы не откажетесь помочь нам еще раз, если придется». И размашистая невнятная подпись, сделанная шариковой ручкой с бледно-синей пастой,

— А на других? — быстро спросил Ганя.

На других листках была сделана та же надпись. Я роздал их ребятам, а свой спрятал в ящик письменного стола — на память. Себе на память: ведь покажи кому — не поверят. Скажут, что сам и написал. Тем более, что на моей машинке точно так же западала буква «е».

Я захлопнул ящик и выпрямился.

— Все, ребята. Чудес больше не будет.

— Ой ли? — засомневался Ганя.— А как же оговорка насчет будущей помощи? Неужто откажемся?

— Нет, конечно. Только, по-моему, это простая вежливость.

— Убейте, не верю,— мрачно сказал Ганя.— Жди от них простой вежливости, как же! Сдается мне, что мы еще встретимся.

Он опять не ошибся. Но это уже совсем другая история.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПОЗНАЙ ЖИВОГО. Приключенческая повесть _____	5
В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ. Фантастическая повесть _____	151
«ВЕДЬМИН СТОЛЬ». Фантастическая повесть _____	200
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЛЕСНОЙ УЛИЦЕ. Фантастическая повесть _____	312

Для среднего и старшего возраста

Сергей Александрович Абрамов

Опознай живого

Повести

Ответственный редактор *Н. М. Беркова*. Художественный редактор *Н. З. Левинская*. Технический редактор *Т. Д. Юрханова*. Кorreктуры *Г. В. Русакова* и *Н. А. Сафронова*. Сдано в набор 20/VI 1976 г. Подписано к печати 18/II 1976 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 19,4. Тираж 100 000 экз. А08395. Заказ № 1117. Цена 71 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Су-
щевский вал, 49.